

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

В. Ходасевич.

**СОБРАНИЕ
СТИХОВ**

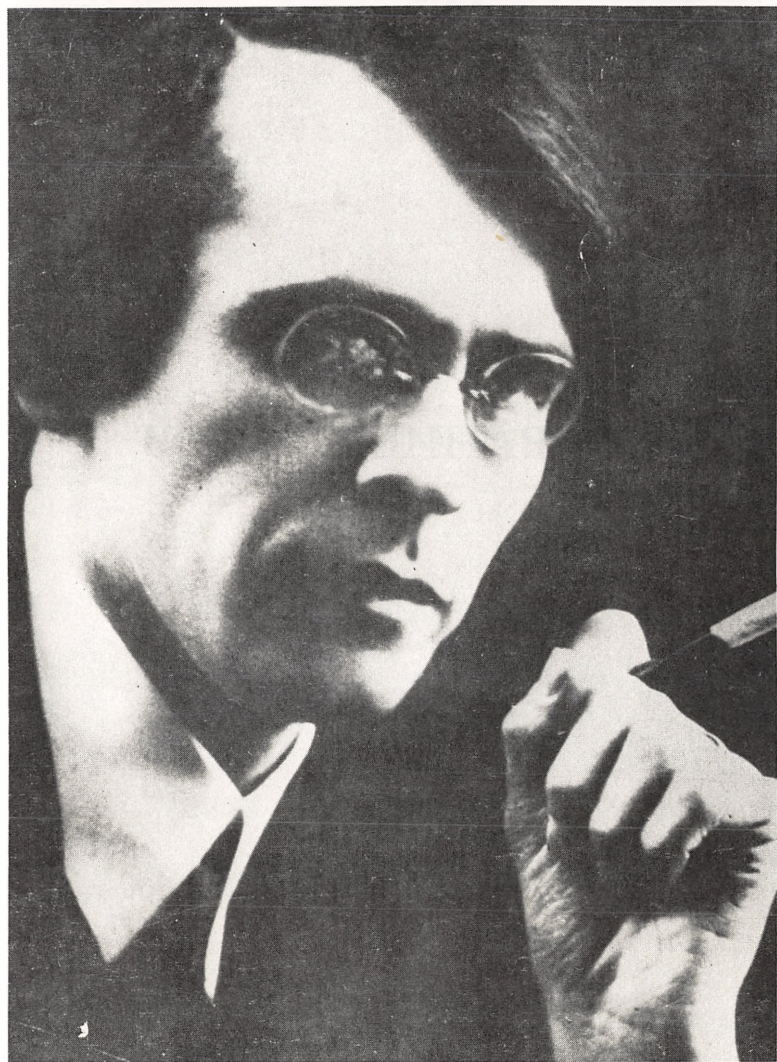
II

La Presse Libre
Paris

XX век

Владислав Ходасевич

СОБРАНИЕ СТИХОВ



ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

СОБРАНИЕ СТИХОВ

В ДВУХ ТОМАХ

Редакция и примечания Юрия Колкера

II

**La Presse Libre
Paris**

Titre original en russe:
Vladislav Khodasevitch
SOBRANIYE STIKHOV

© Edition de «La Presse Libre»
1983

ISBN 2-904228-08-X

Tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite.
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1958 sur la protection des droits d'auteur.

Imprimé en France.

Том второй

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ

ДОПОЛНЕНИЯ:
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПЕРЕВОДЫ

**В работе над вторым томом Собрания участвовал
Д.Северюхин**

СОДЕРЖАНИЕ

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ

	Текст	Примечания
Петербург	3	369
«Жив Бог! Умен, а не заумен...»	4	370
«Весенний лепет не разнежит...»	5	371
Слепой	6	371
«Вдруг из-за туч озолотило...»	7	371
У моря:	8	371
1. «Лежу, ленивая амеба...»	8	372
2. «Сидит в табачных магазинах...»	9	372
3. «Пустился в море с рыбаками...»	10	372
4. «Изломала, одолевает...»	12	372
Берлинское	13	373
«С берлинской улицы...»	14	374
An Meriechen	16	374
«Было на улице полутемно...»	18	375
«Нет, не найду сегодня пищи я...»	19	375
Дачное	20	376
Под землю	21	376
«Все каменное. В каменный пролет...»	23	377
«Встаю расслабленный с постели...»	24	378
Хранилище	25	378
«Интриги бирж, потуги наций...»	26	378
Соррентинские фотографии	27	379
Из дневника	33	380
Перед зеркалом	34	380
Окна во двор	35	381
Бедные рифмы	37	382
«Сквозь ненастный зимний денек...»	38	383
Баллада	39	383
Джон Боттом	41	384
Звезды	48	385

ДОПОЛНЕНИЯ

Стихи разных лет

[Эпиграмма] («Венчал Валерий Владислава,...»)	53	387
«Если сердце захочет плакать...»	54	387
У людей	55	387
Счастье	56	388
Зимние сумерки	57	388
Осенние сумерки	58	388
«Схватил я дымный факел мой...»	59	388
Дома	60	388
Мышь	61	389
Новый Год	62	389
[Посвящение] («Муза, плачь от восторга!...»)	63	390
В немецком городке. Весна	64	390
Авиатору	65	390
Из мышинных стихов	66	391
«"Вот в этом палаццо жила Дездемона"...»	67	391
[Надпись на пасхальном яйце] («На новом радостном пути...»)	68	392
На седьмом этаже (Подражание Брюсову)	69	393
На Пасхе (Отрывок из повести)	70	393
Стансы («Во дни народных потрясений...»)	72	394
«Не люблю стихи, которые...»	73	395
«Четыре звездочки взошли на небосвод...»	74	395
Памятник («Павлович! С посошком бродячею каликой...»)	75	395
[Отрывки и наброски (1920-1922)]:		
[1]. «Пыль, грохот, зной. По рыхлому асфальту...»	76	396
[2]. «Живем в ладу. Ни зависти ни злобы...»	76	397
[3]. «Лес символов! Качели соответствий.»	77	397
[4]. «Горю. От своего страданья...»	77	397
[5]. Частушка. («Ходит пес...»)	77	398
[6]. «Я родился в Москве. Я дыма...»	78	398
[7]. «Вот повесть. Мне она предстала...»	78	399
«Черные тучи проносятся мимо...»	79	399
[Отрывок] («Доволен я своей судьбой...»)	80	399
«Сквозь облака фабричной гари...»	81	399
«Трудолюбивою пчелой...»	82	400
Песня турка	83	400

Соррентинские заметки:		
1. Водопад	84	401
2. Пан	84	401
3. Афродита	85	401
Романс	86	401
«Пока душа в порыве юном...»	88	403
[Отрывки и наброски (1925-1927)]:		
[1]. «Великая вокруг меня пустыня...»	89	403
[2]. «Кто счастлив верною женой...»	89	404
[3]. «Как больно мне от вашей малости...»	90	404
[4]. «Нет ничего прекрасней и привольней...»	90	404
[5]. «Сквозь дикий голос катастроф...»	91	-
Ночь	92	405
Граммофон	93	405
Дактили	94	405
Похороны. Сонет	96	406
«Нет у меня для вас ни слова...»	97	406
«Полузабытая отрада...»	98	407
«Когда меня пред Божий суд...»	99	407
На смерть кота Мурра	101	407
«Нет, не шотландской королевой...»	102	408
[Приношение Горлиным]	103	408
«Сквозь уютное солнце апреля...»	106	409
«Не ямбом ли четырехстопным...»	107	409
К Лиле	109	410
«В последний раз зову тебя: явись...»	110	411
Памятник («Во мне конец, во мне начало...»)	111	411

ПЕРЕВОДЫ

Из польских поэтов

А.Мицкевич:		
Чатырдаг	115	413
Триолет	115	413
«Мотать любовь, как нить...»	116	413
Князю Голицыну	116	414
Дяды (Отрывок). Хор юношей — девушке	116	414
[Песня Кариллы]	117	414
Буря	118	414

С.Красинский:		
«Ужель в последний раз я был тогда с то- бою...»	120	415
К.Тетмайер:		
[Хор мальчиков у покоя новобрачных]	122	417
[Придворная песенка]	123	417
[Песни разбойников Татр]	123	417
Э.Слонский:		
Та, что не погибла	134	419
На пепелищах	135	419

Из армянских поэтов

М.Пэшикталян:		
Старик из Вана	137	420
С.Шах-Азиз:		
«Кругом весна. Бреду. Навстречу мне...»	139	420
Сонет	139	420
О.Туманиан:		
«Пускай в неведомое, вдаль, свой взор впе- рю я...»	141	421
Капля меда. Сказка	142	421
В.Териан:		
На родине	147	422

Из латышских поэтов

Плудон:		
Два мира (Купальный сезон)	148	422
К.Скальбе:		
Вечером	151	423
Аспазия:		
Небытие	152	424
Апсесдэльс:		
Отверженные	153	424
Шалкон:		
Черные цветы	154	424

Из финских поэтов

Э.Лейно:		
Песня торпаря	155	425
Синий крест	156	425
М.Любек:		
Усталые деревья	161	426
Я.Прокопе:		
Мечтатель	162	426
Коскенними:		
У костра	164	427

Из Р.Л.Стивенсона

Луна	165	427
Вычитанные страны	165	427

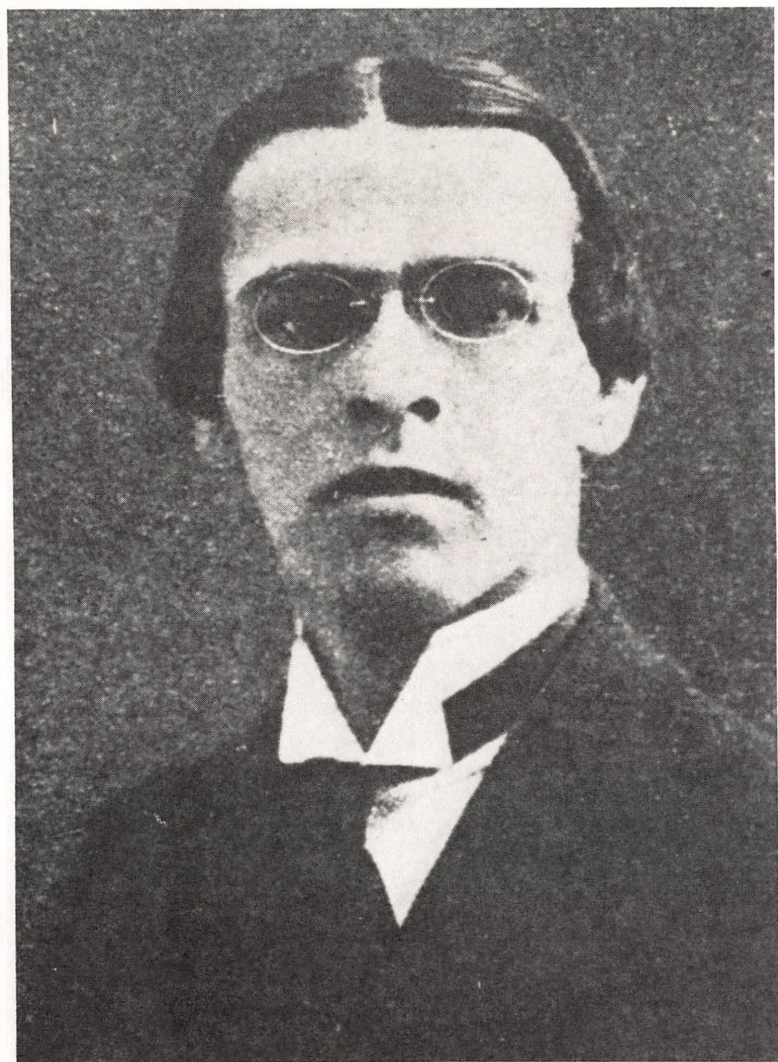
Из еврейских поэтов

От переводчика	167	-
Х.Н.Бялик:		
Предводителю хора	169	430
Д.Фришман:		
Ночью	172	431
Для Мессии:	172	431
I. «Новый дом у Иордана...»	172	431
II. «Дом ткача у Иордана...»	173	431
III. «Между смоков у Иордана...»	174	431
IV. «В вышнем небе херувимы...»	175	431
С.Черниковский:		
В знойный день. Идиллия	177	432
Завет Авраама. Идиллия из жизни евреев		
Тавриде	185	433
Вареники. Идиллия	199	433
Песнь Астарте и Белу	207	433
Смерть Тамуза	209	433
Лесные чары	211	433
Свадьба Эльки	214	434
Я.Фихман:		
«Хожу я к тебе ежедневно...»	244	434
Моя страна	244	434

З.Шнеур:		
Под звуки мандолины. (Отрывки)	246	435
Воины Божьи	246	-
Голус	248	-
К солнцу	251	-
Д.Шиманович:		
Последний Самарянин	255	436
На реке Квор	256	436
А. бен Ицхак:		
Элул в аллее	259	437
И.Кацнельсон:		
Родина	260	437
Примечания В.Ф.Ходасевича	262	-

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ю.И.Колкер. Айdessкая прохлада. Очерк жизни и творчества В.Ф.Ходасевича	271
Д.Я.Северюхин. России пасынки (Иностранческая поэзия в переводах В.Ф.Ходасевича)	351
Ненайденные стихотворения	363
Примечания	369
Литература	441
От составителя	455
Алфавитный указатель	457
Н.Н.Берберова. Замечания и дополнения к первому тому	467



ЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ

ПЕТЕРБУРГ

Напастям жалким и однообразным
Там предавались до потери сил.
Один лишь я полуживым соблазном
Средь озабоченных ходил.

Смотрели на меня — и забывали
Клокочущие чайники свои;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.

А мне тогда в тьме гробовой, российской,
Являлась вестница в цветах,
И лад открылся музыкальный
Мне в сногшибательных ветрах.

И я безумел от видений,
Когда чрез ледяной канал,
Скользя с обломанных ступеней,
Треску зловонную таскал,

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.

1926



Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.
Пасу послушливое стадо
Я процветающим жезлом.
Ключи таинственного сада
Звенят на поясе моем.
Я — чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон...
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!

1923



Весенний лепет не разнежит
Сурово стиснутых стихов.
Я полюбил железный скрежет
Какофонических миров.

В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных —
Льдин взгроможденных толчея.

Мне мил — из оловянной тучи
Удар изломанной стрелы,
Люблю певучий и визгучий
Лязг электрической пилы.

И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, пробежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот,

Иль сон, где, некогда единый —
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.

1923

СЛЕПОЙ

Палкой шупая дорогу,
Бродит наугад слепой,
Осторожно ставит ногу
И бормочет сам с собой.
А на бельмах у слепого
Целый мир отображен:
Дом, лужок, забор, корова,
Клочья неба голубого —
Все, чего не видит он.

1923



Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай.
Помедли, зимнее светило,
За черный лес не упадай!

Дай посиять в румянном блеске,
Прилежным поскрипеть пером.
Живет в его проворном треске
Весь вздох о бытии моем.

Трепещущим, колючим током
С раздвоенного острия
Бежит — и на листе широком
Отображаюсь... нет, не я:

Лишь угловатая кривая,
Минутный профиль тех высот,
Где, восходя и ниспадая,
Мой дух страдает и живет.

1923

У МОРЯ

1

Лежу, ленивая амеба,
Гляжу, прищулив левый глаз,
В эмалированное небо,
Как в опрокинувшийся таз.

Все тот же мир обыкновенный,
И утварь бедная все та ж.
Прибой размыленной пеной
Взбегает на покатый пляж.

Белеют плоские купальни,
Смуглеет женское плечо.
Какой огромный умывальник!
Как солнце парит горячо!

Над раскаленными песками,
И не жива, и не мертва,
Торчит колючими пучками
Белесоватая трава.

А по пескам, жарой измаян,
Средь здравеющих людей
Неузнанный проходит Каин
С экземою между бровей.

〈1922〉

2

Сидит в табачных магазинах,
Погряз в простом житье-бытье
И отражается в витринах
Широкополым канотье.

Как муха на бумаге липкой,
Он в нашем времени дрожит
И даже вежливой улыбкой
Лицо нездешнее косит.

Он очень беден, но опрятен,
И перед выходом на пляж
Для выведения разных пятен
Употребляет карандаш.

Он все забыл. Как мул с поклажей,
Слоняется по нашим дням,
Порой просматривает даже
Столбцы газетных телеграмм,

За кружкой пива созерцает,
Как пляшут барышни фокстрот, —
И разом вдруг ослабевает,
И сердце в нем захолонет.

О чем? Забыл. Непостижимо,
Как можно жить в тоске такой!
Он вскакивает. Мимо, мимо,
Под ветер, на берег морской!

Колышится его просторный
Пиджак — и подавляя стон,
Под европейской ночью черной
Заламывает руки он.

〈1922〉

3

Пустился в море с рыбаками.
Весь день на палубе лежал,
Молчал — и желтыми зубами
Мундштук прокуренный кусал.

Качало. Было все не мило:
И ветер, и небес простор,
Где мачта шаткая чертила
Петлистый, правильный узор.

Под вечер буря налетела.
О, как скучал под бурей он,
Когда гремело и свистело,
И застилало небосклон!

Увы! он слушал не впервые,
Как у изломанных снастей
Молились рыбаки Марии,
Заступнице, Звезде Морей!

И не впервые, не впервые
Он людям говорил из тьмы:
«Мария тут, иль не Мария —
Не бойтесь, не потонем мы».

Под утро, дымкою повитый,
По усмирившимся волнам
Поплыл баркас полуразбитый
К родным песчаным берегам.

Встречали женщины толпою
Отцов, мужей и сыновей.
Он миновал их стороною,
Угрюмой поступью своей

Шел в гору, подставляя спину
Струюм холодного дождя,
И на счастливую картину
Не улыбнулся уходя.

〈1923〉

4

Изломала, одолевает
Нестерпимая скука с утра.
Чью-то лодку море качает,
И кричит на песке детвора.

Примостился в кофейне где-то
И глядит на двух толстяков,
Обсуждающих за газетой
Расписание поездов.

Раскаленными взрывами брызжа,
Солнце крутится колесом.
Он хрипит сквозь зубы: — Уймись же! —
И стучит сухим кулаком.

Опрокинул столик железный,
Опрокинул пиво свое.
Бесполезное — бесполезно;
Продолжается бытие.

Он пристал к бездомной собаке
И за нею слонялся весь день,
А под вечер в приморском мраке
Затерялся и пес, как тень.

Вот тогда-то и подхватило,
Одурманило, понесло,
Затуманило, закрутило,
Перекинуло, подняло:

Из-под ног земля убегает,
Глазам не видать ни зги —
Через горы и реки шагают
Семиверстные сапоги.

1922-1923

БЕРЛИНСКОЕ

Что ж? От озноба и простуды —
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка, и звон посуды,
И лиловатый полумрак.

А там, за толстым и огромным
Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме темном,
В аквариуме голубом —

Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Свящихся ленивых рыб.

И там, скользя в ночную гнилость,
На толще чуждого стекла
В вагонных стеклах отразилась
Поверхность моего стола, —

И проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.

1923



С берлинской улицы
Вверху луна видна.
В берлинских улицах
Людская тень длинна.

Дома — как демоны,
Между домами — мрак;
Шеренги демонов,
И между них — сквозняк.

Дневные помыслы,
Дневные души — прочь:
Дневные помыслы
Перешагнули в ночь.

Опустошенные,
На перекрестки тьмы,
Как ведьмы, по-трое
Тогда выходим мы.

Нечеловечий дух,
Нечеловечья речь, —
И песьи головы
Поверх сутулых плеч.

Зеленой точкою
Глядит луна из глаз,
Сухим неистовством
Обуревая нас.

В асфальтном зеркале
Сухой и мутный блеск, —
И электрический
Над волосами треск.

1923

AN MARIECHEN

Зачем ты за пивною стойкой?
Пристала ли тебе она?
Здесь нужно быть девицей бойкой, —
Ты нездорова и бледна.

С какой-то розою огромной
У нецелованных грудей, —
А смертный венчик, самый скромный,
Украсил бы тебя милей.

Ведь так прекрасно, так нетленно
Скончаться рано, до греха.
Родители же непременно
Тебе отыщут жениха.

Так называемый хороший,
И вправду — честный человек
Перегрузит тяжелой ношей
Твой слабый, твой короткий век.

Уж лучше бы — я еле смею
Подумать про себя о том —
Попастся бы тебе злодею
В пустынной роще, вечером.

Уж лучше в несколько мгновений
И стыд узнать, и смерть принять,
И двух истлений, двух растлений
Не разделять, не разлучать.

Лежать бы в платьице измятом
Одной, в березняке густом,
И нож под левым, лиловатым,
Еще девическим соском.

1923



Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась,
Быстрая тень со стены сорвалась —

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг — а иной.

1922



Нет, не найду сегодня пищи я
Для утешительной мечты:
Одни шарманщики, да нищие,
Да дождь — все с той же высоты.

Тускнеет в лужах электричество,
Нисходит предвечерний мрак
На идиотское количество
Серощетинистых собак.

Та — ткнется мордою нечистою
И повернувшись отбежит,
Другая лапою когтистою
Скребет обшмыганный гранит.

Те — жалятся, присев на корточки,
Повесив набок языки, —
А их из самой верхней форточки
Зовут хозяйские свистки.

Все высвистано, прособачено.
Вот так и шлепай по грязи,
Пока не вздрогнет сердце, схвачено
Внезапным треском жалюзи.

1923

ДАЧНОЕ

Уродики, уродища, уроды
Весь день озерные мутили воды.

Теперь над озером ненастье, мрак,
В траве — лягушачий зеленый квак.

Огни на дачах гаснут понемногу,
Клубки червей полезли на дорогу.

А вдалеке, где все затерла мгла,
Тупая граммофонная игла

Шатается по рытвинам царাপин,
И из трубы еще рычит Шаляпин.

На мокрый мир нисходит угомон...
Лишь кое-где, топча сырой газон,

Блудливые невесты с женихами
Слипаются, накрытые зонтами,

А к ним под юбки лазит с фонарем
Полуслепой, ширококоротый гном.

1923

ПОД ЗЕМЛЕЮ

Где пахнет черною карболкой
И провонявшею землей,
Стоит, склоняя профиль колкий
Пред изразцовою стеной.

Не отойдет, не обернется,
Лишь весь качается слегка,
Да как-то судорожно бьется
Потертый локоть сюртука.

Заходят школьники, солдаты,
Рабочий в блузе голубой, —
Он все стоит, к стене прижатый
Своею дикою мечтой.

Здесь создает и разрушает
Он сладострастные миры,
А из соседней конуры
За ним старуха наблюдает.

Потом в открывшуюся дверь
Видны подушки, стулья, склянки.
Вошла — и слышатся теперь
Обрывки злобной перебранки.
Потом вонючая метла
Безумца гонит из угла.

И вот из полутьмы глубокой,
Старик сутулый, но высокий,
В таком почтенном сюртуке,
В когда-то модном котелке,
Идет по лестнице широкой,
Как тень Аида — в белый свет,
В берлинский день, в блестящий бред.

А солнце ясно, небо сине,
А сверху синяя пустыня...
И злость, и скорбь моя кипит,
И трость моя в чужой гранит
Неумолкаемо стучит.

1923



Все каменное. В каменный пролет
Уходит ночь. В подъездах, у ворот —

Как изваянья — слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары.

Бренчит о камень ключ, гремит засов.
Ходи по камню до пяти часов,

Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина, —

И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

1923



Встаю расслабленный с постели.
Не с Богом бился я в ночи, —
Но тайно сквозь меня летели
Колючих радио лучи.

И мнится: где-то в теле живы,
Бегут по жилам до сих пор
Москвы бунтарские призывы
И бирж всесветный разговор.

Незаглушимо и сумбурно
Пересеклись в моей тиши
Ночные голоса Мельбурна
С ночными знаньями души.

И чьи-то имена и цифры
Вонзаются в разъятый мозг,
Врываются в глухие шифры
Разряды океанских гроз.

Хожу — и в ужасе внимаю
Шум, невнимаемый никем.
Руками уши зажимаю —
Все тот же звук! А между тем...

О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы *еще* лучами
Неощутимо пронзены!

1923

ХРАНИЛИЩЕ

По залам прохожу лениво.
Претит от истин и красот.
Еще невиданные дива,
Признаться, знаю наперед.

И как-то тяжело, больно даже
Душою жить — который раз? —
В кому-то снувшемся пейзаже,
В когда-то промелькнувший час.

Все бьется человеческий гений:
То вверх, то вниз. И то сказать:
От восхождений и падений
Уж позволительно устать.

Нет! полно! Тяжелеют веки
Пред вереницею Мадонн, —
И так отрадно, что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.

1924



Интриги бирж, потуги наций.
Лавина движется вперед.
А все под сводом Прокураций
Дух беззаботности живет.

И беззаботно так уснула,
Поставив туфельки рядом,
Неомраченная Урсула
У Алинари за стеклом.

И не без горечи сокрытой
Хожу и мыслю иногда,
Что Некто, мудрый и сердитый,
Однажды поглядит сюда,

Нечаянно развеселится,
Весь мир улыбкой озаря,
На шаль красотки заглядится,
Забудется, как нынче я, —

И все исчезнет невовратно
Не в очистительном огне,
А просто — в легкой и приятной
Венецианской болтовне.

1924

СОРРЕНТИНСКИЕ ФОТОГРАФИИ

Воспоминанье прихотливо
И непослушливо, оно —
Как узловатая олива:
Никак, ничем не стеснено.
Свои причудливые ветви
Узлами диких соответствий
Нерасторжимо заплетет —
И так живет, и так растет.

Порой фотограф-ротозей
Забудет снимкам счет и пленкам
И снимет парочку друзей,
На Капри, с беленьким козленком —
И тут же, пленки не сменив,
Запечатлеет он залив
За пароходною кормою
И закопченную трубу
С космою дымною на лбу.
Так сделал нынешней зимою
Один приятель мой. Пред ним
Смешались воды, люди, дым
На негативе помутнелом.
Его знакомый легким телом
Полупрозрачно заслонял
Черты скалистых исполинов,
А козлик, ноги в небо вскинув,
Везувий рожками бодал...
Хоть я и не люблю козляток
(Ни итальянских пикников) —
Двух совместившихся миров
Мне полюбился отпечаток:
В себе виденье затая,
Так протекает жизнь моя.

Я вижу скалы и агавы,
А в них, сквозь них и между них —
Домишко низкий и плюгавый,
Обитель прачек и портных.
И как ни отвожу я взора,
Он все маячит предо мной,
Как бы сползая с косогора
Над мутною Москвой-рекой.
И на зеленый, величавый
Амальфитанский перевал
Он жалкой тенью набежал,
Стопою нищенскою стал
На пласт окаменелой лавы.
Раскрыта дверь в полуподвал,
И в сокрушении глубоком,
Четыре прачки, полубоком,
Выносят из сеней во двор
На полотенцах гроб дощатый,
В гробу — Савельев, полотер.
На нем потертый, полосатый
Пиджак. Икона на груди
Под бороδοю рыжеватой.
«Ну, Ольга, полно. Выходи».
И Ольга, прачка, за перила
Хватаясь крепкою рукой,
Выходит. И заголосила.
И тронулись под женский вой
Неспешно со двора долой.
И сквозь колючие агавы
Они выходят из ворот,
И полотера лоб курчавый
В лазурном воздухе плывет.
И от мечты не отрываясь,
Я сам в оливковом саду,
За смутным шествием иду,
О чуждый камень спотыкаясь.

*

Мотоциклетка стрекотнула
И сорвалась. Затрепетал
Прожектор по уступам скал,
И отзвук рокота и гула
За нами следом побежал.
Сорренто спит в сырых громадах.
Мы шумно ворвались туда
И стали. Слышно, как вода
В далеких плещет водопадах.
В страстную пятницу всегда
На глаз заметно мир пустеет,
Айдесский, древний ветер веет,
И ущербляется луна.
Сегодня в облаках она.
Тускнеют улицы сырые.
Одна ночная остерия
Огнями желтыми горит.
Ее взлохмаченный хозяин
Облокотившись полуспит.
А между тем уже с окраин
Глухое пение летит,
И озаряется свечами
Кривая улица вдали;
Как черный парус, меж домами
Большое знамя пронесли
С тяжеловесными кистями;
И чтобы видеть мы могли
Воочию всю ту седмицу,
Пронесят плеть, и багряницу,
Терновый скорченный венок,
Гвоздей заржавленных пучок,
И лестницу, и молоток.

Но пенье ближе и слышнее.
Толпа колышется, чернея,
А над толпою лишь Она,
Кольцом огней озарена,
В шелках и розах утопая,
С недвижной благостью в лице,

В недостижимом венце,
Плывет, высокая, прямая,
Ладонь к ладони прижимая,
И держит ручкой восковой
Для слез платочек кружевной.
Но жалкою людскою дрожью
Не дрогнут ясные черты.
Не оттого ль к Ее подножью
Летят молитвы и мечты,
Любви кощунственные розы
И от великой полноты —
Сладчайшие людские слезы?
К порогу вышел своему
Седой хозяин остерии.
Он улыбается Марии.
Мария! Улыбнись ему!

Но мимо: уж Она в соборе
В снопах огней, в гремящем хоре.
Над поредевшей толпой
Порхает отсвет голубой.
Яснее проступают лица,
Как бы напудрены зарей.
Над островерхой горой
Переливается Денница...

*

Мотоциклетка под скалой
Летит извилистым полетом,
И с каждым новым поворотом
Залив просторней предо мной.
Горя зарей и ветром вея,
Он все волшебней, все живее.
Когда несемся мы правее,
Бегут налево берега,
Мы повернем — и величаво
Их позлащенная дуга
Начнет разворачиваться вправо.

В тумане Прочида лежит,
Везувий к северу дымит.
Запятнан площадною славой,
Он все торжествен и велик
В своей хламиде темно-ржавой,
Сто раз прожженной и дырявой.
Но вот — румяный луч проник
Сквозь отдаленные туманы.
Встает Неаполь из паров,
И заиграл огонь стеклянный
Береговых его домов.

Я вижу светлые просторы,
Плывут сады, поляны, горы,
А в них, сквозь них и между них —
Опять, как на неверном снимке,
Весь в очертаниях сквозных,
Как был тогда, в студеной дымке,
В ноябрьской утренней заре,
На восьмигранном острие,
Золотокрылый ангел розов
И неподвижен — а над ним
Вороньи стаи, дым морозов,
Давно рассеявшийся дым.
И отражен кастелламарской
Зеленоватою волной,
Огромный страж России царской
Вниз опрокинут головой.
Так отражался он Невою,
Зловещий, огненный и мрачный,
Таким явился предо мной —
Ошибка пленки неудачной.

Воспоминанье прихотливо.
Как сновидение — оно
Как будто вещей правдой живо,
Но так же дико и темно
И так же, вероятно, лживо...

Среди каких утрат, забот,
И после скольких эпитафий,
Теперь, воздушная, плывет
И что закроет в свой черед
Тень соррентинских фотографий?

1926

ИЗ ДНЕВНИКА

Должно быть, жизнь и хороша,
Да что поймешь ты в ней, спеша
Между купелию и моргом,
Когда мытарится душа
То отвращеньем, то восторгом?

Непостижимостей свинец
Все толще над мечтой понурой, —
Вот и дуреешь, наконец,
Как любознательный кузнец
Над просветительной брошюрой.

Пора не быть, а пребывать,
Пора не бодрствовать, а спать,
Как спит зародыш крутолобий,
И мягкой вечностью опять
Обволокнуться, как утробой.

1925

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Nel mezzo del cammin di nostra vita.

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосерого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

1924

ОКНА ВО ДВОР

Несчастный дурак в колодце двора
Причитает сегодня с утра,
И лишнего нет у меня башмака,
Чтобы бросить его в дурака.

.

Кастрюли, тарелки, пьянино гремят,
Баюкают няньки крикливых ребят.
С улыбкой сидит у окошка глухой,
Зачарован своей тишиной.

.

Курносый актер перед пыльным трюмо
Целует портреты и пишет письмо, —
И честно гонясь за правдивой игрой,
В шестнадцатый раз умирает герой.

.

Отец уж надел котелок и пальто,
Но вернулся, бледный как труп:
— Сейчас же отшлепать мальчишку за то,
Что не любит луковый суп!

.

Небритый старик, отодвинув кровать,
Забивает старательно гвоздь,
Но сегодня успеет ему помешать
Идущий по лестнице гость.

.

Рабочий лежит на постели в цветах.
Очки на столе, медяки на глазах.
Подвязана челюсть, к ладони ладонь.
Сегодня в лед, а завтра в огонь.

.

Что верно, то верно! Нельзя же силком
Девчонку тащить на кровать!
Ей нужно сначала стихи почитать,
Потом угостить вином...

.

Вода запищала в стене глубоко:
Должно быть, по трубам бежать нелегко,
Всегда в тесноте и всегда в темноте,
В такой темноте и в такой тесноте!

.

1924

БЕДНЫЕ РИФМЫ

Всю неделю над мелкой поживой
Задышаться, тошадь и дрожать,
По субботам с женой некрасивой
Над бокалом обнявшись дремать,

В воскресенье на чахлую траву
Ехать в поезде, плед разложить,
И опять задремать, и забаву
Каждый раз в этом всем находить,

И обратно тащить на квартиру
Этот плед, и жену, и пиджак,
И ни разу по пледу и миру
Кулаком не ударить вот так, —

О, в таком непреложном законе,
В заповедном смиреньи таком
Пузырьки только могут в сифоне,
Вверх и вверх, пузырек с пузырьком.

1926



Сквозь ненастный зимний денек
— У него сундук, у нее мешок —

По паркету парижских луж
Ковыляют жена и муж.

Я за ними долго шагал,
И пришли они на вокзал.
Жена молчала, и муж молчал.

И о чем говорить, мой друг?
У нее мешок, у него сундук...
С каблуком топотал каблук.

1927

БАЛЛАДА

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.

Мне лиру ангел подает,
Мне мир прозрачен, как стекло, —
А он сейчас разинет рот
Пред идиотствами Шарло.

За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлобный, смирный человек
С опустошенным рукавом?

Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Безрукий прочь из синема
Идет по улице домой.

Ременный бич я достаю
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода

Взлетают в городскую высь.
Так с венецийских площадей
Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей.

Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:

— Pardon, monsieur, когда в аду
— За жизнь надменную мою
— Я казнь достойную найду,
— А вы с супругою в раю

— Спокойно будете витать,
— Юдоль земную созерцать,
— Напевы дивные внимать,
— Крылами белыми сиять, —

— Тогда с прохладнейших высот
— Мне сбросьте перышко одно:
— Пускай снежинкой упадет
— На грудь спаленную оно.

Стоит безрукий предо мной,
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.

1925

ДЖОН БОТТОМ

1

Джон Боттом славный был портной,
Его весь Рэстон знал.
Кроил он складно, прочно шил
И дорого не брал.

2

В опрятном домике он жил
С любимой женой
И то иглой, то утюгом
Работал день деньской.

3

Заказы Боттому несли
Порой издалека.
Была привинчена к дверям
Чугунная рука.

4

Тук-тук — заказчик постучит,
Откроет Мэри дверь, —
Бери-ка, Боттом, карандаш,
Записывай да мерь.

5

Но раз... Иль это только так
Почудилось слегка? —
Как будто стукнула сильней
Чугунная рука.

6

Проклятье вечное тебе,
Четырнадцатый год!..
Потом и Боттому пришел,
Как всем другим, черед.

7

И с верной Мэри целый день
Прощался верный Джон,
И целый день на домик свой
Глядел со всех сторон.

8

И Мэри так ему мила,
И домик так хорош,
Да что тут делать? Все равно:
С собой не заберешь.

9

Взял Боттом карточку жены
Да прядь ее волос,
И через день на континент
Его корабль увез.

10

Сражался храбро Джон, как все,
Как долг и честь велют,
А в ночь на третье февраля
Попал в него снаряд.

11

Осколок грудь ему пробил;
Он умер в ту же ночь,
И руку правую его
Снесло снарядам прочь.

12

Германцы, выбив наших вон,
Нахлынули в окоп,
И Джона утром унесли
И положили в гроб.

13

И руку мертвую нашли
Оттуда за версту
И положили на груди...
Одна беда — не ту.

14

Рука-то плотничья была,
В мозолях. Бедный Джон!
В такой руке держать иглу
Никак не смог бы он.

15

И возмутилася тогда
Его душа в раю:
«К чему мне плотничья рука?
«Отдайте мне мою!

16

«Я ею двадцать лет кроил
«И на любой фасон!
«На ней колечко с бирюзой,
«Я без нее не Джон!

17

«Пускай я грешник и злодей,
«А плотник был святой, —
«Но невозможно мне никак
«Лежать с его рукой!»

18

Так на блаженных высотах
Все сокрушался Джон,
Но хором ангельской хвалы
Был голос заглушен.

19

А между тем его жене
Полковник написал,
Что Джон сражался как герой
И без вести пропал.

20

Два года плакала вдова:
«О, Джон, мой милый Джон!
«Мне и могилы не найти,
«Где прах твой погребен!..»

21

Ослабли немцы наконец.
Их били мы, как моль.
И вот — Версальский, строгий мир
Им прописал король.

22

А к той могиле, где лежал
Невидимый герой,
Однажды маршалы пришли
Нарядною толпой,

23

И вырыт был достойный Джон,
И в Лондон отвезен,
И под салют, под шум знамен
В аббатстве погребен.

24

И сам король за гробом шел,
И плакал весь народ.
И подивился Джон с небес
На весь такой почет.

25

И даже участью своей
Гордиться стал слегка.
Одно печалило его,
Одна беда — рука!

26

Рука-то плотничья была,
В мозолях... Бедный Джон!
В такой руке держать иглу
Никак не смог бы он.

27

И много скорбных матерей
И много верных жен
К его могиле каждый день
Ходили на поклон.

28

И только Мэри нет как нет.
Проходит круглый год —
В далеком Рэстоне она
Все так же слезы льет.

29

«Покинул Мэри ты свою,
«О, Джон, жестокий Джон!
«Ах, и могилы не найти,
«Где прах твой погребен!»

30

Ее соседки в Лондон шлют,
В аббатство, где один
Лежит безвестный, общий всем
Отец, и муж, и сын.

31

Но плачет Мэри: «Не хочу!
«Я Джону лишь верна!
«К чему мне общий и ничей?
«Я Джонова жена!»

32

Все это видел Джон с небес
И возроптал опять.
И пред апостолом Петром
Решился он предстать.

33

И так сказал: «Апостол Петр,
«Слыхал я стороной,
«Что сходят мертвые к живым
«Полночною порой.

34

«Так приоткрой свои врата,
«Дай мне хоть как-нибудь
«Явиться призраком жене
«И только ей шепнуть,

35

«Что это я, что это я,
«Не кто-нибудь, а Джон
«Под безымянною плитой
«В аббатстве погребен.

36

«Что это я, что это я
 «Лежу в гробу глухом —
«Со мной постылая рука,
 «Земля во рту моем».

37

Ключи встряхнул апостол Петр
 И строго молвил так:
«То — души грешные. Тебе ж —
 «Никак нельзя, никак».

38

И молча, с дикою тоской
 Пошел Джон Боттом прочь,
И все томится он с тех пор,
 И рай ему невмочь.

39

В селеньи света дух его
 Суров и омрачен,
И на торжественный свой гроб
 Смотреть не хочет он.

1926

ЗВЕЗДЫ

Вверху — грошовый дом свиданий.
Внизу — в грошовом «казино»
Восселись зрители. Темно.
Пора щипков и ожиданий.
Тот захихикал, тот зевнул...
Но неудачник облыселей
Высоко палочкой взмахнул.
Открылись темные пределы,
И вот — сквозь дым табачных туч —
Прожектора зеленый луч.
На авансцене, в полумраке
Раскрыв золотозубый рот,
Румяный хахаль в шапоклёке
О звездах песенку поет.
И под двуспальные напевы
На полинялый небосвод
Ведут сомнительные девы
Свой непотребный хоровод.
Сквозь облака, по сферам райским
(Улыбочки туда-сюда)
С каким-то веером китайским
Плывет Полярная Звезда.
За ней вприпрыжку поспешая,
Та пожирней, та похудей,
Семь звезд — Медведица Большая —
Трясут четырнадцать грудей.
И до последнего раздета,
Горя брильянтовой косой,
Вдруг жидколягая комета
Выносятся перед толпой.
Глядят солдаты и портные
На рассусаленный сумбур,

Играют сгустки жировые
На бедрах Etoile d'amour,
Несутся звезды в пляске, тряске,
Звучит оркестр, поет дурак,
Летят алмазные подвязки
Из мрака в свет, из света в мрак.
И заходя в дыру все ту же,
И восходя на небосклон, —
Так вот в какой постыдной луже
Твой День Четвертый отражен!..
Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

1925

ДОПОЛНЕНИЯ

[ЭПИГРАММА]

Венчал Валерий Владислава, —
И «Грифу» слава дорога!
Но Владиславу — только слава,
А «Грифу» — слава да рога.

〈1905〉



Если сердце захочет плакать,
Я заплачу — и буду рад.
Будет сладко, и будет грустно:
Знаю — близок возможный брат.

Слезы горьки, но небо чисто.
Кто-то скорбный пришел ко мне,
Скорбный, бледный, но вечно милый.
Мы виновны в одной вине.

Мы виновны в грехе рожденья,
Мы нарушили тишину,
Мы попрали молчанье Смерти,
Мы стонали в земном плену.

Если сердце захочет плакать,
Я заплачу — и буду рад.
Будут наши страдания чисты:
Тайну знаю лишь я — да брат.

〈1905〉

У ЛЮДЕЙ

О как мне скучно, скучно, скучно!
Как неустанна суета,
Как все вокруг спешат докучно,
И бредит сонная мечта!

Как будто кто-то грозный, темный,
Крылами навеваает жар...
В провалах мысли иступленной
Горит невидимый пожар.

Я не хочу сгорать незримо!
Незримый жар стократ страшней,
Чем тот, что мчит неугасимо
Безумство блещущих огней...

О нет, спасите! К краю кубка
Припасть устами... Пью!.. Мое!
— Опять измена!.. Укус, губка, —
И ненавистное копье.

〈1905〉

СЧАСТЬЕ

Солнце! Солнце! Огнь палящий!
Солнце! Ярый кат небес!
Ты опустишь меч разящий,
Взрежешь облачность завес.

Но не воплем, но не плачем
Встречу огненный удар.
Что мы знаем? Что мы значим?
Я, незрячий, сед и стар.

На, калека! Прочь, корона!
Упадай порфира с плеч!
О, губящий! Я без стога
Принимаю тяжкий меч!

Пред народом, умиленный,
Первым пал последний царь.
Над главою убеленной
Меч взнесен. Я жду. Ударь!

〈1905〉

ЗИМНИЕ СУМЕРКИ

Сумерки снежные. Дали туманные.
Крыши гребнями бегут.
Тучки закатные, розово-странные
Цепью волнистой плывут.

Тихо, так тихо, и грустно, и сладостно...
В окнах мерцают огни.
Звон колокольный разносится благостно.
Плачу, что люди — одни.

Вечно одни, с надоевшими муками, —
Я, и другие, как тот,
Кто, зачарованный грустными звуками,
Там, за стеною, поет...

〈1905〉

ОСЕННИЕ СУМЕРКИ

На город упали туманы
Холодною, белой фатой.
Возникли немые обманы
Далекой, чужой чередой.

Как улиц ущелья глубоки!
Как сдвинулись стены тесней!
Во мне — потускневшие строки
Бегущих за дымкой огней.

Огни наливаются кровью, —
Багровые светят глаза...
Один я... Со злобой, с любовью.
Ушли навсегда небеса.

〈1905〉



Схватил я дымный факел мой,
Бежал по городу бездумно,
И искры огненной струей
За мною сыпались бесшумно.

Мелькал по темным площадям,
Стучал по звонким серым плитам,
Бежал к далеким фонарям,
Струистым отблеском повитым.

И я дробил глухую тишь,
И в уши мне врывается ветер...
— Ты, город черный, мертво спишь,
А я живу — последний вечер. —

Бегу туда, за твой предел,
К пустым полям и чахлым травам,
Где мгlistый воздух онемел
Под лунным отблеском кровавым.

И всколыхну речной покой,
С разбега прыгну в глубь немую.
Сомкнутся волны надо мной,
И факел мой потушат струи...

И тихо факел поплывет,
Холодный, черный, обгорелый.
Его волна к земле прибьет...
Его омоет пеной белой...

〈1905〉

ДОМА

От скуки скромно вывожу крючочки
По гладкой, белой, по пустой бумаге:
Круги, штрихи, потом черчу зигзаги,
Потом идут рифмованные строчки...

Пишу стихи. Они слегка унылы.
Едва кольнув, слова покорно меркнут.
И, может быть, уже навек отвергнут
Жестокий взгляд, когда-то сердцу милый?

А если снова, под густой вуалью,
Она придет и в двери постучится,
Как сладко будет спящим притвориться
И мирных дней не уязвить печалью!

Она у двери постоит немного,
Нетерпеливо прозвенит браслетом,
Потом уйдет. И что сказать об этом?
Продлятся дни, безбольно и не строго!

Стихи, давно забытые, — исправлю,
Все дни часами ровными размером
И никакой надежде не поверю,
И никакого бога не прославлю.

〈1908〉

МЫШЬ

Маленькая, тихонькая мышь,
Серенький, веселенький зверок.
Глазками давно уже следишь,
В сердце не готов ли уголок.

Здравствуй, терпеливая моя,
Здравствуй, неизменная любовь!
Зубок изостренные края
Радостному сердцу приготовь.

В сердце поселяйся наконец,
Тихонький, послушливый зверок.
Сердцу истомленному венец —
Бархатный, горяченький комок.

〈1908〉

НОВЫЙ ГОД

«С Новым Годом!» Как ясна улыбка!
— С новым счастьем! — «Милый, мы вдвоем!»
У окна в аквариуме рыбка
Тихо плещет золотым пером.

Светлым утром, у окна в гостиной,
Милый образ, милый голос твой...
Поцелуй, душистый и невинный...
Новый Год! Счастливый! Золотой!

Кто меня счастливее сегодня?
Кто скромнее шутит о судьбе?
Что прекрасней сказки новогодней,
Одинокой сказки — о тебе?

〈1909〉

[ПОСВЯЩЕНИЕ]

Муза, плачь от восторга! Друг, посмотри на счастливец:
Счастье, как легкая тень, вновь осенило меня.
Друг! О тебе эти первые строки счастливой поэмы, —
Милое имя твое ставлю в начале ея.

〈1912〉

В НЕМЕЦКОМ ГОРОДКЕ

Весна

Е.А.Маршевой

Весело чижик поет
В маленькой ивовой клетке.
Снова весна настает.
Бойко судачат соседки:

«Нет, не уйдешь от судьбы:
Все дорожает картофель!..»
Вон — трубочист из трубы
Кажет курносый свой профиль...

К шляпе приделав султан,
В память былого, от скуки,
Учит старик Иоганн
Деток военной науке.

Плещется флаг голубой,
Кто-то свистит на кларнете...
Боже мой, Боже Ты мой, —
Сколько веселья на свете!

〈1914〉

АВИАТОРУ

Над полями, лесами, болотами,
Над извирами северных рек
Ты проносишься плавными взлетами,
Небожитель — герой — человек.

Напрягаются крылья, как парусы,
На руле костенеет рука,
А кругом — взгроможденные ярусы:
Облака — облака — облака.

И смотря на тебя недоверчиво,
Я качаю слегка головой:
Выше, выше спирали очерчивай,
Но припомни — подумай — постой.

Что тебе до надоблачной ясности?
На земной, материнской груди
Отдохни от высот и опасностей, —
Упади — упади — упади!

Ах, сорвись, и большими зигзагами
Упади, раздробивши хребет, —
Где трибуны расцветены флагами,
Где народ — и оркестр — и буфет...

1914

ИЗ МЫШИНЫХ СТИХОВ

У людей война. Но к нам в подполье
Не дойдет ее кровавый шум.
В нашем круге — вечно богомолье,
В нашем мире — вечное раздолье
Благодатных и смиренных дум.

Я с последней мышью полевою
Вечно брат. Чужда для нас война, —
Но Господь да будет над тобою,
Снежная, суровая страна!

За Россию в день великой битвы
К небу возношу неслышный стих:
Может быть, мышинные молитвы
Господу любезнее других...

Франция! среди твоей природы
Свищет меч, лозу твою губя.
Колыбель возлюбленной свободы!
Тот немышь, кто не любил тебя!

День и ночь под звон машинной стали,
Бельгия, какмышь, трудилась ты, —
И тебя, подруга, растерзали
Швабские усатые коты...

Ах, у вас война! Взметает порох
Яростный и смертоносный газ,
А в подпольных, потаенных норах
Горький трепет, богомольный шорох
И свеча, зажженная за вас.

⟨1914⟩



«Вот в этом палаццо жила Дездемона»...
Все это неправда, но стыдно смеяться.
Смотри, как стоят за колонной колонна
Вот в этом палаццо.

Вдали затихает вечерняя Пьяцца,
Беззвучно вращается свод небосклона,
Расшитый звездами, как шапка паяца.

Минувшее — мальчик, упавший с балкона...
Того, что настанет, не нужно касаться...
Быть может, и правда — жила Дездемона
Вот в этом палаццо?..

〈1915〉

[НАДПИСЬ НА ПАСХАЛЬНОМ ЯЙЦЕ]

На новом радостном пути,
Поляк, не унижай еврея:
Ты был, как он, ты стал сильнее, —
Свое минувшее в нем чти.

〈1915〉

НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ

(Подражание Брюсову)

Падучие звезды бесследно
Сгорали, как звезды ракет,
А я, исцелованный, бледный,
Сидел у тебя на балконе.
В небесном предутреннем склоне
Мерцал полупризрачный свет.

Внизу запоздалым напевом
Гудел громыхающий трам...
Юпитер склонялся налево —
И были мучительно грубы
Твои исхищенные губы
Моим безучастным губам.

Потом я ушел. По асфальту
Шаги, как упрек, раздались,
А в сердце бесследно сгорали
Томления страсти бессонной,
И ты мне кричала с балкона:
— Мне хочется броситься вниз!

⟨1915⟩

НА ПАСХЕ

(отрывок из повести)

Пасха не рано была в тот год. В серебророзовой дымке
Вейла томно весна по лесам, и полям, и болотам.
Только в ложбине лежали пласты почернелого снега.
Там, где просохло, рыжела трава прошлогодняя... Брось-ка
Искру в иссохшую траву: и взору, и сердцу отрада!
Мигом огонь полыхнет, побежит, зазмеится, завьется;
Синий, прозрачный дымок от земли подымет к небу;
В синем, прозрачном дымке замелькает серебряный месяц
Узким, холодным серпом, а немного левее — Венера
Вспыхнет и взором зеленым заглянет в самое сердце...
Траву сухую сожги, весне помогая и смерти.
Только сумей затоптать огонь, а не то подберется
К самым сараям, конюшням... Беда!.. Уж и так от работы
Люд православный совсем отстал за святую седмицу.
Всю-то неделю гулял он, водил хоробы, да песни
Пел, да с большой колокольни долдонил целыми днями...
В толстой церковной стене крутая лестница вьется,
Сорок истертых ступеней из мрака выводят на воздух.
Сорок ступеней пройди — и звони над весенним раздольем,
Радуйся вольному ветру да глохни от медного рева!
Редкий мужик не сходил позвонить на пасхальной неделе:
Разве что самый больной, да столетний Димитрий, который
Шведа под Нарвою бил. А все другие ходили.
Даже Андреич, бурмистр, и тот, несмотря на дородность,
На колокольню взбирался и, на руки плюнув трикратно,
Крепко взялся за веревки — и бум, бум, бум, — в самый
тяжелый
Колокол грянул. Но скоро устал и долой с колокольни,
Пот утирая, пошел. Казачок же господский Никитка,
Свечку подняв высоко, спускался за ним осторожно.
Даже мусью де-ла-Рош пришел с молодыми князьями,

С Павлом Андреичем да Николаем Андреичем. Сам-то
Взлезть он не мог, но князей отпустил. Расставивши ноги
В шелковых черных чулках и сняв треуголку, закинул
Голову кверху француз — и видел зеленое небо,
Синюю маковку церкви, Венеру, встающую слева, —
И непостижною грустью сжималось дряхлое сердце.
Но отзвонили князя; сойдя с колокольни, обедать
К барскому дому бегут сырыми дорожками парка;
Молча за ними бредет француз, опираясь на палку,
Пруд небольшой огибая — и видя: на острове круглом
Мраморный белый Амур свой мраморный лук напрягает,
В передвечернюю синь вонзив позлащенную стрелку...

〈1918〉

СТАНСЫ

Во дни народных потрясений
Душе ясна, сквозь хворь и боль,
Неоцененная дотоль
Вся мудрость малых поучений.

«Доволен малым будь!» Аминь.
Быть может, правды нет мудрее,
Чем то, что вот сижу в тепле я,
И дым над трубкой тих и синь...

Глупец глумленьем и плевром
Ответит на мое признание,
Но высший суд и оправданье —
Весы души во мне самом.

Да, малое, что здесь, во мне,
И взрывчатей и драгоценней,
Чем все величье потрясений
В моей пылающей стране...

И шепчет гордо и невинно
Мне про стихи мои мечта,
Что полновесна и чиста
Их «золотая середина».

〈1919〉



Не люблю стихи, которые
На мои стихи похожи.
Все молитвы, все укоры я
Сам на суд представлю Божий.

Сам и казнь приму. Вы ельника
На пути мне не стелите,
А присевшего бездельника
С черных дроз моих гоните...

〈1920〉



Мы какие-то четыре звездочки,
и как их ни сложи, все выходит
хорошо.

Нат.Алекс.Огарева — Герценам

Четыре звездочки взошли на небосвод.
Мечтателей пленяет их мерцанье.
Но тайный Рок в спокойный ход
Ужасное вложил знаменованье.

Четыре звездочки! Безмолвный приговор!
С какою неразрывностью суровой
Сплетаются, в свой узел, в свой узор,
Созвездья Герцена — с созвездьем Огарева!

Четыре звездочки! Как под рукой Творца
Небесных звезд незыблемо движенье —
Так их вело единое служенье
От юности до смертного конца.

Четыре звездочки! В слепую ночь страстей,
В соблазны ревности судьба их заводила, —
Но никогда, до самых страшных дней,
Ни жизнь, ни смерть — ничто не разделило.

⟨1920⟩

ПАМЯТНИК

Exegi monumentum...

Павлович! С посошком бродячею каликой
Пройди от финских скал вплоть до Донских станиц,
Читай мои стихи по всей Руси великой, —
И столько мне пришлют яиц,

Что если гору их на площади Урицкой
Поможет мне сложить поклонников толпа,
То, выглянув в окно, уж не найдет Белицкий
Александрийского столпа.

〈1921〉

[ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ (1920-1922)]

[1]

Пыль, грохот, зной. По рыхлому асфальту,
Сквозь запахи гнилого мяса, масла
Прогорклого и овощей лежалых,
Она идет, платочком утирая
Запекшиеся губы. Распахнулась
На животе накидка — и живот
Под сводом неба выгнулся таким же
Высоким, круглым сводом. Там, во тьме,
В прозрачно-мутной влаге, на груди
Скрестивши руки, к животу прижавши
Кривые ноги с мягкими костями,
Морщинистый, сомкнувший плотно веки,
В предвечном сне покоится ребенок, —
Вниз головой.
Последние часы
Через пуповину, вьющуюся гибким
Канатиком, досасывает он
Из матери живые соки.
В ней же...

⟨1920⟩

[2]

Живем в ладу. Ни зависти, ни злобы
...не водится у нас.
Ложимся спать в один и тот же час,
В один встаем. Потом через сугробы...

⟨1920⟩

[3]

Лес символов! Качели соответствий!
Волшебная, но шаткая доска!
Полет качелей восхищает в детстве,
Лесная тень ласкает старика.

.
Но лес безвыходен. Предел качанья —
Иль полукруг — иль мертвая петля.

.
Но по лесу безвыходны скитанья...

〈1921〉

[4]

Горю. От моего страданья
Вам в вашем сумраке светлей

.
И ваши ... сердца
Оно пропитывает пряно,
И уязвляя, и целя,
Как запах томного циана
От сорванного миндаля
Под кожей...

〈1921〉

[5. Частушка]

Ходит пес
Барбос,
Его нос
Курнос.

Мне вчерась
Матрос
Папирос
Принес.

〈1921〉

[6]

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладонки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

России пасынок, о Польше
Не знаю сам, кто Польше я,
Но восемь томиков, не больше,
И в них вся родина моя.

Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке.

〈1922〉

[7]

Вот повесть. Мне она предстала
Отчетливо и ясно вся,
Пока в руке моей лежала
Рука послушная твоя.

〈1922〉



Черные тучи проносятся мимо
Сел, нив, рош.
Вот потемнело, и пыль закрутилась, —
Гром, блеск, дождь.

Соснам и совам потеха ночная:
Визг, вой, свист.
Ты же, светляк, свой зеленый фонарик
Спрячь, друг, в лист.

〈1923〉

[ОТРЫВОК]

Доволен я своей судьбой.
Все явь, мне ничего не снится.
Лесок сосновый, молодой.
Бежит бесенок предо мной:
То хрустнет веточкой сухой,
То хлюпнет в лужице копытце.
Смолой пахнет лес.
Русак перебежал поляну.
Оглядывается мой бес.
Не бойся, глупый, не отстану!
Вот так, на дружеской ноге,
Придем и к бабушке Яге.
Нам наварит она кашицы,
Подаст испить своей водицы,
Положит спать на сеновал.
И долго, долго жить мы будем,
И скоро, скоро позабудем,
Когда и кто к кому пристал,
И кто кого сюда зазвал.

〈1923〉



Сквозь облака фабричной гари
Грозя костлявым кулаком,
Дрожит и злится пролетарий
Пред изворотливым врагом.

Толпою стражи ненадежной
Великолепье окружа,
Упрямый, но неосторожный,
Дрожит и злится буржуа.

Должно быть, не борьбою партий
В парламентах решится спор:
На европейской ветхой карте
Все вновь перечеркнет раздор.

Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрашно
Глядят историк и поэт.

Людские войны и союзы,
Бывало, славили они.
Разочарованные Музы
Припомнили им эти дни —

И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить.
Два: побежденных не жалеть.

〈1923〉



Трудолюбивою пчелой
Звения и рокоча, как лира,
Ты, мысль, повисла в зное мира
Над вечной розою — душой.

К ревнивой чашечке ее
С пытливой дрожью святотатца
Прильнула — вщупаться, всосаться
В таинственное бытие.

Срываешься вниз головой
В благоухающие бездны —
И вновь выходишь в мир подзвездный,
Запорошенная пылью.

И в свой причудливый киоск
Летишь назад, полухмельная,
Отягощаясь, накапливая
И людям — мед, и Богу — воск.

〈1923〉

ПЕСНЯ ТУРКА

Прислали мне кинжал, шнурок
И белый, белый порошок.

Как умереть? Не знаю.
Я жить хочу — и умираю.

Не надеваю я шнурка,
Не принимаю порошка,
Кинжала не вонзаю, —
От горести я умираю.

〈1924〉

СОРРЕНТИНСКИЕ ЗАМЕТКИ

1. Водопад

Там, над отвесною громадой,
Начав разбег на вышине,
Шуми, поток, играй и прядай,
Скача уступами ко мне.

Повисни в радугах искристых,
Ударься мощною струей
И снова в недрах каменистых
Кипенье тайное сокрой.

Лети с неудержимой силой,
Чтобы корыстная рука
Струи полезной не схватила
В долбленный кузов черпака.

〈1924〉

2. Пан

Смотря на эти скалы, гроты,
Вскипанье волн, созвездий бег,
Забыть убогие заботы
Извечно жаждет человек.

Но диким ужасом вселенной
Хохочет козлоногий бог,
И потрясенная мгновенно
Душа замрет. Не будь же строг,

Когда под кровлю ресторана,
Подавлена, угнетена,
От ею вызванного Пана
Бегом спасается она.

〈1924〉

3. Афродита

Сирокко, ветер невеселый,
Все вымел начисто во мне.
Теперь мне шел бы череп голый
Да горб высокий на спине.

Он сразу многое бы придал
Нам с Афродитою, двоим,
Когда, обнявшись, я и идол,
Под апельсинами стоим.

〈1924〉

РОМАНС*

«В голубом Эфира поле
Ходит Вesper золотой.
Старый Дождь плывет в гондоле
С Догарессой молодой.

Догаресса молодая»
На супруга не глядит,
Белой грудью не вздыхая,
Ничего не говорит.

Тяжко долгое молчанье,
Но, осмелясь наконец,
Про высокое преданье
Запевает им гребец.

И под Тассову октаву
Старец сызнова живет,
И супругу он по праву
Томно за руку берет.

Но супруга молодая
В море дальнее глядит.
Не ропща и не вздыхая,
Ничего не говорит.

Охлаждаясь поневоле,
Дождь поникнул головой.
Ночь тиха. В небесном поле
Ходит Вesper золотой.

* Окончание Пушкинского наброска. Первые пять стихов написаны Пушкиным в 1822 году. <Прим. В.Ф.Ходасевича>.

С Лидо теплый ветер дует,
И замолкшему певцу
Повелитель указывает
Возвращаться ко дворцу.

Венеция,
20 марта 1924 г.



Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Бесстрашно вверх болтливым струнам
Ее святые мятежи.

Будь нетерпим и ненавистен,
Провозглашая и трубя
Завоеванье новых истин, —
Они ведь новы для тебя.

Потом, когда в своем наитьи
Разочаруешься слегка,
Воспой простое чаепитье,
Пыльцу на крыльях мотылька.

Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни,
И мир, обдуманый спокойно,
Благослови и прокляни.

А под конец узнай, как чудно
Все вдруг по-новому понять,
Как упоительно и трудно
Привыкши к слову — замолчать.

〈1924〉

[ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ (1925-1927)]

[1]

Великая вокруг меня пустыня,
И я великий в той пустыне постник.
Взойдет ли день — я шторы опускаю,
Чтоб солнечные бесы на стенах
Кинематограф свой не учиняли.
Настанет ночь — поддельным слабым светом
Я разгоняю мрак и в круге лампы
Сгибаю спину и скриплю пером, —
А звезды без меня своей дорогой
Пушай идут.

Когда шумит мятеж,
Голодный объедается до рвоты,
А сытого в подвале рвет от страха
Вином и желчью — я засов тяжелый
Кладу на дверь, чтоб ветер революций
Не разметал моих листов заветных.
И если (редко) женщина приходит
Шуршать одеждой и сиять очами —
Что ж? я порой готов полюбоваться
Прельстительным и нежным микрокосмом...

[2]

Кто счастлив верною женой,
К блуднице в дверь не постучится.
Кто прав последней правотой,
За справедливостью пустой
Тому неместно волочиться...

⟨1925-1927⟩

[3]

Как больно мне от вашей малости,
От шаткости, от безмятежности.
Я проклиная вас — от жалости,
Я ненавижу вас — от нежности.
О если б вы сумели вырасти
Из вашей гнилости и вялости,
Из болотной сырости,
Из

⟨1925-1927⟩

[4]

Нет ничего прекрасней и привольней,
Чем навсегда с возлюбленной расстаться,
И выйти из вокзала одному.
По-новому тогда перед тобою
Дворцы венецианские предстанут.
Помедли на ступенях, а потом
Сядь в гондолу. К Риальто подплывая,
Вдохни свободно запах рыбы, масла
Прогорклого и овощей лежалых,
И вспомни без раскаянья, что поезд
Уж Мэстре вероятно миновал.
Потом зайди в лавчонку банка лотто,
Поставь на семь, четырнадцать и сорок,
Пройдись по Мерчери, пообедай
С бутылкою Вальполичелло. В девять
Переоденься и явись на Пьяцце,
И под финал волшебной увертюры
Тангейзера, подумай: «Уж теперь
Она проехала Понтеббу». Как привольно!
На сердце и свежо и горьковато...

⟨1925-1927⟩

[5]

Сквозь дикий голос катастроф
Твой чистый голос, милый зов,
Душа слышала когда-то

.

Нет, не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать,
Но петь и гибнуть нам дано,
И песня с гибелью одно.
Когда ж и лучшие мгновенья
Мы в жертву звукам отдаем,
Что ж? Погибаем мы от пенья?
Или от гибели поем?

.

А нам простого счастья нет.
Тому, что с песней рождено,
Погибнуть с песней суждено...

〈1925-1927〉

НОЧЬ

Измученные ангелы мои!
Спутники в большом и малом!
Сквозь дождь и мрак, по дьявольским кварталам
Я загонял вас. Вот они,

Мои вертепы и трущебы!
О, я не знаю устали, когда
Схожу, никем не знаемый, сюда
В теснины мерзости и злобы.

Когда в душе все чистое мертво,
Здесь, где разит скотством и тленьем,
Живит меня заклятым вдохновеньем
Дыханье века моего.

Я здесь учусь ужасному веселью:
Постылый звук тех песен обретать,
Которых никогда и никакая мать
Не пропоет над колыбелью.

〈1927〉

ГРАММОФОН

Ребенок спал, покуда граммофон
Все надрывался Травиатой.
Под вопль и скрип какой дурманный сон
Вонзался в мозг его разъятый?

Внезапно мать мембрану подняла —
Сон сорвался, дитя проснулось,
Оно кричит. Из темного угла
Вся тишина в него метнулась...

О, наших бедных душ не потрясай
Твоею тишиною грозной!
Мы молимся — Ты сна не прерывай
Для вечной ночи, слишком звездной.

〈1927〉

ДАКТИЛИ

1

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебежал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.

2

Был мой отец шестипалым. Такими родятся счастливы.
Там, где груши стоят подле зеленой межи,
Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,
В бедной, бедной семье встретил он счастье свое.
В детстве я видел в комодѣ фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!

3

Был мой отец шестипалым. Бывало, в сороку-ворону
Станем играть вечером, сев на любимый диван.
Вот, на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим — пять. А шестой это я.
Шестеро было детей. И вправду: он тяжелой работой
Тех пятерых прокормил — только меня не успел.

4

Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний мизинец
Прятать он ловко умел в левой зажатой руке,
Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно,
Память о прошлом своем, скорбь о святом ремесле.
Ставши купцом по нужде — никогда ни намеком, ни словом
Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.

5

Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони
Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил?
Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей,
Демонской волей творца — свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил.
Не созидал, не судил... Трудный и сладкий удел!

6

Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца,
Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту
Ставит на слово, на звук — душу свою и судьбу...
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером
И шестипалой строфой сын поминает отца.

〈1928〉

ПОХОРОНЫ

Сонет

Лоб —
Мел.
Бел
Гроб.

Спел
Поп.
Сноп
Стрел —

День
Свят!
Склеп

Слеп.
Тень —
В ад.

〈1928〉



Нет у меня для вас ни слова,
 Ни звука в сердце нет,
Виденья бедного бывшего,
 Друзья погибших лет!

Быть может, умер я, быть может —
 Заброшен в новый век,
А тот, который с вами прожит,
 Был только волн разбег.

И я, ударившись о камни,
 Окровавлен, но жив, —
И видится издалека мне,
 Как вас несет отлив.

〈1928〉



Полузабытая отрада,
Ночной попойки благодать:
Хлебнешь — и ничего не надо,
Хлебнешь — и хочется опять.

И жизнь перед нетрезвым взглядом
Глубоко так обнажена,
Как эта гибкая спина
У женщины, сидящей рядом.

Я вижу тонкого хребта
Перебегающие звенья,
К ним припадаю на мгновенье —
И пудра мне пылит уста...

Смеется легкое создание,
А мне отратно сочетать
Неутешительное знание
С блаженством ничего не знать.

⟨1928⟩



Когда меня пред Божий суд
На черных дорогах повезут,

Смутятся нищие сердца
При виде моего лица.

Оно их тайно восхитит
И страх завистливый родит.

Отстав от шествия, тайком,
Воображаясь мертвецом,

Тогда пред стеклами витрин
Из вас, быть может, не один

Украдкой так же сложит рот,
И нос тихонько задерет,

И глаз полуприщурит свой,
Чтоб видеть, как закрыт другой.

Но свет (иль сумрак?) тайный *тот*
На чудака не снизойдет.

Не отразит румяный лик,
Чем я ужасен и велик:

Ни почивающих теней
На вещей бледности моей,

Ни беспощадного огня,
Который уж лизнул меня.

Последнюю мою примету
Чужому не отдам лицу...

Не подражайте мертвецу,
Как подражаете поэту.

〈1929〉

НА СМЕРТЬ КОТА МУРРА

В забавах был так мудр и в мудрости забавен —
Друг утешительный и вдохновитель мой!
Теперь он в тех садах за огненной рекой,
Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин.

О, хороши сады за огненной рекой,
Где черни подлой нет, где в благодатной лени
Вкушают вечности заслуженный покой
Поэтов и зверей возлюбленные тени!

Когда ж и я туда? Ускорить не хочу
Мой срок, положенный земному лихолетью,
Но к тем, кто выловлен таинственной сетью,
Все чаще я мечтой поверженной лечу.

〈1931〉



Нет, не шотландской королевой
Ты умирала для меня:
Иного, памятного дня,
Иного, близкого напева
Ты в сердце оживила след.
Он промелькнул, его уж нет.
Но за минутное господство
Над озаренною душой,
За умиление, за сходство —
Будь счастлива! Господь с тобой.

⟨1936⟩

[ПРИНОШЕНИЕ ГОРЛИНЫМ]

Друзья мои! Ведь вы слышали
О бедном магарадже том,
Который благотворным сном
Не мог забыться лет едва ли
Не десять? Все он испытал:
Менял наложниц, принимал
Неисчислимыя лекарства,
Язык заглатывал, скликал
Ученых, игогов, заклинал
Богов — и Фельзена читал*.
Не помогало. И — полцарства
За полчаса простого сна
Он обещал. «Да! Вот цена
Богатства, власти, силы, славы!
Как все ничтожно, Боже правый!»
Так думал я, но глас лукавый
Шептал мне: «Стоит свеч игра!
Дерзай, пришла твоя пора!»
И я чрез водные пустыни
В страну индийских чар и грез
Статьи о Пушкине повез —
Те самые, которых ныне
Такой же точно экземпляр
Вам приношу в смиренный дар.

Меж тем несчастливый властитель
Уж разуверился во всем,
Когда моих творений том
Был принесен в его обитель.

* Именно для чтения этого автора изучал он русский язык.
(Прим. В.Ф.Ходасевича).

На книгу еле он взглянул,
Но все ж лениво разогнул
И стал читать — и вдруг зевнул,
И вдруг, за десять лет впервые,
Он на подушки пуховые
Склонил венчанную главу.
Придворными из залы тронной
В свою постель перенесен,
На пятый день проснулся он,
Румяный, свежий, благосклонный,
Но отказался наотрез
Со мною разделить корону:
Она, мол, высший дар небес.
Что делать? Я к нему не лез,
Как звездочет к царю Додону,
Хорош в венце, хорош и без...
Вдвоем на троне было б тесно...
Не счесть алмазов, как известно, —
Далекой Индии чудес.
Мне дали три мешка — и вскоре
Пустился я в обратный путь.
Качало сильно в Красном море.
Решив от качки отдохнуть,
Остановился я в Марселе
Дня на два в небольшом отеле*.
Был вечер. В номере своем
Я лег волнуемый мечтами
О будущем. Я видел дом
Блистательный — и сад кругом
С неимоверными цветами,
Где вскоре, вскоре буду с вами...
Нет, лучше сократить рассказ
Ужасный для меня, для вас,
Для человечества, быть может!
Раскаянье мне сердце гложет!

* Я не решался еще продавать свои драгоценности и был стеснен в средствах. (Прим. В.Ф.Ходасевича)

Какой-то бес меня толкнул.
В полубеспамятстве мечтанья
Свою я книгу развернул —
Источник счастья и страданья.
Прочтя страницу, я заснул!
Так скорпион своим же ядом
Себя разит в кольце огня.
Очнувшись в ярком свете дня,
Сокровищ не нашел я рядом:
Мешки украли!

〈1937〉



Сквозь уютное солнце апреля —
Неуютный такой холодок.
И — смерчком по дорожке песок,
И — смолкает скворец пустомеля.

Там над северным краем земли
Черносерая вздутая туча.
Котелки поплотней нахлобуча,
Попроворней два франта пошли.

И под шум градобойного гула —
В сердце гордом, веселом и злом:
«Это молнии *нашей* излом,
Это *наша* весна допорхнула!»

〈1937〉



Не ямбом ли четырехстопным,
Заветным ямбом, допотопным?
О чем, как не о нем самом —
О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музики
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал, —
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.

С тех пор, в разнообразьи строгом,
Как оный славный *Водопад*,
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.

И чем сильнее спадают с кручи,
Тем пенистей водоворот,
Тем сокровенней лад певучий
И выше светлый брызгов взлет —

Тех брызгов, где, как сон, повисла
Сияя счастьем высоты,

Играя переливом смысла, —
Живая радуга мечты.

.

Таинственна его природа,
В нем спит спондей, поет пэон,
Ему один закон — свобода,
В его свободе есть закон...

⟨1938⟩

К ЛИЛЕ

Скорее челюстью своей
Поднимет солнце муравей;
Скорей вода с огнем смесится;
Кентавров скорее кровь
В бальзам целебный превратится, —
Чем наша кончится любовь.

Быть может, самый Рим пройдет;
Быть может, Тартар нам вернет
Невозвратимого Марона;
Быть может, там, средь облаков,
Над крепкой высью Пелиона,
И нет, и не было богов.

Все допустимо, и во всем
Злым и властительным умом
Пора, быть может, усомниться,
Чтоб омертвелою душой
В беззвучный хаос погрузиться
И лиру растоптать ногой.

Но ты, о Лила, и тогда,
В те беспросветные года,
Своим единым появлением
Мне мир откроешь прежний, наш,
И сим отвергнутым виденьем
На миг zalюбоваться дашь.

〈1930-е годы〉



В последний раз зову тебя: явись
На пиршество ночного вдохновенья!
В последний раз — восхить меня в ту высь,
Откуда начинается паденье.

В последний раз... нет в жизни ничего
Святее и ужаснее прощанья.
Оно есть агнец сердца моего,
Влекомый на закланье.

В нем прошлое возлюблено опять
С уже нечеловеческою силой:
Так пред расстрелом сын объемлет мать
Над общей их могилой.

〈1930-е годы〉

ПАМЯТНИК

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий,
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

〈1930-е годы〉

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

АДАМ МИЦКЕВИЧ

(1798-1855)

ЧАТЫРДАГ

Трепещет мусульман, стопы твои лобзя.
На крымском корабле ты — мачта, Чатырдаг!
О мира минарет! Гор грозный падишах!
Над скалами земли до туч главу вздымая,

Как сильный Гавриил перед чертогом рая,
Воссел недвижно ты в небесных воротах.
Дремучий лес — твой плащ, а молнии сеют страх,
Твою чалму из туч парчею расшивая.

Нас солнце пепелит; туманом дол мрачим;
Жрет саранча посев; гяур сжигает дома, —
Тебе, о Чатырдаг, волненья незнакомы.

Меж небом и землей толмач, — к стопам своим
Повергнув племена, народы, земли, громы,
Ты внемлешь только то, что Бог глаголет им.

ТРИОЛЕТ

Так! Больше не скажу я ни *увы!* ни *ах!*
Мне вечно горевать, вам слушать надоело.
Веселый триолет пускай звучит в стихах.
Но повториться все ж должны *увы!* и *ах!*
Адам — любовник, друг, поэт: на всех путях
Все то же правило судьба ввести сумела:
Он должен повторять свои *увы!* и *ах!* —
Хотя мне горевать, вам слушать надоело.



Мотать любовь, как нить, что шелкопряд мотает;
Из сердца лить ее, как ключ, что не скудеет;
Ковать, как золото — пусть блещет и сверкает;
Рассеивать ее, как зерна пахарь сеет;
Лелеять благостно, как мать дитя ласкает;
Таить ее — пускай в душе вскипает,
Как под землей родник; взвить ввысь, как ветер веет;
Рассыпать по земле, как пахарь зерна сеет;
Людей лелеять в ней, как мать детей ласкает;
И будет мощь твоя, как мощь мировращения,
Потом как мощь земли — мощь роста и цветенья,
Потом как мощь людей, потом — как херувимов,
И будет, наконец, как мощь Творца творенья.

КНЯЗЮ ГОЛИЦЫНУ

Когда свободу ты любить и чтить умеешь,
В беседе нашей слов не нужно с этих пор:
Пойму твой вздох, а ты — мой плач уразумеешь
И руку мне пожмешь. Вот польский разговор!

ДЗЯДЫ (Отрывок)

Хор юношей — девушке

Красотка, ручек ломать не надо!
Не плачь: ведь жалко и рук, и взгляда.
В глаза другому ты томно взглянешь,
Другую руку сжимать ты станешь.
С голубкой голубь летят из рощи,
За ними третий — орленок тощий...

Ах, кинь, голубка, на небо взоры:
Летит ли следом муж сереброперый?
Не плачь, не сетуй в тоске мятежной:
Любовник новый воркует нежно.
На ножках шпоры, на шейке перья
Горят отливом, как ожерелье.

С тюльпаном роза в расцвете мая
Сплетают руки, благоухая.
Пришел работник, коса промчалась, —
Супруг подкошен, вдова осталась...
Не плачь, не сетуй в тоске мятежной:
К тебе нарцисс наклоняет нежно
Свой глаз блестящий между цветами.
Уж месяц светит между звездами.

Красотка, ручек ломать не надо!
Не плачь: ведь жалко и рук, и взгляда.
По ком ты плачешь — уж он не взглянет,
Руки рукою сжимать не станет.
Он крестик черный в руке сжимает,
Он мертвым взором в раю витает,
По нем обедню прослушай снова —
И к нам, живущим, промолви слово.

[ПЕСНЯ КАРИЛЛЫ]

Смолкли в воздухе ночном
Звонких птичек хороводы:
Дремлют на груди природы
Под смарагдовым плащом.

Все безмолвно; тишь и тень;
Лишь шумят лесные сени.
Упадает на колени
Заблудившийся олень.

Ужас надо всей землей
Власть немую простирает.
В черную фату скрывает
Месяц лик серебристый свой.

Ах, родитель! Призрак твой
Еле зрим во мраке сером.
О, приближься! За тобой
По распутьям, по пещерам,
В страшные гробы, в могилы,
Я пошла бы, призрак милый.

За тобой во тьме ночной
Побрела б я тенью белой.
О, возьми меня с собой,
Близ тебя я стану смелой.

Исчезаешь ты, отец!
Где ж ты, Сария любезный?
Не за дверью ли железной?
Или дней твоих конец
Уж настал?..

БУРЯ

Прочь — парус, в щепы — руль, рев вод и вихря визг;
Людей тревожный крик, зловещий свист насосов,
Канаты вырваны из слабых рук матросов,
С надеждой вместе пал кровавый солнца диск.

Победно вихрь завыл; а там на гребне пены,
На горы тяжкие нагроможденных вод,
Вступает смерти дух — и к кораблю идет,
Как воин яростный — в проломленные стены.

Ломают руки тот, тот потерял сознание,
Тот в ужасе, крестясь, друзей своих обнял,
А тот молитвой мнит от смерти оградиться.

Был путник между них: сидел один в молчаньи
И думал он: счастлив, кто здесь без чувств упал,
Кто детски молится, кому есть с кем проститься.

СИГИЗМУНД КРАСИНСКИЙ
(1812-1859)



Ужель в последний раз я был тогда с тобою?
Увы, предчувствием я снова угнетен:
Ведь все, что я любил, к чему летел душою,
Прошло, как облако, растаяло, как сон.
Любовь в судьбе моей с разлукой неразлучна:
Когда кого я ненавидел — всякий раз
Судьба насмешница, с упорностью докучной,
На годы долгие соединяла нас.
И вечно лишь по тем душа в слезах томилась,
Кого я сердцем чтил, по ком страдал, любя, —
И вот теперь, скажи, не то же ли случилось:
Ты отошла навек, я потерял тебя.
О, где же ты теперь? Грустишь ли на закате
О днях, что минули, о счастье, что прошло?
Рыдаешь ли одна о тягостной утрате,
И горе матери мрачит твоё чело?
Иль вышла побродить с улыбкой безнадёжной
На брег зеркальных вод, где легкая волна
Подошвы ног твоих ласкает пеной снежной?
В те дни я был с тобой, покорный, как она!
И ныне, как она, разбитый, одинокий,
Скитаюсь по земле, бегу людских очей
И мыслю: может быть, как той волне далекой,
Уже мне места нет и в памяти твоей?
Она счастливее: она бежит и тает,
Не ведая любви, не ведая скорбей,
Воспоминание её не посещает,
Разлука вечная не угрожает ей.

Покойно спит она: постель ее — кораллы,
От вихрей яростных ее хранят они,
А я еще живу, мятежный и усталый, —
Мной бури властвуют, я в буре кончу дни.

КАЗИМИР ТЕТМАЙЕР

(1865-1940)

[ХОР МАЛЬЧИКОВ У ПОКОЯ НОВОБРАЧНЫХ]

Для сладких стрел Амура злого
На ложе нежное взойди,
Чтобы супруга молодого
Прижать к трепещущей груди.

Мы целый день с улыбкой ясной
Срывали пышные цветы,
Чтобы на ложе неги страстной
Дорогой роз вступила ты.

Пусть Венус, властная царица,
Тебе свой пояс подарит,
Чтобы казалась ты, девица,
Подругой сладостных Харит.

Когда настанет миг счастливый,
Откинь девичий нежный страх,
Своих красот не крой стыдливо
И не кричи: спасите!.. ах!..

Нет, мы спасти тебя не станем,
Счастливой не спугнем четы,
Когда же завтра утром встанем —
Глаза, смеясь, опустишь ты.

Не жаль нам твоего испуга,
Твоей тревоги показной,

Сама хотела ты супруга, —
Так вот, бери его, он твой!

Vivant! creant! floreat!*

[ПРИДВОРНАЯ ПЕСЕНКА]

Спишь ты, Юстина? Я жду у дверей.
— Бог с вами, рыцарь, уйдите скорей! —

Полно, Юстина, я тихо пройду,
Как петушок по дорожке в саду!

— Видела я: петушок наскочил,
Курочку бедную крыльями бил...

— Курочке мил петушок удалой!
Хочешь проверить? — скорее открой!

[ПЕСНИ РАЗБОЙНИКОВ ТАТР]

[1]

Эх, как с гор мы спустимся в долины,
Врага одолеем, сами будем целы.
Идите-ка, хлопцы, в долины, в долины,
К королю Стефану, в московские степи!
Налетает ветер с венгерской границы.
Наш Стефан Баторий — что горный орел.
Эй, Стефан Баторий! Веди нас, веди!
За тебя, Баторий, головы сложим...

* Живущий! творящий! цветущий! (лат.)

[2]

Баца* наш, баца, ве́ди нас все выше,
Под снежные скалы, на вольную волю!
Баца наш, баца, иди с нами в горы,
Где шалаши, и леса, и луга!
Баца наш, баца, сколько овечек,
Сколько пастушек в стадах у тебя?

[3]

Хаживал я к Зоське —
Заболели ножки.
Стал ходить к Ядвисе —
Ножки унялися!

[4]

Скоро ты, Яносик, белыми руками
Сундуки купцовские станешь отпирать!
Золото купцовское, королевские деньги
Белыми руками станешь ты считать!..

Эх, Яносик польский, ничего не бойся:
Ни тюрьмы оравской, ни петли тугой,
Ни мадьярских ружей, ни панов богатых, —
Эх, Яносик польский, — ветер удалой!..

[5]

Поймали вдовца на Горе Королевской.
Где поймали? В чужой каморке.
И чего ты, вдовец, не остерегся, —
Позабыл на столе свой пояс?

* Главный пастух. (Прим. В.Ф.Ходасевича)

Выдала его одна старуха:
Увидала на столе его пояс.
В каморке поймали, на дворе связали,
Темной ночью погнали в город.
Под конвоем вели его солдаты,
Прямо в город, по вспаханному полю.
Кричит ему мать: «Воротись, сыночек!»
— Не вернусь я к тебе, горемычной.
Ждет меня под виселицей мастер.
Мастер, мастер, не тяни меня кверху, —
Дай с отцом, с матерью проститься.
Ухожу я не на год, не на два, —
Ухожу навсегда, прощайте! —
«Как же ты, сыночек любимый,
К отцу, к матери не хочешь вернуться?»
— Я вернусь к вам, мои дорогие,
Когда тюльпан зацветет на окошке.
А уж кто когда видел, кто слышал,
Чтоб тюльпаны цвели у нас на окошке?..

[6. Два фрагмента]

Велика поляна
У нашего пана.
Поляну скосили,
А пана убили!

*

Мать меня учила
Песни распевать,
А с отцом я хаживал
Красть да убивать!

[7]

На черных волах пашет Ганка.
 И пол-поля вспахать не успела,
 А уж мать зовет: «Возвращайся!
 Я хочу тебя выдать замуж.
 Я хочу тебя выдать за Яна,
 За грозного разбойника Яна!..»
 День-деньской пропадает разбойник,
 А домой приходит только к ночи.
 И не много приносит он добычи:
 Кривую саблю, покрытую кровью,
 Да сырую от пота рубаху.
 «Где ты был?» — спрашивает Ганка, —
 «Где свою окровавил ты саблю?»
 «Я срубил под окошком березку.
 День и ночь шумела березка,
 День и ночь уснуть не давала».
 Велел Ганке выстирать рубаху,
 Не велел полоскать ее долго.
 Ганка долго ее полоскала
 И нашла в ней правую ручку.
 Все пять пальцев были на ручке,
 На мизинце — золотое колечко.
 «Да ведь это братнина ручка!»
 Никому ничего не сказала,
 Побежала к матери скорее:
 «Мама, мама, все ли братья дома?»
 — Нет, не все. — «А кого не хватает?»
 — Не хватает младшего, Яна. —
 В Липтове колокола зазвонили:
 Идут на Яносика облавой.
 В Липтове колокола отзвонили:
 Злого разбойника схватили.
 Захватили и ведут его в город.
 Три девушки идут рядом:
 Одна — Ганка, другая — Марта,
 Третья — красавица Терця.
 Ганка плачет, Марта тяжело стонет,

А Терця обняла его за шею.
«Не плачь моя Терця, не стоит.
Подарю тебе все, что хочешь».
— Ничего не хочу, ничего не вижу,
Вижу только вон тот пригорок,
А на нем — виселица проклятая. —
«Кабы знал я об этом прежде,
Что на ней я буду болтаться,
Велел бы ее покрасить,
Серебром и золотом разукрасить:
Снизу бы талеры вделать,
А вверху золотые дукаты,
А еще — петлю золотую
Для моей головушки буйной!..»

[8]

Встань, подружка, из своей могилы
И подай мне белую ручку.
Мы три года с тобой не видались,
Я хочу на тебя поглядеть...

.
А коль милой я не увижу, —
Пойду на высокую гору,
На высокую гору, большую,
Посмотрю вниз — да и брошусь.
Шестеро меня нести будут,
Восковые свечи гореть будут,
А глаза твои плакать будут.

[9]

Выходи, красавица,
Привяжи коня,
Да в свою светелку
Пусти меня.

Не гляди ты, девушка,
Что я сед:
И под старым деревом
Корень тверд.

[10]

Не говоря ни слова,
Целуемся мы снова.
До самого рассвета
Идет забава эта.

[11]

Добрый молодец, разбойничек,
Берегись, — листочки сыплются!
Если с бука лист осыплется —
Пропадет твоя головушка!
А с чинары лист осыплется —
Убегай-беги, разбойничек!

[12]

Идет-бредет Саблик по узкой дорожке,
Идет за медведем в лес под Кшесаницу.
В те поры медведица медвежат учила:
«Берегитесь Саблика, он стрелы быстрее».
Загудела долина, задрожали горы,
Как Саблик-разбойничек схватился с медведем.
Спрашивало солнце, на долину глядя:
«Не гора ль с горою бороться стали?»
Спрашивали тучи да прочь бежали:
Чудилось им, что миру конец приходит.
Иисус Христос Господу взмолился:
«Сабличек охотится, храни его, Боже!».

[13. Песни Марины]

Ты сама видала, иль тебе сказали,
Что мои овечки по горе гуляли?
Я была в долине, я сама глядела,
Как твоя овечка на скале белела!..

*

На горе высокой — замок.
Выше замка встали скалы.
Ты зачем взял мой веночек?
Ты сама его дала мне.
Ты зачем, веночек белый,
С головы моей свалился?
Ты прости-прощай, веночек,
Уплывай по речке быстрой, —
Больше нам с тобою, милый,
Не видаться, не встречаться...

*

Загудели горы,
Зашумели воды...
Смерть — жених мой милый,
Я — его невеста...

[14. Фрагменты]

Ты, старуха, не задумай помирать!
Кто же будет мне портки тогда стирать?..

*

Я работник удалой,
Ты работник удалой.
Косы с граблями в руках,
Бабе выкосим овраг!..

*

На стенах тюрьмы Оравской
Вбиты крепких три крюка —
Эти стены, парень славный,
Обходи издалека!

*

Едет бричка, громыхает, —
Девка парня поджидает...
Зацелует, замилует,
Он у ней переночует!

*

Яничек, Яничек,
Был бы ты разбойничек,
Кабы знал, сердешный,
К Липтову дорожку!..

*

Эх, пойду я по лесу —
Загудит земля!
Размахнусь топориком —
Хлынет кровь рекой!

[15]

Было у Сечки,
Было у Сечки
Трое детей.
Каждому надо,
Каждому надо
Доли своей.
Первый бежит,
Первый бежит

К темной горе.
А другой бежит,
А другой бежит
К быстрой реке.
Третий бежит,
Третий бежит
К чужой стороне.
Ищет бедняга,
Ищет бедняга,
Чем бы прожить.
Я, Горемычный,
Я, Горемычный,
Годами стар.
Нечем мне их,
Нечем мне их
Всех прокормить.
Крылья мои,
Крылья мои
Надломились,
Ручки мои,
Ручки мои
Опустились.

[16]

Ты свети мне, месяц,
Высоко, не низко.
На разбой иду я
Далеко, не близко!..
Боже! В Польше нашей
Пошли нам здоровья,
В стороне венгерской —
Пошли нам удачи!..

[17]

Вышел я, разбойничек,
В сторону чужую.
Виселиц наставили —
Выбирай любую!

[18]

Возле речки я гуляла,
Все кораллы потеряла,
Кто сумеет отыскать —
Приходи со мною спать! —
То-то рады будем мы
Целоваться до зари!

[19]

У зеленой ракиты
Лежит Ян убитый.
Кто убил его? За что?
Мы не знаем.
Яна бедного мы, девушки,
Похороним.

Где же мы его положим?
Где же похороним?
Во лесочке, во лесочке
Во зеленом.
Там споем ему соловушка
Над могилой.

Плакала над Яником
Верная Марика:
Ах, попомните вы, люди,
Что умру я,

Что умру я скоро
От тоски великой!

А когда пришли в лесочек,
Она побелела.
Ах, и рожь еще не сжали
В чистом поле,
А уже Марике бедной
Могилу копали...

А над общею могилой
Посадили розы.
А на кустах сплетаются
Ветки с ветками,
Точно друг с подружкой милой
Обнимаются.

ЭДУАРД СЛОНСКИЙ
(1872-1926)

ТА, ЧТО НЕ ПОГИБЛА

I

О, брат мой милый! Дети
Одной родной страны,
Мы в двух враждебных станах
Стоять осуждены.

Под ревом чуждых пушек
Стоим в кровавых рвах,
Стоим друг против друга —
Ты — враг мой, я — твой враг.

Лес плачет, нива плачет,
В огне церквей кресты...
И в двух враждебных станах
Стоим мы — я и ты.

II

Чуть загрохочут пушки,
При первом блеске дня,
Ты свистом пуль смертельных
Приветствуешь меня.

На низкие окопы
Шрапнельный мечешь град,
Зовешь меня и кличешь:
— Я здесь, твой брат, твой брат!

Лес плачет, нива плачет,
Вдали звучит набат,
А ты меня все кличешь:
— Я здесь, твой брат, твой брат!..

III

Забудь меня, о, брат мой,
Идя на смертный бой.
В огне моих снарядов,
Как рыцарь, храбро стой.

Когда ж меня увидишь,
Прицелься и стреляй —
И в грудь поляка пулю
Немецкую вонзай!

Ведь Та, что не погибла,
(Стреляй же, брат, верней!)
Взойдет из нашей крови
Над пашней этих дней.

НА ПЕПЕЛИЩАХ

I

Поля, что ныне вражьей
Затоптаны пятой,
Ромашкой, васильками
Засеет Бог весной.

Взойдут густые травы
Над трупами солдат,
И снова косы наши
По лугу заблестят.

Ложась под взмахом лезвий
В широкие венки,
Поклонятся солдатам
Ромашки, васильки.

Поклонятся им низко,
Могилы окружив, —
От этих взрытых пастбищ,
От этих смятых нив.

II

Дома, что враг разграбил
И, отступая, сжег,
Отстроить понемногу
Благой поможет Бог.

Пожарища омоет
Ненастливая мгла,
Забегает рубанок
И запоеет пила.

Былые наши скорби,
Веселье, слезы, смех, —
Все принесем с собою
Под выступ новых стрех.

Храня родной обычай,
Для гостя у ворот
Поставим стол под липой,
На стол — сыченый мед.

И путнику чужому
Поведаем, крестясь,
Что Польша не погибла,
Но — Польши нет у нас!

ИЗ АРМЯНСКИХ ПОЭТОВ

МКРТИЧ ПЭШИКТАШЛЯН (1820-1868)

СТАРИК ИЗ ВАНА

В ночи, как в сердце, мрак царит.
Блеск пенных переливных волн
По морю Ванскому бежит,
И ропот вод стенаний полн.
 Ни звезд, ни упований нет.
 И как далек еще рассвет!

О, лилия лугов, Мегек,
Дочь нежная моя, приди
И дряхлого отца навек
В Айоц-Дзор, на восток веди.
 Ни звезд, ни упований нет,
 И как далек еще рассвет!

Храбрец Артак в тебя влюблен,
Но грустно в эту ночь он пел:
Хваля любовь, неволью он
О бедствиях армян скорбел.
 Ни звезд, ни упований нет,
 И как далек еще рассвет!

«Доколе будем мы, любя,
Отчаянье таить в сердцах?»
На лире так он пел, скорбя,
Мы слушали его в слезах.
 Ни звезд, ни упований нет,
 И как далек еще рассвет!

Там кипарисы у могил,
Под ними наших предков прах.

Там, только зимний ветер взвыл, —
Рыдают сонмы душ в ветвях.

 Ни звезд, ни упований нет,
 И как далек еще рассвет!

Я стар, как скорбь. Пора и мне
К великим сыновьям армян,
Туда, к могильной тишине...

Пусть плачет надо мною Ван.

 Мегек, и ты в слезах? О нет,
 Пойдем: уж недалек рассвет!

СМБАТ ШАХ-АЗИЗ

(1840-1907)



Кругом — весна. Бреду. Навстречу мне
Зеленые холмы уходят в даль, —
И в тихом, сладком, бестревожном сне
Смиряется на дне души печаль.

Деревьев ряд чуть слышно шелестит
Зелеными кудрями. Ручеек
Бежит проворно. Милый сердцу вид!
Там роза раскрывает лепесток,

Алеет роза, огненной зари
Божественная дочь... Ее скромней —
Кого люблю, — но нет, не говори,
Что девы прелесть меркнет перед ней.

СОНЕТ

Как жаль, дитя, что Ева, а не ты
Предстала миру в день, когда Творец
Предначертал прообраз красоты,
Своих созданий женственный венец.

Ты на земле явилась бы в тот день,
Как неземной влюбленности обет.
Ты вся — лазурь. Что Ева? — Облак, тень...
Средь смертных дев тебе подобной нет.

Черна, как смоль, волна твоих кудрей,
Твой тонкий стан их прядями обвит;
Волшебный взор сияющих очей

То нежно мне любовью заблестит,
То, помрачась, грозовых туч темней,
Струит огонь и сердце пепелит.

ОВАННЭС ТУМАНИАН

(1869-1923)



Пускай в неведомое, вдаль, свой взор вперяю я,
Пусть в беспредельности давно витает мысль моя, —
Но каждый раз, когда к тебе вернусь, влеком тоской,
Мне сердце ранит и томит стон безутешный твой,
Твоих запуганных детей бездомная орда,
Селенья скорбные твои, пустые города,

О мой родимый край,
Судьбой гонимый край!

Толпятся полчища врагов пред мыслию моей,
Идут топтать твоё лицо, цветы твоих полей;
Взвывая хищники бегут к тебе со всех сторон,
Неся с собой кровавый пир, пожар, погром, полон.
Ты обращен в долину слез, и каждый твой напев —
Как горький плач, и грустен взор твоих печальных дев, —

О ты, рыданий край,
О ты, страданий край!

Но ты стоишь еще живой, в крови от ран своих
На темном рубеже времен — грядущих и былых.
Глубоким голосом скорбей ты с Богом говоришь
И в сердце горестном глагол до времени таишь, —
Глагол, что суждено тебе поведать пред землей,
Как суждено тебе для нас заветной стать страной, —

О зорь встающих край,
Надежд грядущих край!

В одеждах пламенных придет заря грядущих дней,
И будут сонмы светлых душ — как блеск ее лучей.
И жизни радостной лучи улыбкой озарят
Верхы до неба вставших гор, священный Арарат;

И вот поэт, что уст своих проклятьем не сквернил,
В воскресшей песне воспоем расцвет воскресших сил, —
Наш воскрешенный край,
Несокрушимый край!

КАПЛЯ МЕДА

Сказка

Один купец в селе своем
Торговлю всяким вел добром.
Однажды из соседних сел
К нему с собакою пришел
Пастух саженный молодец.
«Здорово», говорит, «купец!
Есть мед — продай,
А нет — прощай».
«Есть, есть, голубчик пастушок!
Горшок с тобой? Давай горшок!
Мед — вот он: что укажешь сам,
Отвешу мигом и продам».

Все по-хорошему идет,
За словом слово — тот же мед.
Отвешен мед — но как алмаз
На землю капля пролилась.
Жзз...: муха. Сладкий чуя мед,
Жужжит, звенит и к капле льнет.
Хозяйский кот, бочком, бочком,
За мухой крадется. Потом
В один прыжок
На муху — скок!

И в тот же миг пастуший пес
Ощерился, наморщил нос,
Рванулся, взвыл
Что было сил,

Кота подмял,
За горло взял,
Сдавил, куснул —
И отшвырнул.

«Загрыз! Загрыз! Ах, котик мой!
Ах, чтоб те сдохнуть, пес чумной!»
Разгневался купец — и вот,
Чем попадая, собаку бьет.
Визжит собака — и рядом
С несчастным падает котом.

«Пропал мой лев, пропал, конец!
Кормилец, друг мой!.. Ну, купец,
Мерзавец, вор, такой-сякой!..
Да провались домишко твой!..
Ты смел собаку бить мою —
Отведай же, как сам я бью!»
Взревел пастух наш, над купцом
Дубину тяжкую с кремнем
Занес — и в миг хозяин злой
Упал с пробитой головой.

— Убили!.. Кто там?.. Караул!..
По всем кварталам шум и гул,
Народ стекается, кричит:
— На помощь! Караул! Убит!

С нагорных улиц, из низов,
С дороги, с пастбищ, от станков,
Крича, кляня,
Вопя, стена,
Отец и мать,
Сестра и зять,
Жена и брат,
И кум, и сват,
И все дядя,
И все друзья,
И с тещей тесть,

И как еще их там — Бог весть —
Бегут, бегут, бегут и бьют:
И чем попало бьют и бьют:
«Ах, окаянный! Ах, пострел!
Да как ты мог? Да как ты смел?
Да с чем ты шел: товар купить,
Иль даром душу загубить?»

И рядом с псом своим в углу
Пастух простерся на полу.
«Ну, постояли за купца.
Бери, кто хочет, мертвеца!»
И вскоре в ближнее село
Известье скорбное пришло
— Эй, кто там есть?
Возможно ль снести?
Ведь это наш пастух убит!..

Порой шалун разворошит
Гнездо осиное и прочь
Уйдет. Не то же ли точь в точь
Наделала и муха та?
Смятенье, шум и суета...
Что подвернулось второпях,
Хватают. Кто с ружьем в руках,
Кто с вилами, а кто с ножом,
С лопатой, с палкой, с топором,
Кто с заступом, кто вертел взял,
Тот шапку в спешке потерял,
Тот вскинул на лошадь седло —
И все на вражее село.

«Что за бессовестный народ!
Ни страх, ни стыд их не берет.
К ним за товаром забредешь —
Накинутся — и в спину нож.
Тьфу, пропасть! Провалиться б вам,
Убийцам лютым, дикарям!
Пойдем, побьем,

Сожжем, сотрем!
Эй, ну-ка, не плошай, вперед!»

И вышел на народ народ.
И каждый бил, и бил, и бил,
Рубил, и резал, и громил,
И всяк чем больше порубил,
Тем больше в ярость приходил.
Соседа бил сосед,
Соседа жег сосед,
И кто где жил —
Простыл и след.

И вот беда: меж этих сел
Рубеж, деливший земли, шел,
И подать каждое село
Владыке своему несло.
Заслышавши про тот разбой,
Немедля царь страны одной
Указ громовый издает:

«Да знает верный наш народ,
Отчизны общей каждый сын,
Рабочий, воин, дворянин,
И наш Совет,
И целый свет,
Что дерзкий, вероломный враг,
Забывши честь и божий страх,
Нас подлой лестью усыпил,
В цветущий наш предел вступил —
И граждан мирную семью
Предал железу и огню.
Кровь жертв из бедного села
К стопам престола притекла,
И сколь ни горько это нам —
Мы отдали приказ войскам
В пределы вражие вступить
И за невинных отомстить.

А чтобы дерзких побороть,
Нам в помощь — пушки и Господь».

Но царь враждебный в свой черед
Войскам такой приказ дает:
«Пред Господом и всей землей
Мы возвешаем: хитрый, злой
Сосед попрал небес закон
И между братских двух племен
Посеял злобу и раздор.
Он дружбы древний договор
Нарушил первый. Ныне, встав
За нашу честь, за добрый нрав,
За кровь погубленных людей,
За вольность родины своей,
Мы, властью нам присущих прав,
На помощь Господа призвав,
Подъемлем меч победный свой
И гнев — над вражеской главой».

И злая началась война.
В огне пылает вся страна,
Шум, грохот, кровь, и крик, и стон,
И плач, и скорбь со всех сторон.
И в дуновении ветров
Струится запах мертвецов.

И так идет
За годом год:
Станки молчат,
Посев не сжат,
Все ширится войны костер,
За голодом приходит мор.
Людей нещадно косит он,
И вот весь край опустошен.
И в ужасе среди могил
Живой живого спросил:
— С чего ж, откуда ж и когда
Такая грянула беда?

ВААН ТЕРИАН

(1885-1920)

НА РОДИНЕ

Неспешно влекусь на усталом коне.
Как скучен блужданий запутанный путь!
О, если бы мог я забыть, оттолкнуть
Былые мечты, изменившие мне!

Отчаяньем, горечью, скорбью, стыдом
Наполнено сердце мое навсегда.
Кругом распростерлись тьма, смерть и беда:
Разрушен, разрушен ты, отчий мой дом!

И сколько бы ночь ни спускалась темней,
Куда бы ни шел я главу преклонить, —
На землю родную, увы, не ступить
По черной дороге безрадостных дней.

Минувшее — рана, язвящая грудь.
Все думы — как боль, что впиалась навсегда.
Кругом — разоренье, тьма, смерть и беда,
И мраком окутан запутанный путь.

И все беспощаднее в сердце моем
Тоски и отчаянья жгучий кинжал, —
И нет уж тебя, ты преданием стал,
В мечту обратился ты, отчий мой дом.

Ах, в этом краю, запредельном, глухом,
Упасть, умереть и пропасть без следа,
И быть позабытым, как ты, навсегда, —
Мечта безнадежная, отчий мой дом!

ИЗ ЛАТЫШСКИХ ПОЭТОВ

ПЛУДОН

(1874-1940)

ДВА МИРА

(Купальный сезон)

Когда, горя девическим стыдом,
К песчаным дюнам солнце ниспадает, —
Средь стройных дач, на берегу морском,
Ручьем веселым жизнь, бурля, вскипает.

Дневную дрему сбросив, парк ожил:
По листьям лип фонарный отсвет льется,
И музыка в размахе легких крыл
Воздушною гармонией несется.

Там — женщин пестрый сад.
Дразнящий аромат
Струят шелка, прически, ленты, банты...
Толпа мужчин жужжит,
Шампанское шипит,
Красуются в жилетах белых франты.

Когда вокруг солнца тысячи лучей
В алмазных туфлях пляшут, точно дети,
Толпа суровых, сгорбленных людей
Бредет из хижин — в море ставить сети.

Безмолвные под бременем труда,
В глаза смертей не раз они взирали,
Когда гнала их лютая нужда
В коварные, бушующие дали.

Как призраки, толпой
Плывут во тьме ночной
Беззвучных, черных лодок вереницы;
И ужасов полна
Под ними глубина,
И прочь летят с тревожным криком птицы.

Когда расстелет полночь над землей
Полотнища таинственного флера, —
Волнуя всех, вакханкою нагой,
Флиртующим является Венера.

Огонь погас... Листки роняет куст
Невинных роз... Теплеет воздух синий...
Горячее дыхание слитых уст
Возносится над алтарем богини.

Пленительной рукой
Венера нектар свой
Ко всем губам подносит в чаше ясной,
И каждый к чаше льнет,
И грудь восторгов ждет,
И кровь вскипает бурей сладострастной...

Когда с болот несется птичий крик,
И змеи молний вьются в грозных тучах, —
Свой скипетр бурь подняв, Морской Старик
Стремит валы, как стаю львов ревучих.

Они до туч вздымают пену грив,
Рычат и скачут в черных безднах моря,
И воют, пасти алчные раскрыв.
Рыбачьей лодке в львиных лапах — горе!

Вдали циклоп-маяк
Глядит в ненастный мрак,
На камни лодку гонят волны злые...
Прочь снасти!.. Бок пробит...
Свистя, вода бежит...
Спасите нас, угодники святые!..

Когда, над пеной ясным встав лицом,
Как факел, солнце в окнах вилл пылает, —
Красавица в алькове голубом
Свой первый сон изнеженно вкушает.

С улыбкою на розовых устах,
Она на мягком ложе разметалась.
Амур глядит с насмешкой нежной: «Ах,
С невинной розой что сегодня сталось?»

Как чайку — зыбь волны,
Ей грудь вздымают сны,
А сердце счастья миг недавний ловит, —
И каждый пульса стук,
Как еле внятный звук,
Расцвет любви и жизни славословит.

Когда восходит солнце, взор сквозь мглу
Оно тайком на хижину кидает:
Там, на холодном каменном полу,
Ломая руки, женщина рыдает,

Глядя, как на соломе, в стороне,
Лежит семьи последняя опора, —
Тот, в глотку смерти брошенный волне,
Чья отстрадала молодость так скоро.

И сердце от скорбей
Изнемогает в ней
И, мнится, меркнет вместе с лампой сонной,
А гулкий шум дерев
И волн суровый рев
Звучат над жизнью песней похоронной.

КАРЛ СКАЛЬБЕ

(1879-1945)

ВЕЧЕРОМ

По небу, в закате багряном,
Сверкающий всадник летит.
Иду с шалуном-мальчуганом, —
Отец его часто бранит.

Далекое облако блещет.
Бессильно, как птичка в силке,
Рука мальчугана трепещет
В моей огрубелой руке.

Он шепчет сквозь слезы: «Где всадник?»
Зачем ускакал он от нас?
Что стоило в наш палисадник
Заехать под вечер хоть раз?»

«Ах, мальчик мой, садик твой — чахлый,
А в доме — и сумрак, и сон.
Отец твой — ворчливый и дряхлый:
Чем встретил бы рыцаря он?

Нет, рыцарь к сияющим странам
От наших несется болот,
Тоскою по солнцу румяном
Волнуя угрюмый народ!»

АСПАЗИЯ

(1868-1943)

НЕБЫТИЕ

Ах, гнет земли стряхнуть бы с плеч!
Все позабыть, все сбросить, сжечь, —
Груз жизни, груз воспоминаний!

Веселой, легкой, нежной быть
И белою снежинкой плыть
В волнах серебряных, — в Нирване!

АПСЕСДЭЛЬС
(1880-1932)

ОТВЕРЖЕННЫЕ

Жизнью выброшены мы...
Что нам дня и ночи смены?
Только время... только время...
Да незыблемые стены,
Стены тесные тюрьмы.

Мы не ведаем, что там,
За обставшими стенами...
Только темными вестями
Ужас что-то шепчет нам.

ШАЛКОН

(1882-1957)

ЧЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

Сверкает поле снеговое,
Бодра струя воздушных волн,
Снежинки на ветвях — в покое,
Веселым гамом воздух полн.

Смеется молодежь, как дети,
Резвится парами, шумит...
Кто приколол мне розы эти?
Их запах сердце тяготит.

О, розы тьмы! Рукой незримой
На грудь приколоты оне, —
Нашептывать неумолимо
О горестях и страхах мне.

Прочь, темный лепет розы черной!
Где розы алые, как кровь?
Где весла, где челнок проворный?
В объятья бурь пора мне вновь.

ИЗ ФИНСКИХ ПОЭТОВ

ЭЙНО ЛЕЙНО

(1878-1926)

ПЕСНЯ ТОРПАРЯ

Прочь из села перебрался в пустыню я,
В бор, где колышется озеро синее.
Домик решил я построить без плотников,
Сам по себе, без друзей и работников.

Я на поклон не отправился к пастору,
Не захотел подольщаться я к кистеру.
Односельчан я помочь не упрашивал
И богатея-купца не обхаживал.

Целое лето топор погромыхивал:
Сам я и мох между бревен запихивал,
Сам и отесывал доски сосновые;
К осени — вот она, хижина новая!

Спрятался домик мой в чаще за ельником,
Так и живу — бобылем и отшельником.
Свадьба ль в селе, или праздник — все дома я,
Но и ко мне не приходят знакомые.

Вечером летним, от всех удалившийся,
Долго смотрю я на колос налившийся,
Долго стою над водой вечереющей,
Вьется над нею дымок голубеющий.

С грустью смотрю на дорогу я длинную,
Вечно без путника, вечно пустынную...

Что ж не идет он на счастье позариться,
В жарко натопленной бане попариться?

Долго стою я, гляжу озабоченно.
Гостя не видно, пустынна обочина...
Нет, не простят: вся деревня обижена
Тем, как счастливая строилась хижина.

СИНИЙ КРЕСТ

Были странные виденья
Деве юной Катерине, —
Что пасла стада у речки.
В небеса она глядела,
Слушала деревьев говор,
И однажды превратились
Перед нею тучи в башни;
В зареве зари вечерней,
Над густыми облаками,
Златоглавые воздвиглись
И сияющие храмы.
Рассказала Катерина
Про свое виденье людям:
Сном сочли они виденье,
Помолиться ей велели
И пойти к причастью в церковь.
Но запомнилось виденье
Катерине... А однажды
На холме шептались ели:
«Не клубится дым священный
В вековых карельских дебрях,
Не звонят в церквах к обедне,
Не святят во храмах воду.
Дымные горят пожары,
Кровь алеющая брызжет,
Да звенит топор военный

Возле рек, журчащих тихо,
В некрещенных темных странах».
И запомнила те речи
Катерина. Помолилась,
Причастилась, пред иконой
День и ночь клала поклоны, —
Не стихает в сердце пламя.
И пошла она однажды,
Силой чуждою влекома,
Странствовать по дальним землям.
По лесным брела дорогам:
Сосны выше, дом все дальше,
И казалось Катерине,
Что столбы святых часовен
Возникают в отдалении,
Что звучат молений хоры,
Что напевом златогласным
Колокол звучит над лесом.
Так, ведомая виденьем,
Шла она навстречу звукам,
Шла куда манило сердце, —
И пришла на берег моря,
К голубым широким водам.
На море виднелся остров,
Сто церквей на нем стояло,
Золотом горели крыши.
Челн у берега качался,
Дул попутный легкий ветер.
Скоро с острова монахи,
На песчаном стоя мысе,
Увидали Катерину
И спросили: «Кто ты, дева,
И зачем на остров едешь?»
И донес ответ им ветер:
«Я — зачавшая от Бога,
На Господень еду остров».
Тотчас с берега монахи
Убежали: поскорее
Крепко заперли ворота

И цепных собак спустили.
И затих над морем остров,
Стал похож на город мертвых.
Дева на берег ступила —
Все колокола запели;
Вот стучит она в ворота —
С грохотом упали цепи;
Вот на двор она приходит —
Злые псы ей лижут руки;
В Божий дом она вступила —
Преклоняются иконы.
Удивляются монахи:
«Кто же дева эта, если
Злые псы пред ней смирились
И запели колокольни?»
Говорит ей сам игумен:
«Как нашла ты к нам дорогу?»
— Солнце метило деревья,
Белый месяц ставил вехи:
Вот как я нашла дорогу. —
Стал расспрашивать игумен:
«А вкушала ли ты мяса?»
— О страстях Христовых мысля,
Я дерев внимала говор,
Тем мои крепились силы. —
И еще спросил игумен:
«Отдыхала ли ты, дева,
У кого-нибудь под кровом?»
— Слезы я лила о душах
Некрещеных да смотрела
В небо: это был мой отдых. —
И воздел игумен руку:
«О, зачавшая от Бога!
Прочь ступай, оставь наш остров.
Да родится цвет прекрасный,
Да падет благое семя».
Отвезли ее на берег,
Провожатого ей дали
Из мирян; в густые дебри

Побрела с ним Катерина.
Лес все гуще, реки шибче;
Водопады льются с громом;
Все мрачней и выше горы,
Все прохладнее овраги,
А в лесу рычат медведи.
Вот пришли они к озерам.
Воспылал к ней страстью спутник,
Обнимать он стал девицу,
Соблазняя лъстивой речью.
И воскликнула девица:
— Господи, меня Ты слышишь!
Велико мое несчастье,
Но Твои заботы больше.
Обо мне ты не заботься,
Помни темных, некрещеных! —
Услыхал Господь тот возглас,
Обратил он Катерину
В синий крест, стоящий тихо
Средь бушующего бора,
Между двух озер глубоких, —
Да обнимет крест тот грешник,
Да обнимет покаянно.
Время шло, сменялись годы,
Изменился мир Господень.
Заклубился дым священный,
Колокольни зазвонили,
Полилась вода святая
В вековых карельских дебрях.
Долго сказывали люди,
Будто синий крест явился
На пустынном, диком месте,
Средь густых лесов шумящих,
Между двух озер глубоких.
Но хранилась память дольше
О святом и мудром муже,
Что часовню там построил
И крестил народ водою,
Поучая вере Божьей.

Но запомнили навеки
Люди крест, что над проливом
У моста стоял когда-то,
У часовни деревенской, —
Синий крест воспоминали,
Внемля колокол вечерний,
Глядя, как покойны воды,
Как вдали проходит путник.

МИКАЭЛЬ ЛЮБЕК
(1864-1925)

УСТАЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ночь, тебя мы ждали долго, одиноко!
Окружи нас тьмою в этот час!
Ветры не стихают,
Волны не стихают,
Завтра день настанет не для нас.
Мы среди прибоя, берег так далеко!

Ах, сломай нас, буря! Корни пусть не тщатся
Глубже в землю врыться в этот раз!
Сумрак все покроет,
Буря воет, воет,
Завтра день настанет не для нас.
Нет, мы не согнемся: наш удел — сломаться.

Волны, бейте в берег, ройте нам могилы.
Волны, славьте наш последний час!
Ветер дуть устанет,
Завтра день проглянет, —
Этот день настанет не для нас.
С бурями бороться больше нет в нас силы.

ЯЛМАР ПРОКОПЕ

(1868-1927)

МЕЧТАТЕЛЬ

Мне снилось: посланник небес Гавриил
Явился мне ночью в сиянии крыл
И к Господу, в небо со мной воспарил.

И было два трона в чертогах покоя,
И Богу подобен, воссел высоко я,
И стал я всевидящ, взирая как Бог
На мир, у моих распростершийся ног.

И все я увидел в единственный миг —
С начала времен до свершения их:
В пустыне — источника жизни кипенье,
Восточней востока, в стране зарожденья,
Где замок всесолнца стоит;
И смерти предел я увидел воочью,
Где свету преграда положена ночью,
Где вечности сумрак царит.
И мир созерцал я со всем, что есть в нем,
Что дышит, что первым прозябло ростком,
И понял: огромен его оком.

И в мире, что Бога воздвигла рука,
В разверстую вечность мелькали века,
Как ласточки, мимо, все мимо, легко, —
Их было число без конца велико.
Что было, что будет, я зрел в то мгновенье —
До мира кончины от грехопаденья,
И все, что Зиждитель воздвиг, —

И был этот мир беспредельно велик.
Но все же, когда я на мир тот взглянул,
И взор до пределов его достигнул,
Когда мне предстали все души, вся плоть, —
Спросил я: «Ужель это все, мой Господь?»

О, как мирозданье казалось мне мало,
Пред тем, что в душе затаенно дремало!
Великого мира великий предел
Мечтою раздвинуть я все ж бы сумел.
Нет! Снова хочу я искать и томиться!
Где мир, что по воле моей воплотится —
С мученьем загадок, с границами тайны,
Безмерный, безвестный и необычайный?

КОСКЕННИЕМИ

(1885-1962)

У КОСТРА

Мне видится Каиафы темный двор,
Ночь в Иудее, говор суетливый...
Среди толпы — пылающий костер
И некий муж угрюмый, молчаливый.

Приблизив руки к огненным углям,
Он тщетно душу греет человечью,
Ответствуя докучливым речам
Испорченною иудейской речью:

«Не галилеянин я, люди, нет!»
Плащом покрыта голова седая;
Костер на камни стелет желтый свет,
И медлит ночь, как будто выжидая...

«Не галилеянин я, люди, нет!»
Пропел петух. Зари пылают розы...
Старик встает, уходит, слаб и сед,
Вот оглянулся и глотает слезы.

Отчаянье! Ты человеку в грудь
Палящее свое вонзаешь жало.
О, чья душа хоть раз, когда-нибудь,
Своих святынь в слезах не предавала?

О галилеянин! К чужим кострам
Кто в холоде ночи не приближался?
Мы — плоть и кровь твоя, второй Адам!
Кто в оный час с тобой не отрекался?

ИЗ РОБЕРТА Л.СТИВЕНСОНА

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН
(1850-1894)

ЛУНА

Лицо у луны, как часов циферблат.
Им вор озарен, залезающий в сад,
И поле, и гавань, и серый гранит,
И город, и птичка, что в гнездышке спит.

Пискливая мышь, и мяучащий кот,
И пес, подвывающий там, у ворот,
И нетопырь, спящий весь день у стены, —
Как все они любят сиянье луны!

Кому же милее дневное житье —
Ложатся в постель, чтоб не видеть ее:
Смежают ресницы дитя и цветок,
Покуда зарей не заблещет восток.

ВЫЧИТАННЫЕ СТРАНЫ

Вкруг лампы за большим столом
Садятся наши вечером.
Поют, читают, говорят,
Но не шумят и не шалят.

Тогда, сжимая карабин,
Лишь я во тьме крадусь один
Тропинкой тесной и глухой
Между диваном и стеной.

Меня никто не видит там.
Ложусь я в тихий мой вигвам.
Объятый тьмой и тишиной,
Я — в мире книг, прочтенных мной.

Здесь есть леса и цепи гор,
Сиянье звезд, пустынь простор —
И львы к ручью на водопой
Идут рычащею толпой.

Вкруг лампы люди — ну, точь в точь
Как лагерь, свет струящий в ночь,
А я — индейский следопыт —
Крадусь неслышно, тьмой сокрыт...

Но няня уж идет за мной.
Чрез океан плыву домой,
Печально глядя сквозь туман
На берег вычитанных стран.

ИЗ ЕВРЕЙСКИХ ПОЭТОВ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В 1916-1918 гг., по поручению различных издательств, мне случилось перевести довольно много стихов для так называемых «инородческих» сборников: еврейских, армянских, латышских, финских. Творчество поэтов, пишущих в настоящее время на древне-еврейском языке, оказалось для меня наиболее ценным и близким. Переводам с древне-еврейского я уделил наиболее времени и труда. Они появились в разных альманахах и периодических изданиях. Под общей моей редакцией с Л.Б.Яффе напечатана книга: «Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии. Изд-во "Сафрут", М., 1918».

Драгоценные для меня отзывы, которые довелось услышать о моей работе, в печатной, письменной и устной форме, от некоторых авторов и знатоков новой еврейской поэзии, побуждают меня собрать свои переложения в отдельную книгу. Состав ее пестр и случаен, но разные обстоятельства лишают меня надежды в близком будущем заполнить существующие пробелы. Пусть эта книга будет такой, какой ее создало наше тревожное время.

Должен указать, что предлагаемые переложения, по незнанию мной древне-еврейского языка, сделаны не с подлинников, а с буквальными подстрочных переводов, исполненных преимущественно Л.Б.Яффе, которому, сверх того, я обязан признательностью за многие указания и разъяснения. Само собой разумеется, что точность переводов была моей постоянной заботой. Однако, переводя с подстрочника, я все время пользовался латинской транскрипцией еврейского текста. Таким образом, звуковые особенности подлинников, как то метр, построение строф, характер рифм, число строк и проч., мною сохранены. По возможности я старался передать и особенности инструментовки. Исключения составляют 2 или 3 пьесы, в которых требования, так сказать, русской художественности

заставили несколько уклониться от этого правила. Для настоящего издания переводы подвергнуты некоторым исправлениям.

Кроме стих. Шимоновича «Последний самарянин», все предлагаемые пьесы впервые появились на русском языке в моем переводе. Стихи Х.Н.Бялика печатаются здесь впервые.

Для русского читателя мною даны краткие примечания. Я намерен был также предпослать каждому автору небольшие сообщения био-библиографического характера, но от этого пришлось отказаться по причине невозможности добыть в настоящее время точные неустаревшие данные: тому виною отсутствие необходимых изданий, почтовые затруднения и проч. Мне остается надеяться, что когда-нибудь понадобится новое издание этой книги, для которого я смогу получить все нужные сведения и найду возможность сделать ряд новых переводов. Это была бы для меня радостная работа.

Владислав Ходасевич

Бельское Устье
11 авг. 1921 г.

ХАИМ НАХМАН БЯЛИК

(1873-1934)

ПРЕДВОДИТЕЛЮ ХОРА

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни мяса, ни рыбы, ни булки, ни хлеба...
Но что нам за дело? Мы пляшем сегодня.
Есть Бог всемогущий, и синее небо —
Сильней топчите во имя Господне!
Весь гнев свой, сердец негасимое пламя,
В неистовой пляске излейте, страдая, —
И пляска взовьется, взрокочет громами,
Грозя всей земле, небеса раздражая.

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!
Слышите, чорт побери? Не плошай!

И нет молока, и вина нет, и меда...
Но есть еще яд в упоительной чаше.
Рука да не дрогнет! В кругу хоровода
Кричите: «За ваше здоровье и наше!»
И пляска резвей закипит, замелькает, —
Лицом же и голосом смейтесь задорно,
И враг да не знает, и друг да не знает
Про то, что в душе вы таите упорно.

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни брюк, ни сапог, ни рубашки — но смейтесь!
Ведь лишняя тяжесть от лишнего платья!
Нагие, босые — орлами вы взвейтесь,
Все выше, все выше, все выше, о братья!
Промчимся грозой, пролетим ураганом
Над морем печалей, над жизнью постылой.
В туфлях иль без туфель — всем участь одна нам:
Всем песням и пляскам конец — за могилой!

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни близких, ни друга, ни брата, ни сына...
На чье ж ты плечо обопрешься, слабея?
Одни мы... Сольемся же все воедино,
Теснее, теснее, теснее, теснее!
Тесней — чтоб за ногу нога задевала!
Старик в седилах — с чернокудрою девой...
Кружись, хоровод, без конца, без начала,
Налево, направо, — направо, налево.

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни пяди земли, нет и крова над нами...
Да много ли толку-то в плаче нестройном?
Чай, свет-то широк с четырьмя сторонами!
О, слава Тебе, даровавший покой нам!
О, слава Тебе, даровавший нам кровлю
Из синего неба — и солнце свечою

Повесивший там... Я Тебя славословлю!
Хвалите же Бога проворной ногою!

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни судий, ни правды, ни права, ни чести.
Зачем же молчать? Пусть пророчат немые!
Пусть ноги кричат, чтоб о гневе и мести
Узнали под вашей стопой мостовые!
Пусть пляска безумья и мощи в кровавый
Костер разгорится — до искристой пены!
И в бешенстве плясок, и с воплями славы —
Разбейте же головы ваши о стены!

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!
Миллай и Гиллай! В свирель, чтоб оглохнуть!
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!
Слышите? Жарьте же так, чтоб издохнуть!

ДАВИД ФРИШМАН

(1864-1922)

НОЧЬЮ

Как одинок я стал с моею тайной,
С моей мечтой!
Ужель в свой дар напрасно я поверил,
О, Боже мой?

Умру я — и никто об этом плакать
Не будет никогда.
Из мрака над холмом моим могильным
Не скатится звезда.

И пара кляч мой гроб с унылым ржаньем
Неспешно повлечет.
И в день моих страданий крупный ливень
С небес польет...

Был человек. Он слишком верил в грезы,
Которых нет.
Пройдет лишь день — и жизнь его, и песню
Забудет свет.

ДЛЯ МЕССИИ

I

Новый дом у Иордана,
В нем кузнец — и неустанно
Он мехами дышет.

Быстро в пламя дует он;
Пах-пах, пах-пах! — дует он, —
Пламя вечно пышет.

И железо, раскаляясь,
Точно кровью наливаясь,
С присвистом пылает.
По железу молот бьет:
Бум-бум, бум-бум! — молот бьет,
Тянет и пластает.

Бей, кузнец! Пусть искры блещут,
Из-под молота пусть плещут
Струи огневые!
Пусть взлетает искра в высь, —
Фук-фук, фук-фук! — искра в высь, —
Вслед за ней другие.

Что куешь, кузнец суровый?
— Превращаю я в подковы
Полосы тугие.
Да, в подковы для него, —
Радость! радость! — для него,
Для коня Мессии.

II

Дом ткача у Иордана.
Ткач основу непрерывно
Прочную мотает.
Веретенцем он стучит, —
Тук-тук, тук-тук! — он стучит,
Пряжа прибывает.

Нити выются из навоя,
Сочетаясь вдвое, втрое,
Все ровней, все глаже.

Ткач проворно бьет по ним,
Чик-чик, чик-чик! — бьет по ним,
По бегущей пряже.

А челнок его, играя,
Быстрой молнией сверкая,
Ходит, ходит, ходит.
Взад-вперед и взад-вперед, —
Паф-паф, паф-паф! — взад-вперед, —
Мастер глаз не сводит.

Ткач проворный, быстроокий,
Что готовишь? — Плащ широкий,
Ризы дорогие.
Облечется в них он сам, —
Радость! радость! — сам он, сам,
Царь царей — Мессия.

III

Между смокв у Иордана
Вышивальщик утром рано
Вышивает в пальцах.
По холсту снует игла, —
Шей, шей, шей! — снует игла
В изощренных пальцах.

Возле ткани он суконной
Нашивает шнур виссонный,
Пурпур горделивый.
Подобрать умеет он, —
Так, так, так! — умеет он
Все в узор красивый.

Там гирлянды запестрили,
Там букеты белых лилий,
Пестрые бобы там...

Все цветы бросает он, —
Чик-чик-чик! — бросает он
На холсте расшитом.

Чем ты занят, быстровзорный?
— Я сшиваю в стяг узорный
Ткани дорогие.
А под стягом станет он, —
Радость! радость! — станет он,
Царь царей — Мессия.

IV

В вышнем небе херувимы,
Молчаливы и незримы,
Труд святой подъяли.
Перед Господом они —
Радость! радость! — все они
Всемером предстали.

Все, что свято и блаженно,
Непостижно, совершенно,
Чисто и прекрасно —
Ими взято нынче все,
Радость! радость! — взято все, —
Что светло и ясно.

Сожаленье, состраданье,
Все безмолвное терзанье
Херувимы взяли.
Все, в чем милость и любовь, —
Радость! радость — всю любовь
Вместе сочетали.

В чем же труд ваш, херувимы?
— Все запасы припасли мы
И творим, благие,

Душу, душу для него, —
Радость! радость! — для него,
Для царя-Мессии!

Но беда нам, но беда нам!
Все давно над Иорданом
От трудов почили.
Запоздали только мы, —
Горе! горе! — только мы
Труд не довершили.

Видно, мало мы собрали
Для святой души печали,
Горнего эфира...
Видно, взяли мало мы —
Горе! горе! — мало мы
Взяли их из мира!

Из того, что в нем блаженно,
Непостижно, совершенно,
Чисто и прекрасно, —
Видно, взяли мы не все —
Горе! горе нам! — не все,
Что светло и ясно!..

И подняли херувимы
Стоны скорби, плач незримый,
Вопли неземные, —
И доныне в мире нет —
Горе! горе! — в мире нет,
Нет души Мессии.

САУЛ ЧЕРНИХОВСКИЙ
(1873-1943)

В ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ

Идиллия

Тамуза^{1*} солнце средь неба недвижно стоит, изливая
Света и блеска поток на поля и сады Украины.
Море огня разлилось — и отблески, отсветы, искры
Перебегают вокруг улыбчиво, быстро, воздушно.
Вот — засияли на маке, на крылышках бабочки пестрой...
Там комары заплясали над зеркалом лужицы. С ними
В солнечном блеске танцует стрекоз веселое племя.
В зелень густую листвы и в черные борозды поля —
Всюду проникли лучи; вон там проскользнули по струйке,
Что с лепетаньем проворным бежит по земле золотистой.
Луч ни один не вернулся туда, откуда пришел он,
И ни за что не вернется. Так шаловливые дети
Мчатся от матери прочь — и прячутся; их и не сыщешь.
Поле впитало в себя осколки разбрызганных светов,
Бережно спрятало их в плодоносное, теплое лоно.
Завязи, почки, побеги впитали их в клеточки жадно,
После ж, когда миновала пора изумрудная листьев,
Поле и нива наружу извергли хранимые светы;
Луч поднялся из земли, и зернами сделались искры, —
Зернами ржи усатой, налившейся грузно пшеницы
И ячменя. И всплеснулось золото нижнее к небу,
С золотом верхним слилось, — и со светами встретились
светы.

* Примечания В.Ф.Ходасевича см. в конце раздела «Из еврейских поэтов».

Зной превратился в удушье. Уж нет ни души на базарах, Улицы все в деревьях опустели, и солнце не властно Там лишь, где сыщется угол, сокрытый от этой напасти Ставнем иль выступом крыши...

И угол такой отыскался. Есть на деревне тюрьма. Она ж — волостное правленье. Ежели к ней подойдете вы с северо-запада — тут-то, Возле тюремной стены, и будет укромный сей угол. Трое в полуденный час собрались у стены благодатной. Первый был Мойше-Арон, что Жареным прозван в деревне. Случай с ним вышел такой, что дом у него загорелся В самый тот час, как поспать прилег он на крышу.

Спасться-то Спасся, конечно, он сам, но обжегся порядком... Все лето Занят своей он работой, работа ж его — по малярной Части. А в зимнее время он дома сидит, голодая... Кто ж были двое других, сидевших с Мойшей у стенки? Васька-шатун, конокрад, и Иохим — волостного правленья, То бишь тюрьмы, охранитель и страж. (В просторечьи кутузкой

Эту тюрьму мужики называют.) А должность такую Занял Иохим потому, что был хром. А хромым он вернулся После кампании крымской... Зачем же судьба их столкнула Здесь, у стены? А затем, что давно старики замечали: Ставни в кутузке совсем прогнили от долгой работы. Ну, заявили на сходе, что надо бы дело обдумать: Может, давно пора еврея позвать да покрасить? Спорили долго; но сходу выставил Жареный водки — И порешили все дело, с Мойшей подряд заключивши. Вот и стоял он теперь и ставень за ставнем, потея, Красил, пестрил, расцвечал. Мазнет, попыхтит — да и дальше.

Мойше был мастер известный: уж если за что он возьмется, Плохо не сделает, нет, и в грязь лицом не ударит. Ловко покрасил он ставни: медянкой разделал, медянкой! Доски с обеих сторон покрасил, внутри и снаружи. В центре же каждой доски он сделал по красному кругу: Сурику, сурику брал! Себе в убыток, ей-Богу! И расходились от центра лучи, расширяясь снаружи:

Желтый, и синий, и желтый, и синий опять — и так дальше.
В круге ж чудесный цветок малевал он; уж право — такого
Просто нигде не сыскать: три чашечки тут распускались
Из белоснежного стебля, а в чашечке — вроде решетки —
Клеточки красные шли в перемежку с желтыми. Чудо!
Право, бессильны уста, чтоб выразить все восхищенье!
Видели их мужики — и стояли, и диву давались,
И головами качали: «Ну — Жареный! Ну — и работа!»
Но не закончил еще маляр многотрудной работы.
Гои же рядом сидели, для крыс капкан мастерили.
(Крысы под самой кутузкой огромным жили селеньем,
Днем выбегали наружу и под ноги людям кидались,
Всех повергая в смущенье, а женщин так даже и в ужас.)
Васька с Иохимом сидел, в работе ему помогая:
В этакий зной не до правил, так вышел и он из кутузки,
Чтобы в приятной прохладе беседою сердце потешить.
Вот и рассказывал он про то, как грех приключился,
Как он в кутузку попал за веревку, найденную в поле.
(Пусть уж простит меня Васька: забыл он, что к этой
веревке

Конь был привязан тогда, и конь чужой, а не Васькин.)
«Так-то вот, все за веревку», печалился Васька. И был он
Пойман, и к долгой отсидке начальство его присудило.
Заняты делом своим, собеседники мирно сидели.
Клетку из прутьев железных Иохим устроил, внутри же
Прочный приделал крючок для того, чтобы вешать
приманку.

Вдруг услышали они на улице легкую поступь.
Тамуза солнце, пылая, стояло средь синего неба.
Рынок давно опустел, и улицы были безлюдны.
Кто бы, казалось, тут мог проходить в неурочное время?
Головы все повернули, идущего видеть желая.
Васька, замолкнувши разом, прищурил пронырливый глаз
свой,

Мойше-Арон неспешно в ведро кисть опускает,
Медленно сторож Иохим капканчик поставил на землю,
Бороду важно разгладил, откашлялся — и вытирает
Черную, потную шею... И все удивились немало,
Старого Симху завидев. Согбенный, с обвязанной шеей,

Спрятавши обе руки в рукава атласной капоты,
Книгу под мышкой зажав, торопливо, легкой походкой
Симха идет. Увидав их, старик улыбнулся, подходит;
Вот — поклонился он всем и беседует с Мойшей-Ароном.
«Ближе, реб² Симха, — прошу. Что значит такая прогулка?
Маане-лошон³, я вижу, под мышкой у вас». — «Я от сына.
Велвелэ, сын мой, скончался». — «Господа суд

справедливый

Благословен!.. Но когда ж? Ничего я про это не слышал». —
Горестно Симха вздохнул и речь свою так начинает:
— Дети мои, слава Богу, как все во Израиле дети:
Все, как ты знаешь, реб Мойше, и Богу, и людям угодны:
Умные головы очень, ну прямо разумники вышли.
Вырастить их, воспитать — немало мне было заботы,
Ну, а как на ноги стали — каждый своею дорогой
Все разбрелись. И заботу о них я труднейшей заботой
В жизни считал. Ведь всегда человек, размышляя о жизни,
Преувеличить готов одно, преуменьшить другое.
Так-то вот выросли дети, и нужно признаться — удачно:
Вовремя каждый родился, и вовремя резались зубки,
Вовремя ползали все, потом ходить научились,
Глядь — уже и хедеру⁴ время, и все по велению Божью:
Брат перед братом ни в чем не имел отличия. В зыбку
Нынче ложился один, а чрез год иль немного поболе
Место свое уступал он, другому, рожденному мною
Также для участи доброй. Но Велвелэ, младший, родился
Поздно, когда уж детей я больше иметь и не думал.
Был он поскребыш, и трудно дались его матери роды.
Братьев крупнее он был, и когда на свет появился,
Радость мой дом озарила, ибо заполнился миньян⁵.
Был он немного крикун, да таков уж детишек обычай.
Только что стал он ходить, едва говорить научился,
Сразу же стало нам ясно, что вышел умом он не в братьев.
Трудно далась ему речь, а в грамоте, как говорится,
Шел он, на каждом шагу спотыкаясь. Какою-то блажью
Был он охвачен, как видно. Все жил он в каких-то мечтаньях,
Вечно сидел по углам, глаза удивленно раскрывши...
Сад по ночам он любил, замолкнувший, тихий... Бывало,
Встанет раненько, чтоб солнце увидеть, всходящее в росах;

Вечером станет вот эдак — и смотрит, забывши про минху⁶:
Смотрит на пламя заката, на солнце, что медленно меркнет,
Смотрит на брызги огня, на луч, что дрожит, умирая...
Нужно, положим, признать: прекрасно полночное небо, —
Только какая в нем польза? Порою же бегал он в поле.
«Велвелэ, дурень, куда?» — «Васильки посмотреть. Голубые
Это цветочки такие, во ржи, красивые очень.
Век их недолог, и только проворный достоин их видеть».
«Это откуда ты знаешь?» — «От Ваньки с Тимошкой,

от гоев

Маленьких». — Часто бывало, что явится глупости демон,
Велвелэ гонит под дождь, на улицах шлепать по лужам,
Глядя, как капли дождя в широкие падают лужи,
Гвоздикам тонким подобны, что к небу торчат остриями.
Стал он какой-то блажной. В одну из ночей, что зовутся
Здесь воробьиными, многих ремней удостоился дурень,
Так что в великих слезах на своей растянулся кровати.
Был он и сам — ну точь в точь воробей, что нахохлился
в страхе.

Так вот глазами и пил за молнией молнию, что рвали
Темное небо на части...

Но сердце... Что было за сердце!

Чистое золото, право. Бывало и пальцем не тронет
Он никого. Не обидит и мухи. Детишки, конечно,
Часто дразнили его, называли Велвелэ-дурень, —
Да и другими словами обидными: он не сердился,
Горечи не было вовсе у мальчика в ласковом сердце.
Как он любил все живое! Кормил воробьев; ежедневно
Стаей огромной к нему слетались они на рассвете,
Зерна и крошки клевали из рук у него. И бывало —
Сам не успеет поесть, — а псов дворовых накормит.
Пищей с пятнистым котом он делился, был пойман

однажды

В том, что таскал молоко окотившейся кошке. Но больше,
Больше всего он любил голубей. Голубятню устроил
И пострадал за нее многократно: ремней, колотушек
Стоило это ему, — и других наказаний. Скажите:
Кто ж это видел когда, — чтоб еврей с голубьями возился?
Но устоял он во всем, — и рукой на него мы махнули.

Делал он все, что хотел, и вскоре наполнили двор наш
 Голуби всяких сортов и пород. Деревенским мальчишкой
 Был я когда-то и сам, но понять не могу я, откуда
 Он это все разузнал. И что же ты думаешь, Мойше?
 Он и меня научил различать голубей по породам!
 Знал их малыш наизусть; вот это «египетский» голубь,
 Это «отшельник», а там — «генерал» с раздувшимся зобом
 Выпятил грудь; вот «павлин» горделиво хвост распускает;
 Там синеватой косицей чванятся горлицы; «турман»
 Встретился здесь с «великаном»; там парочки «негров»
 и «римлян»

Крутят в сторонке любовь, и к ним подлетает
 «жемчужный»;
 Там вон — «монахи»-птенцы, «итальянцы», «швейцарцы»,
 «сирийцы»...

Старец младенцу подобен: уже серебрился мой волос,
 Я же учился у сына и стал голубятник заправский...
 Вскоре за книги пророков уселся Велвелэ. Мальчик
 В сны наяву погрузился. Что в хедере слышит, бывало,
 То ему чудится всюду. Пришли на деревню цыгане,
 Просто сказать — кузнецы: так он в них увидел египтян.
 В поле увидит снопы — снопами Иосифа мнит их;
 Спрашивал часто: где рай, где Урим и Тумим⁷, и где же
 Первосвященник? Весной, в половодье, все Чермное море
 Чудилось мальчику. Холмик — Синаем ему представлялся.
 К Ерусалиму дорогу искал он. И понял меламед⁸,
 Что недоступен Талмуд его голове — и довольно,
 Если он будет хороший еврей. Повседневным молитвам
 Велвелэ он обучил и внушил ему страх перед Богом, —
 Переменился наш мальчик. Всем сердцем к Творцу
 прилепился,
 Строго посты соблюдал, подолгу молился, как старый,
 Даже прикрикивать стал на меня и на братьев: мы, дескать,
 Грешники. Мы же его пинками молчать заставляли,
 Злили его и дразнили обидными кличками часто:
 Цадиком звали, раввином, святошей, Господним
 жандармом.

Мальчик с тринадцати лет у нас начинает работать.
 Начал и Велвелэ наш приучаться к торговому делу, —

Но не затем он был создан.

Ты сам все знаешь, реб Мойше:
С самых с тех пор, как пошли с «чертою» строгости, —
землю

Нам покупать запретили, и мы превратились в торговцев.
Жизнь, конкуренция, гнет на обман толкают еврея.
Чем прокормиться в деревне? Лишь тем, что пальцем
надавишь

На коромысло весов, чтоб чашка склонилась, иль каплю
Где не дольешь в бутылку...

Так мальчик, бывало, не может:
«Что говорится в законе? А суд небесный? Забыли?»
«Что ж», отвечаем ему, — «ступай и кричи хай векайом⁹».
Он же заладит — «обман!» — И рукой на него мы махнули:
«Пусть возвращается к книгам! При нем невозможно
работать».

Стянет, бывало, мужик что́ плохо лежит — и притащит.
Можно б на этом нажать — да гляди, чтоб малыш не
заметил.

Прятались мы от него, как от стражника, честное слово!..
В Пурим гостил у меня мешулох¹⁰ один Палестинский —
Плотный, румяный еврей, с брюшком, с большой бородою.
Сыпался жемчуг из уст у него, когда говорил он.
Дети мои разошлись, уставши за трапезой общей.
Все по углам разбрелись: тот дремлет, сидя на стуле,
Тот на постель повалился, дневным трудом утомленный,
Я же остался при госте, и много чудес рассказал он
О патриарших гробницах, о том, как люди над прахом
Западной плачут стены, и как всенародно справляют
Празднество сына Иохан...¹¹

И слушать его не устанешь.
Велвелэ рядом сидел: глаза у него разгорелись,
Взор, как железо к магниту, стремился к редкому гостю.
Каждое слово ловя, до поздней ночи сидел он
И уходить не хотел. Когда же на утро уехал
Этот мешулох от нас, наш Велвелэ с ним не простился.
Думали мы: «Неизвестно, кого он еще теперь кормит».
Зная все шутки его, все бредни, мы были спокойны.
Но и обеденный час миновал, — а Велвелэ нету.

Страшно мне стало за сына. Искали, искали — исчез он, Точно в колодезь упал. Спросили соседей: быть может, Видели мальчика? Нет... Под вечер его на дороге Встретил знакомый один и привел. От стужи дрожал он. В эту же ночь запылал малыш, в жару заметался, Плакал, что больно в боку, — а сам все таял и таял... Только три дня — и готов.

Уж после все объяснилось.

Мальчик ни больше, ни меньше, как сам идти в Палестину Вздумал — и стал старика у околицы ждать. Ну, мешулох С ним пошутил и немного подвез его по дороге. Что же? с телеги сойдя, заупрямился мальчик и вздумал Дальше идти хоть пешком — и отправился по снегу, в стужу. Встретил крестьянин его — и привел. Конечно, мы знали, Что простоват мальчуган, но и прежде казалось нам также, Что не от мира сего он вышел и в нашем семействе Гостем он был необычным... Но что за душа золотая! Умер — и нет уж ее, и дом опустел, омрачился. Пусто сегодня на рынке, и вот я подумал: зайду-ка Велвелэ-дурня проведать. Небось, по отце стосковался. Мимо кладбища, где гой лежат, проходил я и видел: Все оно тонет в цветах, над могилами ивы склонились. И одурел я совсем, реб Мойше: взял да и бросил Сыну цветок на могилку: ведь как он любил, как любил их! — Симха вздохнул и умолк. Сидел и Жареный молча... «Ну, брат, Василий, — в кутузку! — сказал Иохим: —

— Подымайся.

Писарь, того и гляди, придет. Не след арестанту Лясы точить на дворе... Да дверь за собою прикрой-ка!» Тамуза солнце недвижно стояло средь синего неба. Море огня разлилось... Все искрится, блещет, сияет...

ЗАВЕТ АВРААМА

Идиллия из жизни евреев в Тавриде

I

На пути в Египет

Реб Элиокум, резник, встает неспешно со стула,
Все нумера «Гацефиры»¹ сложил и ладонью разгладил,
Выровнял; ногтем провел по краям. Ему «Гацефира»
Очень любезна была, и читал он ее со вниманьем.
Кончив работу, — листы аккуратно сложив и расправив, —
Встал он на стул деревянный, на шкаф положил газету.
Слез, подошел к окну и выглянул. Реб Элиокум
Думал, что надо уже отправляться к вечерней молитве,
В дом, где сходилась молиться вся община их небольшая.
Двор из окна созерцал он в безмолвии мудром — и видел:
Куры его поспешают к насести, под самую крышу,
Скачут по лестнице шаткой, приставленной к ветхому хлеву.
Медленно движутся птицы... Посмотрит наседка — и прыгнет
Вверх на ступеньку; потом назад обернется и снова
Смотрит, как будто не знает: карабкаться — или не стоит?
Только петух молодчина меж ними: хозяйский любимец.
Гребень — багряный, борода — такая ж; дорожен, осанист;
Ходит большими шагами, грудь округляя степенно;
Длинные перья, качаясь, золотом блещут турецким.
Вот уж запел было он, но тотчас запнулся, внезапно
Песню свою оборвал и, вытянув шею, пустился,
Крылья широко раскинув, бежать; тут реб Элиокум
Тотчас узнать пожелал причину такого поступка.
Вскоре услышал он свист кнута, колес громоханье,
Пару коней увидал, — а за ними вкатилась повозка.
Лошади стали; с повозки высокий прыгнул крестьянин,
Крепкий, здоровый старик, распряг лошадей и в корыте
Корму для них приготовил, с овсом ячмень размешавши.
Реб Элиокум на гою взглянул с молчаливым вопросом.
Сразу по шапке узнал он, что гость — из села Билибирки.

(Так испокон веков зовется село: Билибирка, —
Только евреи его прозвали Малым Египтом.)
Мудрый и щедрый Создатель (слава Ему во веки!),
Тварей живых сотворив, увидел, что некогда могут
Разных пород создания смешаться между собою.
Дал им Господь посему отличия: гриву, копыта,
Зубы, рога. Ослу — прямые и длинные уши,
Ящеру — тонкий хвост, а щуке — пестрый рисунок.
Буйволу дал Он рога, петуху — колючие шпоры,
Бороду дал Он козлу, а шапку — сынам Билибирки.
Шапка по виду горшку подобна, но только повыше.
Росту же в шапке — семь пядей; кто важен — с мизинец
прибавит.

Можно подробно весьма описать, как делают шапку:
Видя, что шапка нужна, идет крестьянин в овчарню;
Там годовалый ягненок, курчавый (черный иль рыжий)
Взоры его привлекает; зарежет крестьянин ягненка;
Мясо он сварит в горшке и с семьею скушает в супе,
Есть и такие, что жарят ягнят, поедая их с кашей;
Шкурку ж отдаст крестьянин кожевнику для обработки.
В праздник, в базарный день, в Михайловку съездит
крестьянин,

В лавочку Шраги зайдет, посидит, часок поболтает,
К Шлемке заглянет потом — и к Шраге назад возвратится;
После отправится к Берлу; сторгуются; Берл за полтинник
Шапку сошьет мужику, но с цены ни копейки не скинет:
Ибо цена навсегда установлена прочно и свято.
Едет ли он в Орехов, заглянет ли он в Севастополь, —
Жителя этой деревни всякий по шапке узнаёт.
Ежели кто повстречает жителя сей Билибирки,
Скажет ему непременно:— Здорово, продай-ка мне шапку!—
Гостя по шапке узнал, конечно, и реб Элюкум.
Только не знал он того, зачем приехал крестьянин.
Стал он тогда размышлять: — Э, видно, там, в Билибирке,
Важное что-то случилось, — а я ничего и не слышал. —
Так-то вот думает он, а мужик уж стоит на пороге,
Шапку стащил с головы, озирается, ищет икону.
— Здравствуй! Резник-то который? не ты ли? А я
билибирский.

Пейсах меня прислал. Родила ему Мирка сынишку.
 Завтра его ты обрежешь, а вот письмо; получай-ка. —
 — Ладно, — ответил резник, — помолюсь — а там и поедем.
 Ты же меня с часок подожди. А покуда и кони
 Пусть отдохнут. — Сказал, поднялся, взял палку и вышел.
 Улицей тихо идет он, сверкая гвоздями подметок.
 Реб Элиокум могель² известный в целой округе,
 Даже из дальних селений за ним присылают нередко.
 Слава его велика. — Через полчаса из дому снова
 Реб Элиокум выходит в пальто и в шарфе пуховом,
 Теплом, большом. Ибо Элька, жена его, так говорила,
 Мужа в сенях провожая: — Возьми, обвяжи себе шею;
 День хоть не очень холодный, а все-таки лучше беречься.
 Что тебе стоит? возьми! Жалеть наверно не будешь. —
 Реб Элиокум неспешно дошел до повозки мужицкой,
 Смотрит — а в ней, как ягнята, его же три дочки уселись:
 Сорка, да Двейрка, да Чарна. А где же сынишка? Да вот он,
 Ишь, на руках-то у гоя, который приехал в повозке.
 Хочет мужик и его посадить с сестренками рядом.
 Так и сияют оба: и гой заезжий, и Хона.
 (Мальчика Хоной назвали в память братишки, который
 Умер давно от холеры; но гои, понятно, Кондратом
 Хону придумали звать, при этом они говорили:
 Ежели Годл — Данило, то Хона — Кондрат несомненно.)
 Так и сияет мальчишка; накушался вдоволь он вишен,
 Зубы от сока синеют, пятно на кончике носа,
 Выпачкан весь подбородок... Настала для Хоны забава.
 Ножками дрыгает он на руках у гоя Михайлы.
 Любит Михайла подчас пошутить с детворою еврейской:
 — Ну-тка я вас, жиденят! — и кнутом замахнулся
 притворно.
 Громко тогда закричали и Сорка, и Двейрка, и Чарна;
 Хона однако не вскрикнул, не тронулся с места, а поднял
 Сам кулачок свой на гоя, готовый ринуться в битву.
 Молча Михайло стоял на месте, весьма удивленный,
 После того покачал головой и промолвил негромко:
 — Плохо, когда жиденята — и те бунтовать начинают!
 — Он у меня герой, — отвечал Элиокум с улыбкой:
 — Брось-ка его да ребят покатай в повозке немного. —

С криками снова уселись и Сорка, и Двейрка, и Чарна.
 Хона за ними в повозку — и тронулись лошади с места.
 — Ну, Элиокум, прощай, — сказала жена, — «До свиданья.
 Хону вы мне берегите! Ты, Сорка, за брата ответишь!»
 Дети еще не вернулись. Но вот закричал Элиокум:
 — Будет! Пора и домой! Возвращайтесь! — Не очень охотно
 Девочки слезли с повозки, — но все же отцу не переча.
 Хона один уперся: вцепился он крепко в Михайлу,
 Рот широко раскрыл и отчаянно дрыгал ногами.
 Только ни ноги, ни рот не слишком емугодились:
 Отдал приказ Элиокум — и мальчик был спущен на землю.
 Чарна и Двейрка, его подхвативши, бежали проворно
 К дому. Назад озираясь, виса на руках у сестренки,
 С ними и Хона бежал, крича и мыча, как теленок.
 Ноги его поджаты; хвостиком край рубашонки
 Сзади торчит из прорехи, застегнутой слишком небрежно.
 Хона кому был подобен в эту минуту? Ягненку,
 В поле бредущему следом за маткой. Пастух выгоняет
 Мелкий свой скот; за ним, отставая, с протяжным блеяньем,
 Скачут ягнята в догонку, и хвостики их презабавно
 Сзади по голеним бьются...

А лошади мчатся и мчатся,
 Вот уж село миновали и по полю чистому едут;
 Вот — и с пригорка спустились; из глаз сокрылась деревня;
 Мельница только видна на холме; раскинувши крылья,
 Точно гигантские руки, привет она шлет им прощальный.
 Вот уж просторы полей окружили путников наших.
 Вольная ширь кругом простерта в покое великом.

Скорби глубокой и тихой дух витает над степью:
 Песня извечной печали, бездонной, безмолвной и горькой,
 Повесть минувших событий — и темные тайны грядущих,
 Будущих дней... И невольно тогда на уста человеку
 Грустная песня приходит, и сердца тайник непостижный
 Полнит собой, и печалит, и мир омрачает, как облак.
 Сердце тогда защежит, а в глазах скопляются слезы.
 Славой овеена степь, и в сказаньях о давних народах,
 Там, в отдаленных веках, на границе преданий и правды,
 Древнее имя ее окутано облаком тайны.

Персы со скифами здесь воевали; здесь кочевали
 Половцев дикие толпы, потом племена печенегов;
 Кровь татарвы и казаков здесь проливалась обильно.
 Кончены те времена, когда от границы Буджака
 Вплоть до Каспийского моря ширилось море другое —
 Море сверкающих трав, благовоньем богатых. Бывало —
 Хищное племя шатры разбивало у рек многоводных,
 Диких коней усмиряло в степных неоглядных просторах...
 Только могилы остались доньне: большие курганы.
 Молча и грустно с курганов глядят изваянья; загадки
 Замкнуты в камне холодном. Весны беззаботной потоки
 Начисто смыли следы удалых наездников скифов;
 Память о половцах диких развеяли ветры по степи;
 Сечь навсегда затихла; в бахчисарайской долине
 Смолкли тимпаны и бубны; пространства степей
 необъятных
 Блещут под влагой росы в золотых одеяньях пшеницы.

Прошлое дремлет в гигантских ему иссеченных могилах.
 Только в печальные ночи, когда облака торопливо
 Мчатся, сшибаясь, по небу, да туч блуждают обрывки,
 Лунный же лик багровеет и падает, медью сверкая, —
 Мнится: былые поверья опять облекаются плотью,
 Вновь пробуждаются к жизни. Встают из курганов гиганты,
 Снова взирают на землю их удивленные очи.
 Голосом трав шелестящих они повествуют о прошлом...
 Слушают путники шопот, и пристально смотрят, и видят
 Неба нахмуренный свод, суровые, темные тучи,
 Дали, немые как тайна судеб, — и невольно их сердце
 Смутной сжимается болью. И крадется в сердце желанье
 Бодро вскочить на коня, в бока его шпоры вонзивши,
 Мчаться степным бездорожьем, все дальше, туда, где
 с землею

Сходятся тучи ночные. И хочется путнику громко
 Крикнуть, чтоб голос его разнесся от моря до моря,
 Хочется воздух пустыни наполнить возгласом диким,
 Чтобы спугнуть лебедей, чтоб слышали волки в оврагах,
 Чтобы зверье из нор откликнулось воем далеким,
 Чтобы утешилось сердце хоть слабым признаком жизни...

Тихо тогда запевает Михайло, и песня простая,
Грустью рожденная песня сердца печаль выражает.
Прост и уныл напев, однозвучный, тягучий, нехитрый.
Так над морским побережьем, так у днепровских порогов
Чайки безрадостно кличут: за возгласом — возглас
протяжный.

Отзвук безрадостной доли, отзвук печали и плача.
Так и Михайло поет; Элиокуму в самое сердце
Скорбный напев западает. Вняты в песне мужицкой
Сердца горячего слезы; ищет выхода сердце
Силам, скопившимся в нем неприметно, подспудно
и праздно.

В песне унылой излить их — вот облегченье для сердца.
Песню казацкую пел Михайло. Внимал Элиокум;
Мир непонятный и чуждый являлся душе его мирной:
Пламя, убийства и кровь... И в даль смотрел он душою,
В смену былых поколений, тех, что когда-то мелькнули
В знойных степях — и исчезли... И вспомнил хазар Элиокум,
Вспомнил потом Иудею, мужей могучих и грозных,
Вспомнил о диких конях, о панцирях, копьях и пиках...
Чуждо ему это все — но сердце сжалось невольно...
Снова мерещатся луки, и пики, и ядра баллисты,
Только уж лица другие. Те лица узнал Элиокум.
Ава девятый день!...³ И большее сжимается сердце.
Блещут мечи и щиты... И стал размышлять Элиокум:
Если бы сам он был там, — то стал ли бы он защищаться?
Долго он думал об этом — и вдруг нечаянно вспомнил
Хону, поднявшего свой кулачок на Михайлу. И снова
Сам Элиокум себя спросил: «Во младенчестве нежном
Так ли бы я ответил Михайле, как Хона ответил?
Вижу я — новый повеял ветер во стане евреев,
Новое ныне встает на нашей земле поколение.
Вот завелись колонисты, Сион...⁴ Что ни день, то в газетах
Пишут о лекциях, банках, конгрессах...» И реб Элиокум
В сердце своем ощущает и радость, и страх, и надежду:
В мире великое что-то творится: дело святое,
Милое сердцу его — и новое, новое! Страшно
Дней наступающих этих! Кто ведает, что в них таится?...
Странно все это весьма, гадать о будущем трудно...

Ахад-Гаам, «молодые»⁵ — все странно, прекрасно и ново...
Старое? Старое — вот: уж готово склониться пред новым.
Скоро исчезнет оно... Подрывы его основания,
Ширятся трещины, щели, — падение прошлого близко...
Только по виду все так же, как было в минувшие годы.
Так и со льдами бывает весною. Выглянет солнце,
Всюду проникнут лучи: по виду лед все такой же;
Только — ступи на него: растает, и нет его больше.
Радо грядущему солнце — но все же и прошлого жалко...
Лошади вдруг подхватили, помчались резвее. Михайло
Песню свою оборвал. Грохочут колеса повозки,
Весело оси скрипят, — и вот уж дома Билибирки.
Вот уж глядят огоньки из маленьких, узких окошек,
Путникам так и мигают их дружелюбные глазки.
С лаем по улице грязной бегут отовсюду собаки,
Полня весельем и гамом вечерний темнеющий воздух.

II

Обрезание

Вот имена сынов Билибирки, что жили в «Египте».
 С женами все собрались и сели на месте почетном:
 Берелэ Донс и Шмуль Буц; Берл Большой и Берл Малый;
 Годл Палант, Залман Дойв и Шмерл, меламед литовский;
 Ривлин, из Лодзи агент; Александр Матвеич Шлимазлин;
 Иоскин, тамошний фельдшер; Матисья Сёмен, аптекарь;
 Хаим брев Сендер, раввин, толстопузый, почтенный,
 плечистый.

Родом он сам билибиркский, и им Билибирка гордится.
 «Нашего стада телец!» — о нем говорят, похваляясь.
 С ними сидит и реб Лейб, резник и кантор⁶ в «Египте».
 Худ он как щепка, и мал, и хром на правую ногу.
 Тут же и Лейзер, служба. И к ним присоседился прочно
 Рабби Азриель Морóнт, с большой бородой, весь красный.
 Лет три десятка служил он в солдатах царю Николаю
 Первому — и устоял в испытаньях тяжелых и многих.
 Ныне же к Торе вернулся — к служению Господу Богу.
 Эти четыре лица: реб Лейб, Азриель и Лейзер,
 Так же реб Хаим, раввин, — весьма почитаемы всеми;
 Длинные одежды у них, и слово их в общине веско,
 Ибо из них состоит билибирское все духовенство.
 Были два гостя еще, но ниже гораздо значеньем:
 Некий Хведир Паско́ и с ним сумасшедшая Хивря.
 Хведир — высокий, худой, и нос его башне Ливана,
 Красным огнем озаренной, подобен; от выпитой браги
 Красны глаза его также. Но нравом он скромен и смирен.
 Он охраняет евреев жилища. В квартале еврейском
 Улицей грязной и топкой ходит с собаками Хведир.
 Сырка, Зузулька, Кадушка и Дамка зовутся собаки.
 К Пейсаху Сырка пришла, а прочие дома остались.
 Сырка уселась в углу и, глаз прищуривши, ловит
 Мух, облепивших ее в бою пострадавшее ухо.
 Сидя с приветливой мордой, хвостом она тихо виляла.
 Кроме того, что он сторож, Паско был и «гоем субботним»:
 Ставил он всем самовары и лампы гасил по субботам.

Печи, случалось, топил и строил навесы для Кушей.
Впрочем, не реже его топила печи и Хивря.
Также ходила она за водой и за то получала
По две копейки. Когда же случалось, что баня топилась,
Хивря по улице шла и махала веником, с криком:
«В баню ступайте, евреи! Скорей, немытые, в баню!»
Хведир и Хивря сегодня столкнулись за трапезой общей:
Запах вина их привлек на пиршество к Пейсаху нынче...

Шумной, веселой гурьбою, смеясь, беседуя, споря,
Званные гости вошли в большую, красивую залу,
В светлый, высокий покой, где в сад выходили все окна.
С садом фруктовым свой дом от отца унаследовал Пейсах.
Мелом был выбелен зал; в потолок был вделан прекрасный
Круг из затейливой лепки, в центре же круга висела
Лампа на толстом крюке. По стенам красовались портреты
Монтефиоре и Гирша⁷ и многих ученых раввинов.
Венские стулья стояли у длинных столов, но садиться
Гости еще не спешили. Один собеседник другого
Крепко за лацкан держал, — и громко все говорили.
Хаим, раввин, наконец спросил хозяина пира:
«Ну, не пора ли, реб Пейсах?» «Ну, ну!» отвечивал

Пейсах:

Сандоку⁸ стул поскорее». — И стул принесен был слугою.
Весь озарился в тот миг Азриель веселием духа.
Гордо взирал он вокруг, с величием кесарей древних;
Розовы щеки его, как у сильного юноши; кудри,
Слившись с большой бородой, сединою серебряной блещут,
Белой волною струясь по одежде, по выпуклой груди;
Седы и брови его, густые, широкие; ими,
Точно изогнутым луком, лоб белоснежный очерчен.
Видом своим величавым взоры гостей услаждал он.
Сидя на стуле, он ждал, чтобы квáтер⁹ явился с ребенком.
Молча смотрел он на дверь в соседний покой, где сидели
Женщины: там находилась роженица с новорожденным.

Вот отворяется тихо дверь, и в комнату входит
Чудная девушка; лет ей шестнадцать, не более. Это —
Пейсаха старшая дочь, — она же квáтерин нынче.

Стройно она сложена, но вся еще блещет росой
 Детства: покатые плечи созрели прелестно, округло,
 Шея же слишком тонка, и локти младенчески остры;
 Плавно рисуются две сестрицы-волны под одеждой;
 Черные косы ее, заплетенные туго, сверкают,
 словно тяжелые змеи, до самой ступни ниспадая.
 Девушка эта прелестна. И вот что всего в ней прелестней:
 Кажется, девочка в ней со взрослою женщиной спорят;
 То побеждает одна, то другая. Дубку молодому
 Также подобна она: дубок и строен, и тонок, —
 Все же грядущую силу предугадать в нем нетрудно.
 В серых, огромных глазах у девушки искрится радость,
 Черны и длинны ресницы, которыми глаз оторочен.
 Если же взглянет она, то взор ее в сердце проникнет,
 Светлым и тихим весельем все сердце пленяя и полня...
 Руки простерты ее. На руках, в одеяле, младенец.
 Тихо ступает она, слегка назад откачнувшись:
 Новорожденного братца, как видно, держать нелегко ей.
 Вот на мгновенье стыдливым румянцем вспыхнули щеки,
 Тотчас, однако, лицо по-прежнему стало спокойным.
 Верно, взглянула она, как кватэр идет ей навстречу.
 «Словно Шехина¹⁰ почует на ней! Смотрите! Смотрите!» —
 Берелэ Донс воскликнул. Другие смущенно молчали:
 Как бы ее он не сглазил! — Тут кватэр, взявши ребенка,
 Рабби Азриэлю подал. Мальчик рослый и крепкий,
 Розово тело его как цвет распустившейся розы,
 Тихо лежит он на белой, вымытой чисто простынке...
 Осенью позднею солнце является так же порою:
 Клонится к вечеру день; снега над полями синеют;
 Падает солнце все ниже — и краем касается снега...
 Все приглашенные тесно столпились возле младенца.
 Было на лицах тогда ожиданье и святости отсвет, —
 Благоговейная тишь воцарилась у Пейсаха в доме.

III

Пир

К матери в спальню ребенок был отнесен торопливо.
Голос его раздавался по дому. «Клянусь вам, мальчишка
Умница будет: обиду снести он безмолвно не хочет.
И справедливо: ведь сразу всех собственных прав он
лишился».

Так прошептал Шмуэль-Буцу Матисья Сёмен, аптекарь.
К шумной и быстрой беседе опять возвращаются гости;
Снова наполнилась зала говором, спорами, гулом.
Вот, меж гостей пробираясь, и женщины в залу выходят:
Это родня и подруги счастливой роженицы Мирьям.
Вот на столы постелили чистые скатерти; вскоре
С ясным, играющим звоном явились графины и рюмки;
Стройными стали рядами они на столах; по соседству
Выросли целые горы: в корзинах, в серебряных чашах
Вдоволь наложено хлеба, сластей, орехов, оладей.
Все ощутили тогда в сердцах восхищенье. А Пейсах
Речь свою начал к гостям, говоря им с любезным приветом:
«Мойте, друзья мои, руки и к трапезе ближе садитесь.
Сердце свое укрепите всем, что дал мне Создатель.
Вот полотенце, кувшин же с водою в сенях вы найдете».
Так он сказал, и гостям слова его были приятны.
Все окружили кувшин и руки с молитвою мыли.
В залу вернулись потом обратно, и сели, и ждали.
Благословил, наконец, раввин приступить к монополюшке.
С медом оладью он взял, преломил, — и примеру благому
Прочие все подражали охотно, что очень понятно,
Ибо не ели с утра и голодными были изрядно.
Весело гости кричали: «Твое, реб Пейсах, здоровье!
Многая лета еще живи на благо и радость!»
Пейсах ответил: «Аминь, да будет по вашему слову.
Благословенье Господне над всем Израилем!» Вскоре
Пусты уж были корзины и чаши. Но тотчас на смену
Целая рать прибыла тарелок, наполненных щедро
Рубленной птичьей печенкой, зажаренной в сале гусином.

Вовремя повар печенку вынул из печи и в меру
 Перцу и соли прибавил, сдобривши жареным луком:
 Сочная очень печенка, и видом подобна топазу.
 Разом затих разговор; жернова не праздно лежали;
 Только и слышались звуки ножей да вилок. Но вот уж —
 Время явиться салату, что жиром куриным приправлен;
 В нем же — изрубленный мелко лук и чеснок ароматный.
 Небу салат был угоден: ни крошки его не осталось.
 Тут-то гигантское блюдо внесли с фаршированной рыбой:
 Окунь янтарный на нем, и огромная щука, а также
 Мелкая всякая рыба, нежная вкусом; иная
 Сварена с разной начинкой, иная зажарена в масле,
 И золотистые капли росой сверкают на спинах.
 Перцем приправлена рыба, изюмом, и редькой, и луком.
 Славится Мирьям своей фаршированной рыбой, — а нынче
 Варка особенно ей удалась, — и счастлива Мирьям.
 Рыбешка тает во рту и сама собою так нежно
 В горло скользит, а на вкус — приятней сыченого меда.
 К рыбе явились на стол, пирующих радуя взоры,
 Старые крымские вина и пара бутылок «Кармела»¹¹:
 Им угощали раввина, потом и других приглашенных.
 Все похвалили его. Когда же насытились гости,
 Снова вернулись они к беседам, и шуткам, и спорам.
 Шел разговор о ценах на хлеб, о плохом урожае.
 Шум возрастал, ибо каждый в Израиле высказать может
 Слово свое. О болезни Виктории спорили много,
 Об иностранных делах; добрались наконец до наследства
 Ротшильда; вспомнили Гирша и с ним колонистов

несчастных¹².

Шмерл, меламед, тогда возвысил громкий свой голос.
 (Родом он был из Литвы, но вольного духа набрался,
 Светские книги читая.) Он начал: «Вниманье! Вниманье!
 Слушайте, что вам расскажет меламед!» И тут описал он
 Злую судьбу колонистов, их бедствия, скорби, печали,
 Все притеснения, и голод, и горечь нужды безысходной.
 «Тверды однако ж они во всех испытаниях были.
 Взоры они обращают к Израилю: братья, на помощь!
 Красное это вино — не кровь ли тех колонистов? —
 Кровь, что они проливают на милых полях Палестины.

Взыщется кровь их на вас, когда не придете на помощь!
 Братья, спешите на помощь! Спасайте дело святое!
 Есть поговорка у гоев отличная: с миру по нитке —
 Голому выйдет рубаха!» — Такими словами он кончил.
 Бледно лицо его было, глаза же сверкали. Все гости
 Молча внимали ему, головами качая... Платками
 Женщины терли глаза. Умолк меламед — и тотчас
 Между гостями пошла в круговую тарелка для сбора.
 Звякали громко монеты в высокой Пейсаха зале,
 И тяжелела тарелка все более с каждым мгновеньем,
 И веселей становилось собрание: ведь каждое сердце
 Ближнему радо помочь. Ученый меламед от счастья
 Потный и красный сидел... Бородку свою небольшую
 Шебселэ молча щипал. (Из Польши он прибыл недавно;
 «Коршуном польским» у нас прозвали его, как обычно
 Каждый зовется поляк, когда не зовут его просто
 «Вором».) Но вот наконец произнес он: «Конечно, конечно,
 Шмерл — человек настоящий. Одна беда — из Литвы он.
 Что они там за евреи? На выкрестов больше похожи». Слово такое услышав, гости взглянули на Шмерла:
 Что он ответит? Мужчина ведь умный, к тому же меламед.
 Шмерл же в ответ закрывает глаза и сам вопрошает:
 «Шебселэ! Праотец наш, Авраам, не так же ли был он
 Родом литвак?» — «Авраам? Да постой: из чего ж это
 видно?»

«Вот из чего: *и воззвал к Аврааму он шейнис*. А если б
 Был Авраам не литвак, то *шейндле* воскликнул бы ангел»¹³.
 Шутка понравилась всем пировавшим, и много смеялись
 Гости, и так говорили, меламеда мудростью тешась:
 «Шебселэ, что ж ты молчишь? Отвечай меламеду. Что ж
 ты?»

Шебселэ им отвечает: «Пфе! Не стоит ответа.
 Только одно мне неясно, понять одного не могу я:
 Как это каждый литвак два имени носит? А если
 Нет у него двух имен, то тфилин наверно две пары,
 Или в Литве он оставил двух жен, не давая развода»¹⁴.
 Шутка понравилась всем пировавшим, и много смеялись
 Гости, весьма забавляясь словами Шебселэ. Только
 Шмерл побледнел чрезвычайно: грешки свои он припомнил.

Все же он гнев поборол и Шебселэ вот что ответил:
«Шебселэ, слушай и вникни. Понятно тебе, вероятно,
Слово легенды пасхальной¹⁵: зачем Господь Вседержитель
Ангела смерти убил? Ведь ангел-то прав был, — не так ли?
Ну-ка, подумай над этим!» Собрание воскликнуло хором:
«Ангел, конечно, был прав! Что хочешь сказать ты,
меламед?»

«Вот что», отвечает Шмерл — и речь свою так
продолжает:

«Прав был, конечно, и Бог, но во всем виновата собака:
Дескать, она-то права, — но кто ее просит, собаку,
Суд свой высказывать? Ей ли дано это право?» — Тут гости
Смеха сдержать не могли. А Шебселэ то покраснеет,
То побелеет... Ответить обидчику хочет... Но смотрит, —
Вот уж стоит перед ним тарелка вкусного супа.
Плавают в супе лепешки с горячей начинкой. Бульон же
Золотом так и сверкает расплавленным, жидким, — а солнце
Луч свой дробит в пузырьках, и жирные блески сверкают
Желтым и синим огнем. Совсем уж раскрыл-было рот свой
Шебселэ, чтобы ответить, — но тут почел он за благо
Парой лепешек его набить, лепешки смочивши
Ложкой бульона. И спор, начавший уже разгораться,
Сам оборвался внезапно. А гости сидят и вкушают
Суп, а за супом жаркое: кур, откормленных уток,
Сладкие крымские вина, — и шутят, и громко смеются.

Солнце уже опустилось, как сел Элиокум в повозку.
Тронулись лошади шагом; теперь уж они не спешили,
Ибо от выпитых вин ослабли Михайловы руки.
Кони брели напрямик, без дороги, по степи широкой, —
И Элиокум на кочках тяжелой кивал головою.

ВАРЕНИКИ

Идиллия

I

Редкое выдалось утро, каких выдается не много
Даже весной, а весна — прекрасна в полях Украины,
В вольных, как море, степях! — Но кто же первый увидел
Прелесть прохладного утра, омытого ранней росой,
В час, как заря в небесах, розовея, воздушно сияет?
Жавронок первый увидел. На крылышках быстрых он
взвился

В высь — и оттуда дождем просыпал певучие трели
И разбудил воробьев на крышах, дроздов на деревьях.
Солнце проснулось вторым; румяное, ликом пылает,
Стыдно ему, что оно запоздало, пора за работу:
Кистью слегка провести по цветку; золотистую пудру
Бабочке бросить на крылья; забытую струйку потрогать,
Чтобы чешуйчатой спинкой сверкнул проплывающий окунь;
Яйца лягушек согреть, пшеницы ленивые зерна
Поторопить — и пчелу разбудить лучом веселящим. —
Третьей старушка Гитл, вдова раввина, проснулась
И приоткрыла глаза. Лазурное, чистое небо
Синим повисло шатром. Едва пробившейся травкой
Выгон и поле сверкали. Покой надо всем простирался,
Храма пустого молчанье, — как будто сияньем и блеском
Поражены и земля, и небо — и сами дивятся
Чудной своей красоте... С нагретой постели поспешно
Старая Гитл поднялась, накинула платье и руки
Под рукомойником медным помыла. Тяжелый и толстый
Был рукомойник, старинный. Боками сверкал и сиял он:
Чистили часто его кирпичем толченым. (В подарок
Гитл получила его от покойницы-тетки. А тетка
Ей рукомойник на память в день свадьбы ее подарила...)
Шопот у Гитл на устах: молитвы свои ежедневно
Тихо читает она. Глаза же смеются, сияют:
Кажется ей, что сегодня природа улыбкой умильной

Встретила Гитл, и весь мир ликует обильной красою.
 Пестрый старухин кот услышал, что хозяйка проснулась,
 Жалобно жмется к ногам, и мяучит, и нюхает платье.
 Впалы бока у него, и ключьями шерсть вылезает:
 Время такое кошачье: что ночь — раздаются их вопли.
 «На тебе, старый дурак», — на кота проворчала старуха
 И, молока в черепок наливши, поставила на пол.
 Жадно лакал его кот, устав от ночных походов.
 Глядя на это, и Гитл внезапно в себе ощутила
 Точно такой аппетит. И явственно в нос ей ударил
 Вкусных вареников запах... Вареники с сыром, в сметане...
 Пар благовонный восходит над круглой горячею миской...
 И улыбнулась старуха сама над собою: с чего бы
 Это желанье у ней? — И стопы направила в погреб.
 Погреб ее на дворе. Там сыр и горшки со сметаной.
 Только спустилась она — вдруг лай услышала громкий
 И человеческий голос: «Пошел ты прочь, окаянный!»
 Э, да ведь это Домаха! А Сирка все лает и лает.
 Тут подымает Домаха свою суковатую палку.
 Видно, собачьей спине пришелся удар не по вкусу:
 Взвизгнувши, пес побежал, на трех ногах ковыляя,
 Хвост его между ног болтался, трусливо поджатый.
 Вышла из погреба Гитл, встречать нежданную «гою».
 «Доброе утро, Гитл». «С хорошей приметой, Домаха,
 Нынче встречаю тебя: в руке моей полная миска».
 «Мир тебе, Гитл» — и Домаха свой посох поставила в угол
 Маленькой комнаты той, что для Гитл служила и кухней.
 «Ну, а здоровье твое?» «Как видишь, Домаха, недурно.
 Медленно я прохожу свой путь по милости Божьей.
 Ты-то куда собралась?» «А в церковь, голубушка. Кстати
 Хлеба с собой каравай да кувшин молока захватила.
 Это отцу Василию: подарочек праздника ради».
 «Разве же праздник сегодня?» «А как же? И праздник
 хороший:
 Нынче Микола Малый, забыла ты? Ну, да и наши
 Многие нынче выходят по праздникам в поле. Пропала
 Вера в народе. К обедне — и то уж немногие ходят.
 Все старики, да старухи, насилу живые. Давно уж
 Силы не стало браниться с ребятами. Все озорные.

Глянь на него: ведь щенок! А скажи-ка, чтоб шел он
к обедне:

Сразу распустит язык: сегодняшний день, мол, такой же,
Как и вчерашний... Все хуже народ. И в церквах запустенье.
Входишь в ограду — там кто? Слепой, хромой да убогий.
Хмурая церковь стоит, а отец Василий — что туча.

Колокола зазвонят — как будто над церковью плачут...

Ну — и из ваших, положим, отступников тоже немало.

Тоже: трепное едят да жарят цыплят по субботам.

Помню, была я девчонкой: в субботу, бывало, все вымрет;

Дрожь по спине пробегала: так тихо и пусто на рынке.

Нынче же — стыд и срам: по субботам — продажа да купля.

Стыдно, ей-Богу, самой покупать у еврея в субботу...

Так-то вот, Гитля. А эти... Ну, — Залман хотя бы

к примеру:

Третьего дня приходил, овец продавать. А ведь праздник!

— Залман,— сказала я,— слушай: ужель ты надеешься вечно

Жить да и жить на земле? Аль вовсе о смерти забыл ты?

Что тебе скажет Господь? Аль суда ты Его не боишься?

Праздник ведь нынче! — А он — к моему обращается сыну

И говорит ему: — Грица! Отдай-ка ты нам свою матку,

Пусть она будет раввином! — Ведь вот что сказал,

безобразник!

Так-то... А что это, Гитля? Зачем тебе сыр и сметана?»

Ей со смущением Гитл отвечает: «Сама не пойму я.

Не было сил устоять: вареников так захотелось —

Просто беда! Говорят же в народе: что старей,

что малый...

Долго живет человек, а все дураком умирает».

В это мгновение до слуха донесся звон колокольный.

Палку схватила Домаха, и хлеб, и кувшин. «До свиданья».

«Путь счастливый тебе». — И гостя уйти поспешила.

— Правильно голя сказала, — подумала с грустью старуха:

— Хуже и хуже народ! Мы плохи — а дети подавно!

Залман-торговец... А сын мой? А Рейзелэ, внучка? О, горе!

Дай им здоровья, Господь, — а все-таки разве такими

Были когда-то мы сами, и деды, и прадеды наши? —

Думая так, со стены сняла она доску большую,

Сбитую прочно из липы слегка розоватых дощечек.

Да, настает-таки день: из гнезда выпадает ребенок.
Всякий прохожий к нему рукою своей прикоснется,
Грязью своей замарает; и тяжело, и грубо касанье
Чуждой руки. Такова ли родителей нежная ласка?
Рейзелэ славно цвела, весь дом наполняя весельем;
Песенкой солнце встречала, как жавронок, ранняя пташка;
К вечеру склонится солнце — и Рейзелэ глазки закроет,
Чтоб отдохнуть от дневного чириканья, пенья, плясання,
От обучения куклы молитвам, от игр на песочке...
Вскоре, однако ж, ее увезли из местечка далеко:
В город отец переехал. И лет через пять лишь старуха
Милую внучку свою опять увидала. Но что же?
В Рейзелэ Гитл не узнала прежнего птенчика. Только
Несколько быстрых мгновений в объятиях бабушки нежной
Слушала Рейзелэ голос минувшего. Но промелькнули
Эти мгновенья, и внучка прекрасные глазки раскрыла,
Словно безмолвным вопросом в старухино сердце глядела,
Чтоб разгадать это сердце, для Рейзелэ ставшее чуждым.
Видела, видела Гитл, что все изменилось, что даже
Сын ее — словно другой. Но глаза закрывала старуха,
Точно боялась она смотреть на все, что творится.

Тесто же стало меж тем на топаз индийский похоже.
Гладкую скалку тогда старуха взяла и по тесту
Крепко ей стала водить по всем направлениям, чтобы
Тесто свое раскатать широким и правильным кругом,
Чтобы его толщина повсюду была равномерна,
Чтобы нигде ни бугров, ни впадин на нем не осталось.
Вот уже тонко оно, как будто прилежным рубанком
Сглажено... Только порой упрямилось липкое тесто,
Цепко, упорно хватаясь за гладкое дерево; к скалке
Точно ласкалось оно, прилипая упрямо и прочно...
Долго с ним Гитл провозилась, умело с работой справляясь.

Минуло целых два года меж этим свиданьем и новым:
Вот уже внучка ее — гимназистка, в коричневом платье
Форменном. Узкие плечи и тонкая талия тесно
Схвачены платьем казенным, как будто бы мощной рукою.
В Рейзелэ все по порядку, по форме, по мере. Стесненно

Ручкою движет она по указу начальства. Поклоны
 Делать ее научили и взвешивать каждое слово.
 Книжка в руке у нее: сочинения Пушкина, в красном,
 Пышном таком переплете с тиснениями золотом. Книжка
 Рейзелэ строгим начальством дана «за успехи в науках
 И прилежанье». За книжкой весь день просидела девчурка,
 Стих за стихом нараспев, отчетливо, громко читая.
 Пламя в глазах у нее, и пламенем щеки пылают.
 Книжка была драгоценна и внучке, и Гитл. Ежедневно
 Рейзелэ книжку читала; когда же она засыпала,
 Пушкина ставила Гитл на полку, где прочие книги:
 Зéно урёно¹ и тхинос², что сложены Саррой бат Тувим.
 Сердце старухино, правда, ее укоряло за это, —
 Все ж оправданье она находила такому треф-пóсул³.
 Книга ведь эта была не то, что прочие книги
 Рейзелэ...

В эту минуту стакан достала старуха,
 Крепко его приложила к готовому тесту, нажала, —
 Словно отточенный нож, краями он врезался в тесто,
 И получился кружок, а потом и другие такие ж,
 Как близнецы, иль сосуды, по форме отлитые общей.

Клещи порядков и правил впиваются в душу ребенка,
 Сдавят ее — и по воле, которой противиться тщетно,
 Все бытие малыша в суровую форму втесняют.
 Вот уж душа у ребенка запугана, скомкана, смята
 Долгим и тягостным гнетом, готовым ее уничтожить.
 Все убывает она, как свеча под порывами ветра.
 Вот уже нет ее вовсе. Но некогда день наступает —
 Школу свою ученик покидает, и все его мысли —
 Мысли прочитанных книг, и душа его — тоже из книги.
 Смотрит на мир он глазами учителя. В гнете учебы
 Душу свою потерял он — на время...

Тут сыру достала
 Гитл, и растерла его, и в глиняной миске смешала
 С яйцами. Взявши потом немного этой начинки,
 Гитл положила ее на один из кружков, что стаканом

Были нарезаны. Сверху — таким же накрыла кружочком.
Тесто рукой по краям защипнула — и слиплись кружочки.

В школе ребенка душа за себя перестала бороться;
Все получила она из рук учителя чуждых,
Чуждым ученьем прониклась... Но время проходит, из
класса

В жизнь вступает она: родным и наставникам радость.
Но из-под гнета оков порой вызывает ребенок
Душу свою, и она сокровенною злобой, враждою
Вечною полнится к тем, кто ее заставлял поклоняться
Чуждым святыням. Но как же излить ей досаду и горечь?
Вот и влечется она ко всему, что мучители прежде
Ей запрещали так строго...

Но годы промчались, и к бабке
Рейзелэ девушкой взрослой в родное гнездо возвратилась.
Только веселья бывшего не стало в ней. Взор углубился
И опечалился. Молча сидела она и читала
Денно и ночью, пока керосину в лампе хватало.
И захотела старушка порадовать внучку. Из шкафа
Пушкина вынула Гитл. Но губы скривила в гримасу
Рейзелэ, так что старухе обидно за Пушкина стало,
Словно обида его ей в самое сердце кольнула.
И с огорчением Гитл поставила книгу на полку,
Рядышком с зено-урено и тхинос...

Еще не готовы
Были вареники Гитл, а там, на плите, уж кипела,
Пар воздымая, вода, — и в горшке пузыри клокотали.
Стала вареники класть в кипяток старуха — и в клубках
Пара сокрылись они...

Но залаял Сирка, и тотчас
Ясно донесся до Гитл мужской разгневанный голос.
Вышла старуха во двор и увидела там почтальона.
Рейзелэ почерк знакомый узнала она и, вернувшись,
С радостно бьющимся сердцем конверта края разорвала,
Ближе к окну подошла, чтобы видеть яснее... Но бледность,
Бледность смертельная вдруг лицо покрывает старухе.
Вот ухватилась она за край стола, чтоб на землю
Прямо не грохнуться тут же. Но вот — овладела собою,

Села на стул и читает... Строк десять, не более, было
В этом письме, но как много сказали старухе те строки!
«Я арестована, жду суда в Петропавловке». Значит...
Рейзелэ, значит, в тюрьме?... О, Рейзелэ, Рейзелэ!.. Боже!
Мнится старухе, что ближе, все ближе ужасное что-то...
Вот уже близко совсем — подошло, навалилось и давит.
Сил у нее не хватает от ужаса скрыться. А мысли —
Мысли бегут, обрываясь, тускнеют, мешаются, меркнут...
Села старуха и смотрит невидящим взором.

А солнце,
Теплое солнце весны, поднялось и залило светом
Поле, и лес, и луга. И луч на лице у старухи
Тихо играет; она же сидит неподвижно и слышит
Рокот и ропот воды, клочкотанье, бурление, — и видит
Пар над горшком, пузыри — и вареники в пене кипящей.

ПЕСНЬ АСТАРТЕ И БЕЛУ

Бел с Астартой! Песня вам!
Зычный филин! Змей из ям!
Воля к страсти! К жизни зов!
Выходите из низов,
Где полынь, где терн заплел
Кипариса ветхий ствол.
Всяк живой — восторг встречай,
Перед ним пути равняй!

Прочь из бездн, из темных ям!
Солнца светел путь и прям.
Пробудилось солнце вновь,
Отравляет хмелем кровь.
Старый хлеб иссяк, но в срок
Озимь гонит свой росток.

Солнце глянуло светло,
Солнце в бездну низошло, —
Птицей властвует порыв,
Птица птице шлет призыв.
Стаи кличут и летят,
Стая к стае, с рядом ряд,
Мчатся, вьются по кругам —
Вот уж пары здесь и там.

Крикни волку в даль степей:
«Вспрянь — и с болью счастье пей!
Встрепенись, как Бог рукой
Мощно схватит мускул твой,
Темных сил внемли завет, —
Древний ток минувших лет,
Слушай прошлого закон;
Полон тайн и мощи он,
Скрыт он в звере и в ростке,
Точно пламень в тайнике».

Человек, восторг встречай,
Светлый путь ему равняй!
Горсть пшеницы золотой
Брошу я в тебя рукой.
В зернах — тайна, в зернах — сок,
В соке — вечной жизни ток.
Тайна в дух твой западет;
Огонь в крови твоей зажжет...
Вспрянь, желай и будь силен:
В этом — мудрость и закон.

Взяв жену, иди в поля,
Там беременна земля:
Поколенья трав живых
Бьют ключом из недр земных.
Тайно в скалах и песках
Зреет новь и тлеет прах.
Жизнью тьма, как свет, полна:
Всюду Бела семена!

Глянь на запад и восток:
Всюду вод бурлящий ток
Полн зачатий и родов:
В шумном рокоте ручьев,
В море, сжатом между скал,
Там, где медленный канал,
Где капель поет, звеня, —
В бездне тьмы и в свете дня.

Тайна в дух твой западет,
Властной чарой обоймет, —
Ибо мудрость и закон:
Вспрянь, желай и будь силен!

СМЕРТЬ ТАМУЗА

И вот, там сидят женщины,
плачущие по Тамузе.

Иезекииль, 8 14.

Идите и плачьте,
О, дочери Сиона!
Сияющий Тамуз — он умер, увя!
Грядущие дни — это время ненастья,
И душ омраченных, и желтой листвы!

В поблекшие рощи,
Где черные ветви,
Спешите, спешите с восходом зари,
Туда, где безмолвствуют чары и тайны,
Где Тамузу-свету стоят алтари.

Какую же пляску
Мы Тамузу спляшем
Вокруг алтаря, взгроможденного ввысь?
Семижды направо, семижды налево,
И склонимся ниц, и воскликнем: «вернись!».

Семижды направо,
Семижды налево,
Всем за руки взяться и мерно ступать!
За отроком отрок, за девою дева,
Мы выйдем и Тамуза станем искать.

На тихих дорогах
Его мы искали,
Где солнце, и свет, и сиянье лучей,
Где сердцу так сладко в тепле и покое,
Где в воздухе стриж, а в пыли воробей.

Его мы искали
Меж тучных колосьев,
Где мак и терновник на тесных межах,
У берега ручьев, на лугах камышевых,
В зеленых и влажных шуршащих стеблях.

К реке мы спустились,
К земле плодоносной,
Минуя овраги, обрывы и рвы...
Ты, ястреб! Ты, голубь! Ты, ветер летучий!
Ответьте: не видели Тамуза вы?

Его мы искали
Меж грудями листьев,
В смолистых лесах за стволами деревьев.
Быть может, он спит в благовониях кедра?
Быть может, он дремлет под запах грибов?

Его мы искали —
И вот не нашли мы!
Спускаясь в долину, взбираясь на скат,
Искали мы тайну, искали мы чуда
В местах, что дыхание Бога хранят.

И рощи священной
Мы видели заросль,
И древо Ашеры спаленное в ней, —
И только птенцов мы слышали голодных,
Алтарь же — забытая гряда камней.

Его мы искали
В верховьях потоков
Где шепчут лишь духи, послушны волхву,
Где гнется камыш, шелестящий, хрустящий,
Иссушенный зноем, спалившим листву.

И нимфы исчезли
С лугов, и не слышен
Их голос и смех над вечерней волной...
Стал пастбищем луг, — и козлы к водопою
Несутся по травам, покрытым росой.

Идите и плачьте,
О, дочери Сиона!
Скорбящую землю увидите вы,
Скорбящую землю и сумрак бесчарный:
Сияющий Тамуз — он умер, увы!

ЛЕСНЫЕ ЧАРЫ

Вот оно! Восходит солнце! По долинам, по низам
Все еще туман клубится, прицепившийся к кустам.

Вот, качаясь, в высь взлетает. С озера сползает тень...
С непокрытой головою, брат, бежим — и встретим день!

По холмам и по долинам, потаенною тропой,
Там, где вдаль межа змеится, увлажненная росой!

Где цветами роз и лилий тесный мой усеян путь, —
С вольной песней, словно дети, мчимся, счастьем
нежа грудь!

В лес, к ручью! В хрустальной бездне ясный день
заблещет нам.
Рассечем поток студеный, станем бегать по пескам.

В лес! У леса — тайны, шумы, сумрак, шорохи теней,
Звуки темные, глухие, дебри спутанных корней.

Там от века дремлют камни; там покой и тишина,
Смутный шорох листопада, злых оврагов глубина;

Там на дне долины вьется с легким шелестом ручей;
Запоздалого побега там не видит глаз ничей;

Там нора косого зайца, гнезда ос в пустых дуплах;
Копошится крот на солнце, ястреб реет в небесах;

Вот — расщепленные буки, на стволах грибы сидят...
В буке — ласточки жилище, а в кустах таится клад.

Робко мышь глядит из норки... Груды хвои, муравьи...
Брошена прозрачным свитком кожа старая змеи.

Утром ястреб заунывно прокричит в пустую даль,
Ночью захохочет филин, пробуждающий печаль...

Запах листьев прошлогодних, сосен пряный аромат...
Там, в траве, семьею тесной подосинники сидят.

Боровик, валуй, масленок и пурпурный мухомор!
Здравствуйте, живите, будьте! Всех равно ласкает взор.

Жизнью тихой, жизнью смирной суждено вам здесь
прожить,
И болеть, и в чарах леса волховать и ворожить...

Молча внемлю звукам леса я, Адама сын немой:
Чуждый миру их, иду я одинокою тропой.

О, когда б цветов и злаков речь могла мне быть слышна,
И вела б со мной беседу благовонная сосна!

Верно есть, кто понимает говор листьев, шепот вод,
С недозрелой земляникой речи грустные ведет;

Кто целует, сострадая, расщепленный ствол сосны,
Кто поймет качанье дуба, шепот ветра, плеск волны;

Верно есть, с кем чарой ночи рад делиться скромный гриб,
Кто играет с водолюбом, что к пузырькам прилип;

Кто с улыбкой умиления смотрит на гнездо дроздов,
Глупой ящерице кличет: «Тише, берегись врагов!»

Есть же кто-нибудь, кто в скорби на себе одежды рвет,
Слыша, как топор по лесу с тяжким топотом идет!

Есть же холм уединенный духов и лесных дриад,
Где волшебным, властным словом чародеи ворожат.

Верно есть в глубокой чаще, весь в морщинах, царь
лесной, —
Словно дуба векового ствол, расколотый грозой;

На его густые кудри солнце льет лучи, чтоб жечь
Этот мох зелено-серый, ниспадающий до плеч;

Борода его — по пояс, мрачен взор из-под бровей,
Словно сумрака лесного темный взгляд из-за ветвей...

Верно есть меж тонких сосен легкий замок тишины,
Сладкий всем, кого томили жизни тягостные сны...

Верно есть лесные девы, быстрые как блеск меча,
Смутные как сумрак леса, легкие как свет луча.

Стан их гибок и прозрачен; удивленно-грустный взгляд —
Словно мотылек весенний, словно ручеек меж гряд.

В длинных косах, на одеждах — водяных цветов убор...
Их воздушным хороводом заплетен угрюмый бор

В те часы, когда над прудом виснет голубой туман,
А луна, бледна, ущербна, льет на землю свой дурман.

СВАДЬБА ЭЛЬКИ*

Песнь первая

Мордехай из Подовки

Пóд вечер реб Мордехай, зерном тоговавший в Подовке,
Сел на крылечке у хаты, обмазанной свежою глиной,
Скромно стоявшей в венках темно-красного перца. На
солнце

Перец сушился теперь. Служил он зимним запасом,
Как золотистые тыквы, подобные с виду кувшинам.
Шли по домам пастухи; чабаны овец погоняли
В шуме, в смятении, в гаме и в тучах поднявшейся пыли.
Мыком мычали коровы, телятам своим отвечая:
Тех отделили от маток хозяева, чтоб не ходили
Тоже на свежую пашу; и разноголосо и звонко
Блеяли овцы, ягнята; хозяева шумно скликали
Пестрый свой скот во дворы; с неистовым лаем собаки
Глупую гнали овцу, за быком непослушным бежали,
Ту загоняя к корыту, другого — в теплое стойло.
Так и звенело в ушах, и пылью глаза наполнялись.
Сел Мордехай на ступени, потея и мучась от зноя,
Как и от той суеты, что в доме его воцарилась
С самого первого дня, как просвтал он скромницу Эльку —
И зачастили к нему: то портной, то чумазый сапожник;
С этого самого дня в дому его силу забрали
Всякие там белошвейки, портники, модистки, кухарки, —
Всякая шушера, словом, (так зло Мордехай выражался).
Дочиста отняли мебель: и стол, и скамейки, и стулья.
Нечего и говорить о кровати, где можно бы сладко
После обеда вздремнуть; вся мебель пошла для раскладки
Кофточек, кофт, одеял, рубашек, материй и юбок,

* Текст этой поэмы воспроизводится по журналу *Беседа*, (№№4 и 5, 1924), выходявшему в изд. «Эпоха» в Берлине под редакцией Б.Адлера, А.Белого, Ф.Брауна, М.Горького и В.Ходасевича. — Ред.

Белых и пестрых накидок, и дорого стоящих платьев,
Капоров с разной отделкой, из кружев, из лент

разноцветных,
Также ночных и дневных чепцов (поскромней, понарядней),
Фартуков, простынь, чулок и сорочек с прошивками.

Взглянешь —
Там размахнулся рукав, там — другой; подолы да оборки
Заняли хату его, а сам Мордехай превратился
Просто в какой-то придаток к нарядам и тряпкам. Пропало
Все уваженье к нему — никто на него и не смотрит.
Кроме всей этой возни, — потому он лишился покоя,
Что обретался в гостях у него человек нестерпимый:
Меир, подрядчик, еврей, назойливый, нудный и скучный,
Всем надоевший давно бесконечным своим разговором.
Меир бубнил... Мордехай сидел неподвижно и слушал.
Так уж ему на роду, должно быть, написано было:
Сесть на крылечке и слушать подрядчика нудные речи.
Меир все мелет и мелет, бубнит. Мордехай притворился,
Будто внимает ему, стараясь поддакивать часто.
В скучные эти минуты чему Мордехай был подобен?
Крепости был он подобен, врагом осажденной. Траншеи,
Насыпи враг понаделал, дозорные выстроил башни,
Бьет из баллист, катапульт и тучами стрелы пускает...
Так-то сидел Мордехай, а подрядчик тяжелые камни
Бухал в него: «Закладная... протори... убытки...

взысканье...
Аукцион... прокурор... исполнительный лист...
казначейство...
Жалоба... копия... суд... защита... решение... вексель...
Пеня... повестка... расписка... доверенность...
постановление...
Суд... апелляция... пеня... указ... секретарь... ипотека...»
Съезжился весь Мордехай, а Меир палит не смолкая.

И невозможно сказать, до чего бы дошло это дело,
Если бы вдруг не пришло избавление неожиданное. Думал,
Думал уже Мордехай, что с Меиром сделать: подняться ль
Да и послать его к черту с отцом и с матерью вместе, —
Или спросить, — прочитал ли молитву вечернюю Меир?

Вдруг подошла его дочка, по имени Элька, невеста;
С теткою Фрейдой пришла — и речь прервалась посередине.
— «Ты это, Элька, откуда? И время ль теперь для гулянья?
Мать — насилу жива, от шмыганья ноги опухли,
Отдыху нет от хлопот о свадьбе твоей да нарядах»...
— «Брось», — ответила тетка (а Меир молчал: подавился
Камнем, который собрался метнуть): — «мы с кладбища
вернулись».

Звали на свадьбу мы тетю покойную, Этлю, с сестренкой
Переле. Как же иначе? Господь посылает нам свадьбу.
Плохо ли это? Таков, брат, обычай. Пусть знают. Наверно,
Радости Эльки они будут рады. И верно, на небе
Будут заступницы наши. Спасением и утешеньем»...
Знал Мордехай, что язык у Фрейды привешен отлично:
Сразу начнет с пустяков — и припустится: сыплет и сыплет;
В высь вознесется, потом насчет «Древес» и «Каменьев»¹,
Взор устремит во скончанье веков, — и крупным горохом
Кончит... Попал Мордехай из огня да в полымя. Только
Предупредил он несчастье, сказавши: «Голубушка, Фрейда,
Все это верно. Прекрасно, что вы не забыли усопших.
Надобно их пригласить. Да славится давший нам память!
После же ужина мы посмотрим списки другие:
Списки живых, приглашенных на Элькину свадьбу. Пожалуй,
Что-нибудь спутали мы, позабыли кого-нибудь. Как бы
Гнева не вышло, досады какой! их вовек не избудешь...
Ну, помолимся, Меир...» А после ужина вместе
Сели все трое рядком: Мордехай, и Элька, и тетя
Фрейда. (Жена Мордехая, хозяйка славная Хьена,
Все по хозяйству металась, ужасно спешила, и кругом
Шла у нее голова). На террасе сидели. Очками
Нос оседлал Мордехай и список держал приглашенных.
Имя за именем он с расстановкой читал и заметки
Вписывал сбоку. Читал он, — они же молчали и шили.
«Ну-с, Агайманы. Тут двое: Халецкий и старый Лисовский.
С давних времен мы друзья. Наверно приедут на свадьбу...
Каменка. Выходцы там из Добруджи живут, староверы —
Все огородники. Вот уж где хлеба-то много в амбарах!
Речка там — Конка, что в Днепр впадает. И в Каменке двое:
Циркин (горячка такая, что страх!) и Литинский (забавник,

Первый остряк — и родня мне). Наверно приедут на свадьбу...
 Вот я боюсь за Токмак! Там грязища, народ же — разбойник.
 Вдруг да письмо не дошло Кагарницкому Шмуэль-Давиду?
 Старый, давнишний приятель; наверно придет на свадьбу...
 Так: Лопатиха Большая. Богатое место. Винецкий
 Может оставить амбар: ведь в хедере вместе учились!
 Верный, истинный друг: наверно приедет на свадьбу.
 Вот и Большая Михайловка. Много в ней доброй пшеницы,
 Много и всякого люда. Так слушайте список, вникайте.
 Реб Мойсей Коренблит, с пятью сыновьями, конечно;
 Вольф Пятигорский, мучник, и Лейба Пятовский, как порох
 Вспыльчивый; Гордин, наш маскил² и сын его Яня;
 Литровник
 Яков; Серебреник Еся — хороший купец и процентщик.
 Все ведь приятели наши: наверно приедут на свадьбу!
 Скельки; сельцо небольшое, но славится медом и воском;
 Трое там: Бринь, да Хмельницкий, да милая тетушка
 Ертель.
 Вот уж друзья — так друзья: наверно приедут на свадьбу!
 Верхний Рогачик; ну, там — одни гончары да горшени;
 В списке: Хотинский Рефуэл да Бер Лебединский с
 Ципарским.
 Тоже друзья и родня: наверно приедут на свадьбу.
 Ну-с, а теперь Янчикра́к. Тут — Вольф Хациревич.
 Уж этот —
 Брата родного милее: наверно приедет на свадьбу.
 Дальше — село Белозерка, что «Малым Египтом» зовется.
 Здесь — Богуславские (двое) да жулик один, Лиховецёр.
 Все дорогие друзья: наверно приедут на свадьбу.
 Вот Серогозы, Подгаец. Село Маньчикуры: Литровник
 Залман, веселый бедняк, и Венгеров — великий законник.
 Это все люди свои: наверно приедут на свадьбу.
 Дальше идут хутора у Алешек (какие арбузы!)
 Значатся: Рейнов-заика; Ямпольский — ужасный мечтатель.
 Оба — родня и друзья: наверно приедут на свадьбу.
 Дальше — Каховка, село, известное ярмаркой славной:
 Оленов, старый невежда, — и Карп, вольнодумец изрядный.
 Тоже приятели наши: наверно приедут на свадьбу.

Так он сидел, разъяснял, отмечал и вычеркивал. Молча
К ним благовонная ночь глядела в открытые окна.
И собрались малютки — хасиды зиждителя мира:
Бабочки, мошки, жуки, комары, шелкопряды, поденки
В плясках и танцах вились над свечью в подсвечнике
медном.

Песнь вторая

Пятница, суббота и конец субботы

В пятницу, в день шестой, закрепили ворота, калитки,
В тучах поднявшейся пыли явились повозки да брички,
Все — к мордехасовой хате, а в бричках престранные вещи:
Будто и нет никого, лишь груды материй да платьев.
В грудах же прятались гости от солнца и пыли дорожной.
Только что грохот колес или топот коней донесется,
Или собаки залают — спешат уж и Фрейда, и Элька
С матерью (с ними — служанки) навстречу подъехавшей
бричке.

Зорик, облезший пес, наострит отвислые уши,
Мчится навстречу повозке, несется, из сил выбиваясь,
Словно вся жизнь от того зависит, и с яростью дикой
Брешет на крепких мужицких коней, рычит, завывает,
Скачет на задних лапах, пугливых девиц устрасая...
С гости снимаются пыльник, пальто, и башлык, и накидка.
После — вуаль и косынка — и видно теперь, кто приехал.
Тут начинаются крики, объятия, визг, поцелуи.
Стихнет — и снова начнется: возня, пискотня, щебетанье,
Охи, и вздохи, и слезы от радости... Вдруг затихает:
В хату впорхнули девицы — и к зеркалу прямо. Двенадцать
Девушек съехалось нынче потешиться счастьем Эльки.
Все из ближайших селений к субботе явились «цум
фершпиль».

Элька заранее всем приготовила им помещенья
В разных ближайших домах — у родных, у друзей, у соседей.
Девушек съехалось только двенадцать, из ближних селений,

Возле Подовки лежащих; другие с отцами своими
И с матерями попозже приехали, прямо на свадьбу.

В день седьмой, в субботу, с утра, поденщица гоя
Отколупала у печки всю глину, открыла заслонку
И осторожно достала поставленный с вечера кофий³.
(Так уж у Хьены велось: по субботам, для праздника, —
кофий).

Сели за кофий к столу лишь свои, домашние. С ними —
Только чернявая Геня, любимая Эльки подруга.
Наскоро выпили кофий, слегка закусили. Мужчины
Тотчас пошли к бет-медреш⁴, а девушки стол убирали:
Грязную сняли посуду и тщательно крошки стряхнули
Прочь со скатерти белой, украшенной пестрой каймою.
После отправились в сад, окружавший дом Мордехая.
Садик был невелик, три дорожки, и то не широких,
Но Мордехая он тешил: у прочих еврейских построек
Вовсе садов не бывает, дворы — точно лысое темя.
В садике фруктов не много, для дома — и то не хватает.
Все ж Мордехая приятно покусать собственных фруктов.
Принято было гостей водить по средней дорожке,
Прочие две огородом служили. Там справа и слева
Между деревьями грядки тянулись. На грядках — петрушка,
Лук и укроп ароматный, фасоль на высоких тычинах,
В сотне одежек своих — капуста, горох шаловливый,
Редька, морковь-каротель и хрен, вызывающий слезы.
Там же — подсолнечник, гордо глядящий на солнце,
и тыквы.

Что до деревьев, то чаще — ветвистые яблони, груши,
Но попадаются также багровые вишни; крыжовник
Тычет колючки свои, за одежду хватая прохожих;
Есть одинокая слива и белые две шелковицы.
Если ж по средней дорожке пройти до конца, то упруешься
В тесный большой полукруг постриженных желтых акаций.

Элька — невеста вела подругу милую Геню
Прямо в любимый свой угол, под старой развесистой ивой.
Густо в нем разрослись лопухов широкие листья,
В синих цветочках цикорий, крапива... Укромно и тихо.

Там и присели подруги. А Геня ласкается к Эльке:
«Ну, расскажи мне, Элька: красив твой жених?» — «Вот увидишь!» —

Элька ответила ей, и розы на щеках зардели.
«Что он тебе подарил?» — «Разумеется, серьги с браслеткой». —

«Ну, а ты?» — «Я — часы. И сшила для тефилин⁵ сумку: Бархат лилового цвета; на нем золотыми шелками, Щит Давида; кругом — жениха и отца его имя Бледно-зеленым шелком; подкладка внутри голубая; Шнур на завязки пошел розоватый с большими кистями». «Письма писал он тебе?» — «Ну, конечно, и сколько же писем!» —

«Ты отвечала?» — «Ну да. Учитель двоюродных братьев Письма мои сочинял, а я сама их писала». —

«Элька, ну, покажи мне, что пишет жених! Интересно!» —

«Геня, зачем? Твой жених напишет тебе — прочитаешь». —

Геня ласкается, просит: «Ну, дай мне прочесть...» Побежала Элька домой и вернулась, неся драгоценные письма.

Геня ее обняла, а та нараспев ей читает:

«Бог да воззрит на тебя и мир свой тебе да дарует.

Моей дорогой невесте:

«Вот получил я письмо, о радость моя, — и прозрели
«Очи мои, и развезлись зарею пред солнцем той вести,
«Что прочитал я в письме. Бесконечная радость разыграла
«В сердце моем и в утробе, узнавши, что ты здорова.
«Да увеличит Господь достоянье твое многократно,
«Дни он твои да продлит в приятности; если же будет
«Благо тебе — то и мне, и веселье твое — мне веселье.
«Словно широкоотекущий поток, напояющий злаки,
«Так же разыграл и во мне поток благотворного счастья
«Из-за письма твоего; напоят сердечные гряды
«Шумные токи веселья; и радости дух мой исполнен,
«Ибо я вижу, что ты мои упредила желанья
«Прежде, чем высказал я, — ты просишь писать постоянно.
«Сердца дух моего, раскинувши крылья, несется
«Тысячекратно воздать за твои дорогие подарки.
«Спросишь, пожалуй, откуда такая любовь, что подобна

«Ионафановой или Давидовой? Нет, дорогая!
«Ионафана или Давидова просто ничтожны
«Перед моею. Моя — не из тленного сделана сердца,
«Непреходяща она, и ее пребывание вечно.
«Все отрады земные поток времен уничтожит,
«Все они моли и тли достоянье. Вовеки пребудет
«Только моя любовь. Не коснется рука разрушенья
«Только моей любви, потому что она не возрастает
«Злаком земных полей, — но злаком верного сердца.
«Листья на ней не увянут, а стебель пребудет вовеки.
«Как опаленную землю смягчает промчавшийся ливень,
«Так на разумную душу разумные речи ложатся —
«И растопляют ее, как слиток в пылающем горне,
«Крепость ее изменяют, и сущность меняют, и даже
«Ненависть самую злую в безмерность любви обращают...
«Вот каковы, дорогая, поэзии сила и свойства.
«(Впрочем, из них я еще отнюдь не все перечислил).
«Вот почему и решил я: поэзии мудрые речи
«Каплями пусть упадают на душу моей нареченной.
«О, дорогая! Я верю: цветы красноречия смогут
«Сердце затронуть твое. И я знаю наверно, что путь твой
«Благочестив, что напрасно ты времени тратить не станешь,
«Руки сложа не сидишь... Посему, если только случится
«Встретить тебе человека, идущего к нашему граду, —
«Не откажись известить о своем драгоценном здоровье,
«Ибо все сердце мое о тебе в непрестанной тревоге,
«Письма же слаще вина и меня, и родителей тешат. —
«Так говорит твой жених, ожидающий писем. — И у д а».
Вместе с этим письмом пришла еще и записка,
Только родителям я читать ее не давала:
«Кроме того, дорогая, люблю я тебя в самом деле.
«Вот и пришло мне на ум, почему бы евреям не дважды
«Праздновать праздники все, чтобы дважды бывал и
шевуот, —
«Так, чтобы снова я был на празднике в милой Подовке,
«Снова бы видел тебя... Ведь душа истомилась. Вчера же
«Видел тебя я во сне. Говорят, это к счастью. — И у д а.
«Боже тебя сохрани показывать эту записку
«Матери или отцу».

Прослушавши, Геня спросила:
«Любишь ли ты жениха?» — «Про любовь ничего я
не знаю...
Слышу, как молится он, и душа у меня замирает.
Входит он — сердце дрожит, а взглянуть на него не
решаюсь.
Все говорят, что хорош он: учен, чернобров, да и ласков.
Сердце рвется к нему — а любовь... про любовь я не знаю.
Ты не знаешь ли, Геня?» — И розы на щечках зардели. —
«Впрочем, пора и домой: уж скоро вернутся с молитвы...
А про любовь я не знаю...»

Действительно, все возвратились
Из бет-медреша и ели: мужчины, а больше девицы.
Все же десятка два собралось за столом Мордехай.
После обеда взремнули, — а там началось и веселье.

С месяц уже Мордехай размышлял, и один, и с женою,
И совещался с друзьями: где лучше отпраздновать свадьбу?
Дома устроить? Так тесно, что места наверно не хватит
Всем приглашенным гостям. А можно сыграть и в амбаре,
Там, где ссыпают зерно; стоит он готовый, широко
Двери свои распахнув для принятия хлеба, и пахнет
Рожью, и с лета хранит он тепло в полумраке. Конечно,
Можно долой из него на время снять переборки,
Стены коврами украсить, навешать цветных занавесок,
Гладкий дощатый пол по случаю танцев обильно
Тальком посыпать... Другие в подобных же случаях строят
Новый большой балаган, покрытый широким брезентом
С медными кольцами. Есть за таким балаганом не мало
Важных заслуг. Не мало тогда Мордехай поразмыслил,
Взвесил, — и вот, наконец, балаган построить решился.
Вскоре пришли мужики, притащили кирки да лопаты;
Все обсудив хорошенько, глубокие, узкие ямы
Вырыли. В ямы двенадцать столбов, обструганных гладко,
Вставили: им предстояло служить опорой для досок,
Двум же еще столбам — косяками дверными. Все ямы
Плотно засыпали щебнем, а сверху землю, и крепко
Ручками тех же лопат старательно утрамбовали.
Доску к доске пригоняя, вязали бечевками прочно:

В ход не пуская гвоздей, одною бечевкой крепили.
Сверху стропила сходились — и вот, за медные кольца,
Гладко по ним растянули брезент надо всем балаганом.
Был он высок и просторен, а Элька с подругами тотчас
Стены закрыли коврами. Красивые бра со свечами
Были прибиты к столбам; четыре яркие лампы
Свесились там с потолка, — и все балаган одобряли.

Все же не в том балагане девицы устроили танцы,
А в Мордехаевом доме, по многим и важным причинам.
Залу очистили им, — и схватила подруга подругу,
И припустились плясать; танцевали весь день неустанно,
Вплоть до вечерней зари. А под вечер им подали ужин.
Все угощали девиц: и медом, и всяким печеньем,
Вплоть до коржиков мелких, посыпанных сахарной пудрой.
После же ужина пуше, сильнее разыгралось веселье.
Ловко схитрил Мордехай: не сказавши девицам, позвал он
Симху-жестянщика. Симха — хромым, да проворный. К

тому же

Неугомонный скрипач: и вот, он играл им на скрипке.
И веселились девицы: схватила подруга подругу,
Все заплясали с восторгом, гуторили, пели, болтали.
А на дворе собрались — и в открытые двери смотрели
То на плясавших девиц, то на коржики в сахарной пудре.
И во второй уже раз петухи отдаленно запели,
Сон и покой возвещая: петух петуху по соседству
Передавал эту весть; обошла она все переулки,
Улицы все, все село, — а все еще Симхина скрипка
Яростным визгом визжала, — а девушки все танцевали.

Песнь третья

Воскресенье

Ночь напролет проплясавши, проснулись девицы
поздненько.

Подали им и обед с опозданием: семья Мордехая
Очень была занята, «ученых» гостей принимая.
Был, как обычай велит, обед устроен для низших
Членов местного клира: для служащих при синагоге,
Для переписчика торы⁶ и прочих. Обедали также
Местный «еврей из погоста», кладбищенский сторож...

А с ними

Некий проезжий торговец еврейскими книгами. С водки
Начали; после же водки покушали жирного супу;
После — жаркое; компотом закончили: груши и сливы.
Т р и, как водится, б л ю д а. Деньгами же каждому выдал
Рубль серебром Мордехай, а жена его всем на прощанье
Разных сластей надавала — для деток, оставшихся дома.
Стало девицам в тот день еще веселее — явилась
Из Мелитополя к ним капелла, пять музыкантов:
Первая скрипка, вторая, да бас, да кларнет, а к тому же
Был барабанщик еще, который привез и «тарелки».
Главный был Мазик, Рефуэл. Насмешники так говорили:
Дылда, паршивый, дурак, да косой, да безрукий — а вместе
Для сокращения все это зовется капеллой. — Она-то
Из Мелитополя прямо сегодня явилась в Подовку,
Чтобы искусством своим веселить гостей Мордехая.
Весело Мазик вошел, поздоровался очень развязно,
Кстати, поклон передал от сватов из города: «Будут!»
Ловко ввернул в разговор, что они не обедали нынче.
Хьена намек поняла и капеллу за стол усадила.
Подали водки, закуски, компания в миг нагрузилась,
После чего разбрелась, помолившись. В тени, на крылечке
Скрипка, бас и кларнет легонько с часочек соснули.
Мазик пошел навестить старинных подовских знакомых,
А барабанщик один по дому слонялся, по саду,
Вышел на двор, наконец, — и по двору тоже слонялся.

Скучно тянулся весь день для девиц. Но лишь только стемнело, Мигом слетелись они в Мордехаеву залу и к Эльке. Тут-то веселье пошло! Чуть первая взвизгнула скрипка, Мрачно откликнулся бас, и нахально кларнет отозвался, И замурлыкала нежно вторая игривая скрипка. Но помирились потом — и вышла веселая полька, Полная неги и страсти. — Схватила подругу подругу, Пара за парой пошла, и целую ночь танцовали. То угощались, болтая, то снова и снова плясали.

А на столе красовались и сласти, и мед, и печенье,
Вплоть до коржиков мелких, посыпанных сахарной пудрой.
А на дворе собрались и в открытые двери смотрели
Парубки, бабы, дивчата... Теснились под окнами густо,
Шумно толкаясь в дверях и любуясь еврейскою свадьбой.

Музыки томные звуки, ласкаясь и нежась, носились
В теплой ночной тишине над мирно уснувшим селеньем.
Насторожились сады, зачарованы смутною тайной,
Медленно месяц катился высокой своею дорогой,
Нежно струя серебро на маленький прудик, на хаты.
То побелит он амбар, то светлым венцом увенчает
Стройных верхи тополей, погруженных в ночную молитву...
Звуки неслись по селу, за село, в шелестящие травы —
И далеко-далеко замирали над сонною степью.
И разудалый напев становился нежнее и мягче,
Грусть зазвучала в весельи — грустнее, грустнее, грустнее,
Точно и не было вовсе на свете другого напева,
Более праздничных звуков, чем вечно унылая песня.

Песнь четвертая

Понедельник

Мальчик, лет десяти, вестовой, — во дворе Мордехая.
Волосы всклочены густо; рубаха расстегнута; ноги
Голыми пятками бьют по бокам проворной кобылки.
«Едут!» — кричит вестовой: — «На семи подводах!»

Тотчас же

В десять мужицких подвод, припасенных заранее, люди
Быстро садятся, толкаясь, подводы битком наполняя.
Громко кричит Мордехай: «Музыканты, сюда! Музыканты!
Сваты! Где сваты? Скорее! А выпивка есть? А закуска?
Девушки! Ну же! Проворней!.. Извошки! Трогай!..» —

И разом

Десять мужицких подвод за ворота несутся со свистом,
Гомоном, топотом, гиком и щелканьем. Вот уж,

Быстро одна за другой понеслись, обгоняя, помчались.
Спереди — псы со дворов, позади — непроглядная туча
Пыли. Подводы несутся — встречать жениха дорогого.

В двух, примерно, верстах от Подовки, вдали от дороги,
Грустно средь ровного поля маячит курган одинокий,
Чахлой травой поросший. И траву его покрывает
Легкая серая пыль, а ветры землей засыпают.
Изредка бледный ячмень да колосья залетной пшеницы,
Выжжены солнцем степным, в траве попадают. Мнится,
Будто состарилась тут и трава — и печально, уныло
В ней седина показалась от долгой тоски по былому,
По поколениям былым, что промчались, как вешние воды,
И не осталось от них ни следа, ни рассказа, ни песни.
Что же ты, старый курган? И о чем ты над степью
тоскуешь?

Кто же насыпал тебя высоким таким и широким?
Что ты за тайну хранишь? Где те, что тебя насыпали?
Сном позабылись они — и сами всем светом забыты.
«Царской могилой» зовется курган, и к нему-то с дороги
Реб Мордехай и свернул, родню жениха поджидая.
Шумной, веселой гурьбой на курган побежали девицы,
Споря, кто раньше взберется. За ними степенно, неспешно,
Не забывая девиц понукать, подзадоривать шуткой,
Шли старики, отдуваясь. Взошли на вершину кургана,
Стали — и дикая ширь степная пред ними открылась
В грозной своей нагоде, опаленная пламенем солнца.
С самых древних времен, со времен мироздания, над степью
Дивная стелется тишь, пред которою речь умолкает.
Нет границ тишине, и нет предела простору,
Только объятья небес вдалеке замыкают пространство.

Пыль задымилась над шляхом, вставала, росла,
приближалась.
Вот уже в ней показались летящие быстро повозки,
Вот уже стали видны в повозках сидящие люди.
Вот повернули к кургану, все ближе и ближе. Капелла
Встречный грянула марш. Замахали, задвигались шумно
Те, что стоят на кургане, и те, что подъехали в бричках.

Свата приветствует сват, родные родных обнимают.
«Мазел-тов! Здравствуй, жених!» — «Эй, мазел-тов!
Здравствуйте, сваты».

Уж у подножья кургана разложена пестрая скатерть;
Вот уже солнечный луч купается в золоте винном;
Вот уж его теплота касается коржиков пухлых,
Булоч, кусочков мацы, крендельков и других угощений,
Звонкой стеклянной посуды, серебряных круглых
подносов...

Весело сваты друг другу кричат: «на здоровье! Лехаим!»
Пьют и едят старики, а за ними, жеманясь, девицы.
Как принялись за вино — не отстали, покуда ни капли
Больше его не осталось в посуде. Но только, пожалуй,
В нем и нужда миновала: без выпивки весело было.
Кончили все это пеньем, объятьями, радостным шумом.
Вот и целуются двое: товарищи с самого детства,
Вместе когда-то росли, и один их мучил меламед.
Рады друг другу они: «Ты, Яков, с чего поседел-то?»
«Сам ты с чего облысел?» — «Как дела?» — «А твои как
делишки?»

«Сколько детей у тебя?» — «А, ей-Богу же, разве я знаю?
Двое с матерью спят, один — со мной на кровати,
На оттоманке один, а другие ложатся в повалку:
Как же я их сосчитаю?..» — «Вот дурень!»... Вдруг —
танцы. «Скорее!»

И принялись танцевать под музыку славной капеллы,
Весело ей подпевая. Плясали с большим оживленьем,
Впрочем — мужчины одни. Девицы на них возроптали,
Стали со сватами спорить. Тогда и для них музыканты
Бойкую дернули польку — и девушки тоже плясали.
Не были так же забыты извошники: возле подводы
Сели они и сердца услаждали закуской и водкой.
Вздумал потом Мордехай послать мальчугана в Подовку,
Чтобы привез он вина, но ему не позволили. Снова
Стали садиться в подводы, чтоб ехать в Подовку, —
однако

Спутали все экипажи, и каждый как сел, так и ехал.
Мчались вовсю, торопили извошников, громко кричали,
Их лошадей погоняя, махая кнутами, стараясь

Между возниц возбудить благородное соревнованье.
Перекликались, шутили, кричали ура, баловались,
Много тут было забавы, и много приятного сердцу...
Так-то семья Мордехая встречала приехавших сватов.

Дом Мордехая кипел, как котел на огне, и ворота
Не запирались весь день — все новые гости являлись,
Этот — туда, тот — сюда, толкутся, приходят, уходят...
Сушая ярмарка, право!.. Когда же, совсем уж под вечер,
Сальные свечи зажглись в большой Мордехаевой хате, —
Снова туда собрались и друзья, и родные, и сваты,
Вновь закипело веселье; уселись в углу музыканты;
Вздумали-было девицы опять танцевать — да не вышло,
Сваты теперь одолели, отбили у них музыкантов:
«Нынче капелла за нами!» — И вот, до полуночи самой
Музыка им исполняла напевы хазанов⁷, отрывки
Опер, румынские песни... И все веселились и пили,
Сердце свое улаждая. Потом старики утомились
И разошлись восвояси: вздремнуть, отдохнуть. А девицы
Только остались одни — уже подруга схватила подругу,
Пара за парой пошла — и целую ночь танцевали.
То угощались, болтая, то снова и снова плясали.
А на столе красовались и сласти, и мед, и печенье,
Вплоть до коржиков пухлых, посыпанных сахарной пудрой.
И танцевали они, пока петухи не пропели:
«Третья стража идет! Скорей по постелям, Израиль!»

Песнь пятая

Вторник. Покрывание невесты. Свадебный вечер

День, в который Создатель два раза одобрил создание⁸,
Пеньем и музыкой начат. Пошли музыканты с бадханом⁹
К дому тому, где жених имел пребыванье в Подовке,
Чтобы устроить ему почетную встречу: «добрыдзень».
Музыки звуки услышав, со всех переулков и улиц
Стаей слетелись мальчишки и в миг окружили капеллу.

После бравурного марша и речи бадхана, капелла
Водкой себя подкрепила, покушала пряников сладких
И повернула обратно к невесте. С отчаянным криком,
Псов по дороге дразня, свистя, гогоча, кувыряясь,
Перегоняя друг друга, отряд босоногих мальчишек
До Мордехаевой хаты вприпрыжку скакал пред капеллой.
Тут-то она и невесте устроила громкий добрыдзень.
Элька, смущаясь, краснея, гостей оделяла сластями
И подносила вина — и лица у всех прояснились.

Осенью поздней, когда оставшимся на зиму пташкам
Голодно станет в лесу, они собираются густо
Возле гумна, где ловец для приманки насыпал им зерен.
Те подлетают и смотрят; другие — раскинувши крылья,
Прочь улетают и вновь возвращаются, крадутся к зернам;
То подлетает синица, то чиж, то щегленок, то зяблик,
То красношейка — и все-то пестреют своим опереньем,
Серым, зеленым, красным, коричневым, черным и
желтым...

Так собрались и девицы в просторной комнате Эльки,
Ярко одетые все, в пестреющих платьях и шарфах,
И далеко от девиц приятными пахло духами,
И торопливо подруги входили и вновь уходили,
В зеркало глядя, вертясь, поправляя друг другу наряды.

Солнце уже опускалось, когда появились девицы,
Словно весенний букет, рассыпанный кем-то. И Элька,
Тоже в нарядной одежде, с подругами пестрыми вместе
В новый вошла балаган, — вошла с лицом побледневшим.
Там ожидал уж бадхан во главе музыкантов — и громко
Он произнес нараспев:

«Невесты в честь дорогой,
Что так прекрасна собой, что блещет подобно заре
Иль как наш град на горе, и радует сердце родных
Как и подруг своих, и всем нам слаще вина, —
Музыка, грянь!.. Вот она!..»

И скрипка и бас загудели
Заторопился кларнет, замурлыкала скрипка вторая...
Бросились к Эльке подруги с объятьями. Тут суматоха,

Давка и визг поднялись, но прикрикнул бадхан — и затихли.
Танцы тогда начались, заплясали девицы-подруги
Польку, лансье и кадрили — и невеста среди них танцевала,
Бледная, ибо не ела с утра. Танцевала со всеми,
Не пропустив ни одной: таков уж обычай издревле.
Все-то обычаи знает разумница-Элька. Обидеть
Разве же может она хоть одну?.. Никого не забудет!..

Так-то они танцевали. Меж тем балаган наполнялся.
В новых нарядных одеждах, гуторя, толкая друг друга,
Новые гости вливались в широко раскрытые двери,
И наступила шумиха, веселая, дружная давка.
Очень уж много сошлось: тут вся ликовала Подовка.
Вся молодежь собралась, и старцы седые спешили,
Не говоря о родне и о детях, которых с собою
Матери взяли на свадьбу: тут были грудные младенцы,
Были и те, что постарше: стояли, в носу ковыряя,
И от голов их лилось благовонье миндального масла.
Брать же с собой ребятишек три важные были причины:
Первая — можно ли их оставить одних без призора:
Могут и «свет опрокинуть», и глаза и зуба лишиться.
Дальше: какая беда, если дети посмотрят на свадьбу?..
В-третьих: пускай и они покушают пряников сладких.
Словом — была кутерьма, веселая, дружная давка.
Много народу сошлось, и вся ликовала Подовка.
Как же!.. Еще ведь в субботу, в самой синагоге, на свадьбу
Фалек усердно и громко гостей созывал к Мордехаю.
Вот и сошлись, а за ними теснились в дверях балагана
Слуги, работники, дети, народ из окрестных селений.

Все еще дома жених. И к нему собираются гости
По одиночке, по двое — на пышный прием. Наконец-то
Завечерело. Тогда гостей ко столу пригласили.
Сел на почетное место жених. Начиненный изюмом
Желтошафранный калач стоял перед ним, — и топорщась
На калаче серебрилась, блистая крахмалом, салфетка.
Два посаженных отца уселись справа и слева.
Заторопился народ, занимая места, — и приятно
Сердце свое услаждал он вином, крендельками, закуской —

Всем, что лежало пред ним на серебряных мисках, подносах.
Только жених ничего не отведал: с утра он постился.
После того, как народ натешился трапезой общей,
Послано было об этом известие в дом Мордехая,
Для передачи бадхану. Бадхан, тишину водворивши,
Провозгласил громогласно, туда и сюда обращаясь:
«Женщины, свечи зажгите!.. Скорей!.. Торопитесь!..

Проворней!..

Живо!.. Невесту сажайте!..» — И женщины, с говором
шумным

Заторопились вокруг, забегали. Все суетились.

Гвалт, беготня, толкотня... «Для невесты очистите
место!..»

Жизнью отважно рискуя, как воин, бегущий из плена,
В праздничном платье зеленом, усеянном желтым горохом,
Галда, стряпуха, в толпе себе пролагала дорогу.
Гордо ступала она и казалась не меньше, чем сватьей
Со стороны жениха¹⁰. К балагану она приближалась
С белой высокой квашнею. И вот, посреди балагана
Галда квашню опустила — отверстием к полу. Подушку
Сверху она положила, покрыла ковром — и тогда-то
Тихим, размеренным шагом, с печальным величием на
лицах,

К этой квашне подвели посаженные матери Эльку.

Села она на подушку и белой фатою покрылась.

С грустью тогда окружили замужние женщины Эльку.

Каждая к ней подходила с зажженной свечью — и плача

Каждая ей расплела по косичке. (Заранее Эльке

Волосы все заплели во множество мелких косичек).

Сильный и громкий был плач; рыдали старухи, девицы,

Плакала очень невеста, обильные слезы роняя;

Дети слышали плач, увидали, что матери плачут,

И закатились, как водится; голосом грустным и слезным

Речь произнес и бадхан, на высокую став табуретку;

Тихо и грустно ему подпевали чуть слышные скрипки;

«Мир» разливался в слезах, над невестою скромной рыдая.

И говорил ей бадхан, и каждую заповедь строго

Ей наказал соблюдать, и смиренность учил, — но закончил

Все утешеньем. Замолк — и взыграла веселая скрипка,

Грянул оркестр — и весь дом охватила великая радость...
Так-то оплакали Эльку, разумницу, дочь Мордехая.

После этих обрядов, совместно с прекрасной капеллой,
В дом жениха поспешает бадхан — и не мало несет он
Важных даров от невесты: большой балахон полотняный¹¹,
И полотняный кушак; ермолку с красивым узором,
Что по атласу расшит серебряной ниткой, — и талес¹².
Пред женихом положил он все это — и словом серьезным
Речь свою начал; напомнил о святости истинной веры
И призывал к покаянью, на правильный путь наставляя.
В рифму бадхан говорил и все призывал к покаянью
Голосом грустным и слезным, — а скрипки ему подпевали.
И размягчились сердца предстоящих, и вспомнили юность.
Грусть воцарилась кругом, и многие слезы роняли,
Слушая слово бадхана. А кончил он все прибауткой.
Скрипка и бас вострепнулись и грянули маршем
бравурным...

Так-то бадхан веселил жениха Мордехасовой Эльки.

Кончил он речь, и поднялся жених, а потом и другие;
Очень большою толпой пошли к «покрыванию невесты».
Тихо жених между двух посаженных отцов подвигался,
Сзади же все остальные мужчины (ведь только мужчины
У жениха на приеме бывают). Тихонько ступал он,
Сердце же часто и сильно в груди колотилось. Однако,
Часто казалось ему, что биться оно перестало...
Кто она, девушка эта, прелестная девушка, взором
Светлым своим навсегда приковавшая сердце?.. Кто скажет,
Что его ждет впереди? Кто грядущую жизнь угадает?
Если в родителей Элька, то верное ждет его счастье.
Будем же думать, что так! О, милая, скромная крошка!..
И — заторопится сердце, и вдруг — замирает, замедляясь...
Так-то в раздумьи жених приближался уже к балагану.
Точно палаты царя, балаган деревянный сияет.
Куполом поднят брезент, занавешены стены коврами
С ярким цветочным узором, и многие лампы и свечи
Льют ослепительный свет, раздробленный в стеклянных
подвесках,

А на квашне посредине сидит под фатою невеста,
 Словно царевна среди раболепных рабынь. С покрывалом
 Бледный жених подошел, и губы его задрожали,
 Как произнес он: «Сестра, мириадами тысяч да будешь!»
 Это сказавши, невесту покрыл он. А тем покрывалом
 Занавесь торы служила — легчайшая ткань дорогая,
 Ярко-малиновый шелк, золотой бахромою обшитый.
 Встала невеста в тот миг, восточной подобна царевне
 Среди раболепных рабынь... И вправду ли это случилось,
 Или пригрезилось только? — в тот миг жениху показалось,
 Будто из длинных ресниц, бросающих темные тени,
 Брызнули в самое сердце две искры — и екнуло сердце...
 Но подросли девицы, подруги прелестной невесты,
 Хмель и ячмень в жениха полетели сияющим ливнем,
 Словно тот дождь золотой, что струится и блещет
 на солнце.

Тут, обращаясь к старухам, воскликнул бадхан: «Не
 оставьте
 Благословить жениха!» — и старухи ответили хором:
 «Бог вседержитель его да хранит! Да не знает нужды он
 В помощи смертных!...» И встала среди балагана невеста.
 К ней подросли на помощь, народ от нее оттеснили.
 Взвизгнула первая скрипка, вторая завторила. Еся
 Встал и гостям возвестил: «Начинается первая пляска».
 Женщин, пришедших на свадьбу, от юных до самых
 почтенных,

Голосом громким, протяжным одну за другой вызывал он.
 Все-то обычаи знает разумница-Элька. Обидеть
 Разве же может она хоть одну? Никого не забудет.
 Еся меж тем возглашает: «Почтительно просят и просят
 Добрую мать и жену, благочестьем известную миру,
 Милую бабушку Цвэтл, (да живет она многие лета!) —
 Просят ее танцевать! А! вот уж она выступает.
 Вот она! Шире раздайтесь! дорогу и ей, и невесте —
 Той, что и нас, музыкантов, щедротой своей не оставит!»

Грянули туш музыканты, и бал начался полонезом.
 Вышла почтенная Цвэтл, Мордехаева мать. Потускнули
 Старые очи ее, но приветливо смотрят на внучку;

Сгорблена бабушка Цвэтл, и морщинами щеки покрыты, —
 Все же от черных ресниц широкая тень упадает,
 Да изогнулись дугой бархатистые черные брови —
 Прежней, отцветшей красы последний остаток. Надето
 Черное платье на ней, старинного очень покроя:
 Черный, тяжелый шелк: уж такого не делают нынче.
 Бристтихл¹³ у ней на груди с золотым хитроумным узором,
 Вышивка редкой работы... На тощей старушечьей шее
 Крупный и ровный жемчуг, похожий на слезы ребенка,
 Семь подобранных ниток. Отличнейший жемчуг,
 голландский, —

Сразу же видно, что это не просто какой-то «еврейский».
 Так же и нить янтаря двумя золотыми струями
 Грудь украшает старухе, и с жемчугом брошь золотая.
 Серьги двойные на Цвэтл: изумруд — с изумрудным
 подвеском,

Необычайной игры. Но уж лучше всего и прекрасней,
 Точно блестящий венец на челе ассирийской царицы,
 Голову Цвэтл увенчал сияющий штернтихл¹⁴, который
 Черною бархатной лентой лежал на прическе; по ленте ж,
 Вправо и влево от пряжки, сверкавшей огнями алмазов,
 Были нашиты два ряда таких же алмазов — и камни
 Были чем дальше от пряжки, тем мельче. В таком-то
 наряде

Мудрая бабушка Цвэтл из толпы приглашенных навстречу
 Вышла счастливой невесте, прелестной скромнице Эльке.
 Музыка громко играла, захлопали гости в ладоши.
 Плавнo и тихо ступая, приблизилась бабушка к Эльке,
 За руку нежно взяла и трижды они покружились
 В круге веселых гостей — и захлопали гости в ладоши.
 Цвэтл возвратилась на место размеренным шагом, а Есель
 Снова уже возглашал: «Почтительно просят и просят
 Добрую мать и жену»... и так далее. Тут-то капелла
 Грянула музыкой снова, и мать жениха непоспешно,
 Плавнo и тихо ступая, любовно приблизилась к Эльке,
 За руку нежно взяла, и трижды они покружились
 В круге веселых гостей — и захлопали гости в ладоши.
 Мать жениха возвратилась размеренным шагом на место.
 После нее и другие замужние женщины с Элькой

«Первую пляску» плясали согласно обычаям старым.
 Плавню и тихо ступая к невесте они приближались,
 За руку ласково брали и трижды неспешно кружились,
 И возвращались на место размеренным шагом. А Есель
 Тотчас же к ним подходил, протягивал руки — и щедро
 Все одаряли его... Так «первую пляску» плясали.
 Вечер окутал уже таинственной тьмою селенье.
 Вышел жених, наконец, направляясь во двор синагоги.
 С хохотом, гомоном, визгом отряд босоногих мальчишек,
 Перегоняя друг друга, вприпрыжку скакал пред капеллой,
 Гроном могучего марша весь мир наполнялся, казалось.
 Тихо жених между двух посаженных отцов подвигался.
 Белый на нем балахон, подарок невесты, и кунья
 Шуба (она в рукава не надета, а только внакидку,
 Вследствие жаркой погоды). Веселой, но важной гурьбою
 За женихом все мужчины в приятных идут разговорах,
 А во дворе синагоги стоит уж готовая хупа¹⁵.
 Рядом — подовский раввин и кантор. Под шелковой хупой
 Встал с шаферами жених. За невестой вернулась капелла.
 Мелкие свечечки в небе зажгли, веселясь, ангелочки,
 Чтобы им было виднее, как шествует скромная Элька.
 Грянули маршем бравурным ретивые члены капеллы.
 Элька идет под фатой, посаженные матери — рядом.
 Элька не чувствует земли под ногами; не сами ли ножки
 Эльку уносят куда-то? Не слышит она и не видит,
 Как уж вокруг жениха ее обвели семикратно¹⁶.
 Слышен откуда-то милый надтреснутый голос раввина:
 «Благословен ты, Господь наш, Владыка вселенной».

Но Элька

Даже не помнит того, как надели колечко на палец.
 Не понимает она, как над ухом бормочет ей служка:
 «Вот тебе, дочка, кетуба¹⁷, храни, береги ее свято,
 Ибо женою не будешь, когда потеряешь кетубу».
 Милым и грустным напевом слова долетают до слуха,
 Сердце и душу волнуя каким-то неясным намеком...
 Радостный шум поднялся, как жених раздавил под ногою
 Винную рюмку¹⁸. Кричали: «Эй, мазел-тов! мазел-тов!»

Громко

Гости и гости шумели. Громами взгремела капелла.

Возгласы, слезы, объятья... И вот, новобрачные вышли
Под руку. Гости за ними. Направились в дом Мордехая.
Шумно родные невесты родных жениха обнимали,
Все веселились, плясали и с песнями двигались дальше.
Все-то обычаи знает разумница Элька. Глазами
Ищет она водоносов: кто вышел навстречу с водою?
Двое навстречу ей вышли: Савкó — водовоз и служанка
Гапка. Стоят на дороге и полные держат ведерки,
А новобрачные в воду бросают на счастье монеты:
Целый полтинник в ведро — и целый полтинник в другое.
Так возвращались они от хупы в дом Мордехая.
Хьена, Элькина мать, перед хатой просторной и белой
Встретила их на пороге с дарами. Одною рукою
Хьена большой каравай шафранный держала. Над хлебом
Пара зажженных сияла свечей, а другою рукою
Чарку с душистым вином держала счастливая Хьена.
В светлую хату войдя, новобрачные пили и ели:
Это был «суп золотой», им после поста поднесенный.

А в балагане меж тем уж опять заиграла капелла.
Девушки вышли плясать; обнимая друг друга, кружились.
И не успели еще отдохнуть от поста молодые —
Как уже стали опять собираться во множестве гости.
Их занимала родня Мордехая. Столы накрывали.
Женщины сели отдельно, мужчины отдельно. Уселся
Муж за столом для мужчин на почетное место, а Элька
Так же уселась за женским. Однако, столов не хватило.
К тем, что заранее были накрыты, прибавили новых.
Были закуски все те, что обычаи велит, — и во-первых
Сельди в оливковом масле и в уксусе; с краю тарелок
Ровным бордюром лежали оливки; с селедкой из Керчи
Сельдь астраханская рядом лежала; помимо селедок
Были сардинки, кефаль, золотой пузанок; а в графинах —
Водка, и мед, и вино, и пиво в зеленых бутылках.
Вдоволь тут было мацы, крендельков и различных печений,
Как подобает в дому богача. И с веселием гости
Сердце свое услаждали, усердно кричали: «Лехаим»,
Не забывая о яствах и устали как бы не зная.
Дочиста съели закуску, а музыка им исполняла

Цадиков нежные песни, напевы хазанов, романсы,
Песни цыган удалые, а также отрывки из опер.
После внесли в балаган благовонные рыбные яства,
Те, что слюну вызывают и запах далеко разносят.
Был тут отличнейший карп, украшенье днепроvской

стремнины,
Славно поджаренный с фаршем; и были огромные щуки,
Радость еврейского сердца, — острейшим набитые фаршем.
Не было тут недостатка и в рыбах помельче: был окунь,
Широкогрудый карась, и судак, и лещ серебристый.
И наслаждался народ, и все поварих похваляли.
И не отстали от рыбы, пока ничего не осталось.
Начисто рыбу прикончив, народ отдыхал, и тогда-то
Выступил Есель-бадхан, на высокую встал табуретку
И забавлял он гостей, и показывал фокусы. Просто,
Можно сказать, чудеса он проделывал. Юкелю-службе
Дал он кольцо — и исчезло оно, а нашлось почему-то
У Коренблита в густой бороде; он часы Мордехая
В ступке совсем истолок — а часы у Гейнова под мышкой:
Вот вам, целехоньки, ходят, футляр и цепочка на месте.
И удивился народ и ревел от восторга. А Есель
Взял у невесты платочек и сжег его тут же на свечке,
Даже и пепел развеял — и что же? Платочек в кармане
У Кагарницкого — вот он. И видел народ, и дивился,
Хлопал бадхану в ладоши. А дальше и больше. Велел он
Чтоб длинноносый Литинский чихнул. Тот чихнул,

а монеты
Так и посыпались вдруг из огромных ноздрей, где торчали
Ключья волос седоватых. Дивились — и били в ладоши.
Глупого Юкеля Есель позвал и сказал ему: «Юкель,
Хочешь тебя научу я проворной и легкой работе?
Хочешь фотографом быть? Повторяй же за мной все
движенья.

Вот прикоснусь я к тарелке, а после к лицу. Повтори-ка!»
Есель мизинцем провел по донышку мелкой тарелки,
После чего прикоснулся к румяному носу. И Юкель
Тоже провел по тарелке и по носу. Глядь — на носу-то
Черная линия. Есель провел по тарелке и по лбу,
Юкель проделал все то же — на лбу у него появилась

Черная линия. Притча! Не мало народ подивился:
Есель по-прежнему бел, а тот все чернеет, чернеет...
(Юкеля Есель провел: закоптивши дно у тарелки,
К ней прикасался он только мизинцем, никак не иначе, —
А по лицу проводил указательным пальцем). А Юкель
Мазал себя и чернел, а народ надрывался от смеха.
Юкель тарашил глаза, стараясь постигнуть причину
Этого хохота... Вдруг — появились огромные миски
С супом, и запах его по всему балагану разнесся.
Хохот мгновенно затих. Занялись изучением супа.
Очень хвалили его за навар, за чудесные клецки, —
Музыка ж громко играла, пока не покончили с супом.
Есель тогда подошел ко столу посреди балагана
И возгласил громогласно: «Дары жениху и невесте».
Вышел Рефуэл Хотинский с подносом и круглою чашей.
Их он поставил на стол, повернулся — и молча на место.
Поднял подарки бадхан, показал их народу и молвил:
«Дядя дарит жениху: знаменитый богач, всем известный,
Рабби Рефуэл Хотинский, Серебряный гадас¹⁹, а также
Чудной работы поднос!» — А музыка грянула тушем.
Вышел Азриэл Мощинский, тяжелых подсвечников пару
Молча поставил на стол, повернулся — и молча на место.
Поднял подарки бадхан, показал их народу и молвил:
«Друг жениха преподносит: известный богач, именитый
Рабби Азриэл Мощинский. Старинных подсвечников пара,
Чудной чеканной работы!» — А музыка грянула тушем.
Так-то один за другим подходили и клали подарки
Гости, родные, друзья. Дарили, смотря по достатку,
Золото, утварь, кредитки, хрусталь, серебро, безделушки.
Только уж после того, как закончились все приношенья,
Подали слуги жаркое, и запах приятный разнесся
По балагану волною. И каждому подали гостю
(Без исключения всем!) по куску ароматного мяса.
Ел, насыщался народ и обильно вином услаждался.
Только родные невесты за стол не садились ни разу,
Ибо служили они приглашенным гостям, угощая,
Напоминая о водке, о мясе, о разных приправах,
Зорко следя, чтоб вина достаточно было в графинах:
Все, как обычай велит, чтоб не вышло обиды иль гнева...

Так-то венчальный обряд справляла семья Мордехая.
 Только слегка подкрепилась капелла закуской и водкой, —
 Вот уже встала невеста среди балагана, готовясь
 К танцу кошерному. В ручке держа белоснежный платочек,
 Элька стоит, смущена, лицо от стыда наклонила.
 Темную, темную тень ресницы бросают на щеки.
 Грянули туш музыканты, и бал начался полонезом.
 С места поднялся раввин реб Рефуэл, и медленным шагом
 К Эльке приблизился он, и рукою взялся за платочек;
 Важно, степенно они три медленных сделали тура,
 Весь обходя балаган, — и хлопали гости в ладоши.
 Кантор, рабби Эли, в атласной одежде, поднялся;
 К Эльке приблизился он и рукою взялся за платочек;
 Важно, степенно они три медленных сделали тура,
 Весь обходя балаган, — и хлопали гости в ладоши.
 Третьим отец жениха, реб Ице, поднялся неспешно;
 К Эльке приблизился он и рукою взялся за платочек;
 Важно, степенно они три медленных сделали тура,
 Весь обходя балаган, — и хлопали гости в ладоши.
 После, один за другим, и другие почтенные лица
 Делали в точности то же — и хлопали гости в ладоши.
 Так-то у Эльки на свадьбе был танец кошерный исполнен.
 После мужчин припустились замужние женщины в пляску.
 Грянула фрейлихс²⁰ капелла — веселый, причудливый
 фрейлихс.

За руки гости взяли и в лад музыкантам запели.
 Начали медленно, плавно, а кончили бешеной бурей.
 Мчались, кричали отставшим, насильно тащили сидящих —
 И разыгралось веселье... И вдруг молодая исчезла.
 Снова мужчины пошли танцевать — и за фрейлихсом —
 фрейлихс

Так и гремел в балагане. Проснулся дурак-барабанщик
 И разошелся: гремел, тарахтел, оглушая нещадно
 Звоном тарелок своих, — а люди, подвыпив, плясали,
 Звали, тянули друг друга и вслух подпевали капелле.
 Вдруг новобрачный пропал... А люди все пляшут и
 пляшут...

Этот сидит и поет, другой ударяет в ладоши —
 До истощения сил, до обильного пота... Танцуют,

Передохнут, подкрепятся за дружеской легкой беседой
Или за спором о текстах — и снова: за фрейлихсом
фрейлихс.

Вскоре веселье дошло до предела. Когда же напитки
Сделали дело свое в душе Мордехая — встает он,
Кличет жену свою, Хьену: «А ну-ко-ся, сватушка, выйди.
Ну-ка мы спляшем с тобой. Пускай поглядят молодые».
Тянет он за руку Хьену: «Эй, фрейлихс! Живей, музыканты.
Пляшет жена моя Хьена!» — Жена, застыдясь, увернулась:
— «Что ты, старик, одурел? Вишь, разум пропал у еврея».
— «Если не хочешь со мной, я пожалуй один протанцую!
Ну-те-ка мне казачка, музыканты! Да с чувством, с запалом!
Место, почтенные, мне!» — И гости очистили место.
Длинные фалды свои подвернул Мордехай расторопно,
Взвизгнула первая скрипка, тарелки залязгали часто,
И загремел казачок, разудалый, веселый, проворный.
Руки фертom изогнув, Мордехай поглядел на собрание,
Крепко притопнул ногой — и легчайшим полетом понесся.
То пролетал он по кругу, локтями гостей задевая,
То застывал он на месте и дробь выбивал каблуками,
То разводил он руками, как будто в любовной истоме,
То разлетался опять — и носился в каком-то забвении.
Люди стояли вокруг, восхищались и били в ладоши.
И пробудились опять петухи и зарю возгласили.

Песнь шестая

Среда, четверг, пятница, «веселая суббота»

Сильно в тот день заспались евреи в счастливой Подовке.
Встали поздненько, а вставши, бродили сонливо и вяло,
Точно осенние мухи, которых морозомхватило —
И неподвижно они повисают на стенках и стеклах.
Грустно стоял балаган опустелый. Мальчишки копались
В грудах вчерашнего сору.

Одни лишь девицы порхали
Из дому в дом, от подруги к подруге. Порой заходили
К Эльке они посмотреть, к лицу ли парик ей²¹. Капелла
Тоже явилась попозже, и с нею бадхан. Инструменты
Были настроены. Тут полилась безутешным напевом
Чудная, нежная песня — печальная «Песня разлуки».
Все собрались в кружок: Мордехая служанки и слуги,
Скромницы-Эльки подружки, зашедшие в эту минуту.
Слезы стояли в глазах: уж очень красивая песня.
Вновь получила капелла вино, угощение, закуску,
Села в готовую бричку и стала усердно прощаться,
Очень довольная всем, потому что не малую плату
Ей заплатил Мордехай, не обидели также и гости.
(Хоть и сказал Мордехай, что на нем все расходы за танцы,
Гости однако желали платить хотя бы за фрейлихс,
Ибо приятно же слышать, как Мазик рычит, что такой-то,
Сын такого-то рабби, вельможа, богач знаменитый,
Нанял и платит за фрейлихс для всех именитых евреев).
Свистнул возница, рванули ретивые кони, помчался
С лаем обшмыганный Зорик, и тень побежала за бричкой.
Солнце полудня стояло средь синего неба, на землю
Ярко струило свой блеск, собираясь склоняться на запад.
Вскоре накрыли на стол в Мордехаевой зале просторной.
Сели к столу молодые с ближайшими только друзьями.
Элька была в парике и сидела с достоинством, словно
Много уж лет пребывала в замужестве. Слушала важно,
Важно сама говорила, как людям степенным пристало,
Только на щечках ее румяные розы пылали.
Впрочем, несколько лет парик ей как будто прибавил.
С радостью сваты глядели на юную пару. Былое
Припоминали они, говорили друг с другом о прошлом.
Чуждое всякого шума кругом разливалось веселье.

Тихо тот день проходил, и вечер прошел молчаливо.
Было совсем уж темно, как сошлись Мордехаевы гости
Вновь за обильным столом, установленным яствами тесно.
Начали с шуток, острот, а кончили шумным весельем —
И до полуночи так засиделись. Одни лишь девицы
Разом куда-то исчезли: уж их по домам разослали,

Ибо иссякла мука, припасенная к свадьбе, и хлеба
Не было больше, — и значит, на разные вкусные вещи
Шесть с половиной мешков Мордехаем истрчено было.

Стали в четверг по домам разъезжаться: пора.

Большинство же,
Впрочем, осталось еще до исхода «веселой субботы».
Много веселия было тогда в Мордехаемом доме.
Весело дни проходили и краткие ночи. В субботу
Шествием важным и чинным вели молодых в синагогу.
Там молодого почтили торжественным выхоном к торе²².
Не был забыт Мордехай: за него особенно молились,
И Мордехай с молодым пожелали пожертвовать много
В пользу своей синагоги — к немалому счастью клира.
Сваты же скромницу Эльку с парадом вели в синагогу,
Там усадили ее на место старухи-раввинши;
Молча сидела она, не молясь, — и сияла, как солнце²³.

Снова большой балаган наполнился шумом и гамом,
Снова большие столы скатертями накрыли; подносы
Ставили с разной едой, и блюда и тарелки с закуской.
Много тут пряников было, и разных печений, и водки,
Ибо с вечерней молитвы в тот день прихожане Подовки
Не разбрелись, как всегда, по домам, а зашли к Мордехая:
Женщины, дети, мужчины, — вся община в полном составе.

Быстро вечерние тени сгустились и мир полонили,
Темную ночь навели; во дворе Мордехая возницы
Ждут запоздалых гостей, но те не спешат разъезжаться,
Ждут «прощального борща» — и борщ закипает
в кастрюлях,
Распространяя вокруг благовонный, наваристый запах.
Тихо прохладная ночь мировой проходила пустыней,
Тихо все было вокруг, лишь долго над темною степью
Слышался топот коней и скрип дребезжащих повозок: —
То по домам возвращались усталые гости и сваты.

Так-то справляли в Подовке веселую, славную свадьбу —
Так выдавали там Эльку, разумную дочь Мордехая.

ЯКОВ ФИХМАН

(1881-1958)



Хожу я к тебе ежедневно,
Признание сорваться готово...
Но нет: не сказалось ни разу —
И будет ли сказано слово?

Хожу я к тебе ежедневно,
Как нимбом — увенчанный счастьем.
Когда ж возвращаюсь — мерцает
Звезда мне унылым участьем.

Так счастье цветет ежедневно:
Увяло — и вновь заалело...
Хожу я к тебе ежедневно,
А ты и не знаешь, в чем дело.

МОЯ СТРАНА

О ты, страна моя, насыщенная морем,
Страна безмолвных гор и величавых туч,
Струящих вечности и тайны свет священный,
Скользя по белизне твоих отвесных круч.

Я принял всю тебя: и скорбь твоих усталых,
Прохлады жаждущих, испепеленных жнитв,
И мрак пещер твоих, где сладкий хлад покоя
Встречает беглецов, презревших ярость битв.

Ты вся моя. Люблю песков твоих неярких
Струенье нежное на берегу морском
И алость пышную цветов, что теплым утром
Трепещут, как сердца, под легким ветерком.

Впервые предо мной ты на заре открылась
В унылой наготе холмов — и вся была
Как слабая душа, что жаждет избавленья —
Как пламя, скорбь твоя мне сердце обожгла.

В тебя поверил я. Припав к земле, я слушал
Песнь сердца твоего. На каждый холмик твой
Усталую главу доверчиво склонял я,
Из камня каждого священный пил покой.

Никто не ведает про то, что мне шептали
Твой каждый кустик, терн в расщелине скалы,
Когда, волнуемый печалью странно-древней,
Я брел долинами в часы вечерней мглы.

Когда душа дрожит пред щедростью Господней,
Как сладок ветерок твоих святых ночей!
Как сердце веселит усталому скитальцу —
Среди пустынных гор напев твоих ключей!

Мать-родина! Ты нам — как мореходам гавань.
В тебе конец пустынь, покой и мирный сон.
К твоим горам бредут от всех пределов мира
Скитальцы всех времен, наречий и племен.

В плодах твоих долин — какой избыток пышный!
Как мягко шелестит в ручьях твоих вода!
Как одиночество вершин твоих прекрасно!
Как сердцем волен тот, кто добредет сюда!

ЗАЛМАН ШНЕУР

(1889-1959)

ПОД ЗВУКИ МАНДОЛИНЫ

(Отрывки)

И з п е с е н И з р а и л я

Воины Божьи

О, пой еще, пой мне еще, дочь Рима!
Огонь твоих перстов пусть перельется в звуки,
Пускай поет, как если бы запело
Мое немое сердце...

.

Так! Пой еще! Зачем с недоумением
Глазами черными ты смотришь на меня?
Иль не узнала ты меня, — ты, внучка
Тех, кто страну мою и храм мой растоптали?
Я иудей... я внук зелотов¹ древних!
Вглядись — и ты в глазах моих заметишь
Сверканье глаз Симона бар-Жиоры.
Еще горит во мне вся ярость Иоханана,
Что головы дробил твоим бойцам,
Взбравшимся на башни Гуш-Халава...

.

Забыла ты или не знаешь вовсе,
Что нас с тобой одно смуглило солнце,
Что море общее лизало в дни былые
Моей страны нахмуренные скалы
И родины твоей утес береговой?..

Предательское море! Не стыдилось
Оно на вспененных горбах своих валов
Нести плоты сидонские, что предки
Твои похитили! Оно влекло покорно
Сионских пленников, высоких, юных, смуглых,
Чтоб на глазах изнеженных матрон
Они сражались в цирках со зверями
И «Ave, Caesar, morituri te salutant!»
Кричали, скрежеща зубами, изнывая
От жажды мщения... И те же волны
Переносили в Рим прекрасных, страстных дев,
Сестер Юдифи, Руфи, Саломеи,
Чтоб для своих мучителей они
На мельницах трудились, как рабыни.
Безжалостное море! Гневным шквалом
Оно моих врагов — твоих победных предков —
Не потопило: помогло украсть
Мой гордый семисвечник, символ Бога,
Чтоб украшал он чуждые чертоги,
Чтоб обнаженные блудницы оправляли
Его светильни...

.....

Рука моих зелотов не отмстила
За честь моих сестер, за кровь героев.
Но в семьдесят раз дух мой отомстил.
Не победил народ, — но победил мой Бог!
И нет страны, где б не излил мой Бог
И кровь мою, и дух, и прелесть Галилеи.
Священной книги нет, чтоб в ней не уловил я
Шум Иорданских вод иль эхо гор Ливанских.
Где храм и где дворец, в которых не звучат
Псалмы Давидовы, глаголы Моисея?
Где холст, где мрамор, медь, что нам не говорили б
На вечном языке ожившей плоти
Об откровениях и светлых снах пророков,
О творческой росе в сказаньях Бытия,

О грустной осени в стихах Екклезиаста,
О буйном вертограде Песни Песней?
Мой творческий во всем лучится свет,
Во всех плодах земли — души моей дыханье —
Как тонкий аромат этрога. И народы
Им дышат, им, не ведая того!
Я перцем стал в устах иных народов —
И в этом вечное отмщение мое!

Голус²

...Я царский сын. Взгляни ж: от ветхости истлела
Моя, давно скитальческая, обувь,
Но смуглые нежны еще ланиты —
Востока неизменное наследье.
В глазах — какая грусть, и сколько в них презренья!
В моей глубине все океаны тонут,
И слезы все — в одной моей слезе.
Все реки горестей в мое впадают море,
И все-таки оно еще не полно.
В котомке у меня такие родословья,
Какими ни один вельможа похвалиться
Не может никогда. И многие народы
Обязаны мне властью, величием,
Победами, богатством, славой царств.
Здесь на пергаменте записаны долги
Слезой и кровью моего народа.
Здесь Саваоф писал, и Моисей скрепил.
Свидетелями были — твой Спаситель,
Пророк Авраам и все провидцы Божьи.

.

Я — пасынок земли, вельможа разоренный —
Как я потребую назад свои богатства,
С кого взыщу сокровища души?
По всем тропам, по всем большим дорогам

Напрасно я искал себе путей.
В ворота всех судов стучался я: никто
Награбленных не отдает сокровищ.

.

И видел я:
Во прахе всех дорог, в грабительских вертепах,
В потоке всех времен и в смене поколений
Разбросаны сокровища мои.
И с каждым шагом видел я: в грязи —
Вся сила духа, что досталась мне
В наследие от многих поколений;
Из храма каждого мне слышен голос Бога,
Из леса каждого звучит мне песня жизни, —
Но слушать мне нельзя, на всем лежит запрет.
В высоких замках, утром озлащенных,
В окошке каждом, где горит огонь,
Моих героев вижу, вижу предков, —
Моей страны, моих надежд осколки, —
И все они, увы, чужим покрыты прахом,
Все в образах мне предстают суровых
И с чуждым гневом смотрят на меня.
И даже к их ногам упасть я не могу,
Чтоб лобызать края святых одежд,
Благоухающих куреньями...

Я видел:

Хоть я еще живу — раб духа моего
И мудрости моей стал господином.
А знаешь ты раба, который господину
Наследовал? Земля дрожит под ним,
Когда он воцаряется. Вовеки
Мне не простят рабы своих воспоминаний
О грязной луже той, где родились они.
Мой каждый шаг напоминает им
Их низкое рожденье. Древний путь мой —
Зерцало вечное их преступлений.
Знак Каина на лбу у всех народов,
Знак подлости, кровавое пятно
На сердце мира. И глубоко вьелся

Тот страшный знак, и смыть его нельзя
Ни пламенем, ни кровью, ни водою
Крещения...

.

Презренье, горделивое презренье
Рабам рабов, вознесшимся высоко!
Покуда сердце бьется, не возьму
Их жалкой красоты, законов их лукавых
За свитки, опороченные ими.
В упадочном и дряхлом этом мире —
Презренье им! Презрению моему
Воздайте честь: оно в моих мехах —
Как старое вино, сок сорока столетий.
Очищено оно и выдержано крепко,
Вино тысячелетнее мое...
Отравятся им маленькие души,
И слабый мозг не вынесет его,
Не помутясь, не потеряв сознания.
Не молодым народам пить его,
Не новым племенам, не первенцам природы,
Которые вчера лишь из яйца
Успели вылупиться. Чистый, крепкий,
Мой винный сок — не им... Но ненависть ко мне
Бессильна выплеснуть его из мира...

Презрение мое! Тебя благословляю:
Доныне ты меня питало и хранило.
Меня возненавидел мир. Он избавленья
Не признает, которое несу я.
И вот, от жажды бледный, я стою
Пред родником живым. Расколотое, пусто
Мое ведро. Мной этот мир отвергнут
С неправой справедливостью его.
И если сам Господь, отчаявшийся, древний,
Придет и скажет мне: «Я стар, Я не могу
Тебя хранить в боях, сломай Мои печати,
Последний свиток разорви, смирись!» —
Я не смирюсь.

И на Него ожесточился я!
И если будет день, и смерть ко мне придет,
Смерть безнадежного народа моего, —
Тогда, клянусь, не смертью жалких смертных
Погибну я!
Вся мощь моей души, все тайное презренье
В последнем мятеже зальют весь мир.
На лапах мощных мой воспрянет лев,
Сей древний знак моих заветных свитков...
Венчанную главу подняв, тряхнет он гривой,
И зарычит
Рычаньем льва, что малым, слабым львенком
Похищен из родимой куши,
Из пламенных пустынь, от золотых песков
И ловчим злым навеки заточен
На севере, в туманах и снегах.
Эй, северный медведь, поберегись тогда!
Счастлив тогда медведь, что в темноте берлоги
Укрылся — и сопит, сося большую лапу.
Коль Божий лев умрет — умрет он в груди трупов,
Меж тел растерзанных его взметнется грива!
Вот как умрет великий лев Егуда!
И волосы народов станут дыбом,
Когда они узнают, как погиб
Последний иудей...

К солнцу

... Ты — пой... Давно мои забыли сестры
Напевы солнца, спелых гроздей, влажных
Чаш лотоса, напевы гордых пальм,
Что рвутся из земли раздольным кликом жизни.
Забыта ими песня о свободе
И песнь зелота, что роняет лук,
Обвитый локоном возлюбленной... В унылых
Напевах севера, в часы чужих веселий,

В кругу врагов, возжаждавших изведать
Любовь Востока, — смуглые мои
Танцуют сестры. Пляска вьюг — их пляска...
Ты, чуждая, будь мне сестрой! Спаси
Песнь моего Востока. Как ручей,
На севере она заледенела
И носится, как ветер непогоды,
Взывающий в трубе. Горячий звук
Твоих напевов слушать я пришел
От низкорослых сосен, мхов и воробьев,
От торфяных болот, пустых, бесплодных, черных,
От снеговых степей, безбрежных, как тоска
Стареющего сердца... Я пришел
Из северной страны, страны, что вся — равнина,
Где вьюга и туман навеки поглощают
Весь жар любви, весь лучший сердца жар,
Все чаянья, всю власть и чару песен.
Что человек там может дать другому?
Там с утра дней моих я слушал по дворам
Напевы осени, томительные песни,
Летевшие из хриплых труб шарманки.
Там утра серые, там рос на крышах мох,
И пресмыкаясь, песня мне сулила
Убожество души и тела, вечный ужас —
И ржавчиной мне падала на сердце...

.
Рукою прашуров твоих рассеян я,
Скитание меня сюда приводит.
Все дальше от Востока страны те,
В которых шаг за шагом умираю.
Вот, я слабею, в жилах стынет кровь,
Кипевшая когда-то верой в Бога
И песней Вавилонских рек. Мое презренье,
Питавшее меня, питаемое мною,
Презренье господина, что своим же
Гоним рабом, — оно уж иссякает.
Священный огонь, таившийся, как лев,
В моих священных свитках, — с дня того,

Как уголья на алтаре погасли, —
 Слабеет. Лишь один еще пылает клочок
 Его багряной гривы. Год за годом
 Я примиряюсь с севером, в его туманы
 Я падаю, чужой болею болью,
 Живу чужой надеждою... Моя же
 Боль притаилась. Горе, горе мне!
 Одно лишь поколение — и, как труп,
 Закоченею я...

.

Что мне до той страны, — мне, отпрыску Востока?
 Мои глаза давно уже устали
 От ослепительных равнин, покрытых снегом.
 В былые дни мои летели взоры
 Над благовонными холмами Иудеи, —
 Теперь они томятся над бескрайним
 Простором черных, выжженных степей.
 Тысячелетия тому назад
 Мои стопы привыкли к раскаленным
 Пескам пустынь, к обточенным волною
 Камням на берегу родного Иордана, —
 И вот среди лесов, сырых и мрачных,
 Они в болоте мшистом погрязают.
 Моя душа летит к Востоку, к солнцу,
 По солнечным лучам мое тоскует тело,
 И каждая мне ветвь, кивая, шепчет: «К солнцу!»
 Пока еще я жив, вновь обрету его,
 Прильну молитвенно к полусожженным злакам,
 К подножью гордых пальм, сожженных этим
 солнцем,
 К желтеющим волнам пустынного песка.
 И кровь моя вскипит и с новой силой крикнет:
 «Возмездия! Суда!»
 И жизни ключ, заledenевший в стуже,
 Прорвется вновь потоком вешних вод,
 И загремит порывом новой воли.
 Сон о Мессии, злую тьму поправшем,
 Вновь станет, как лазурь, и светел, и глубок,

И если гибелью грозит мне возвращенье
На мой забытый, пламенный Восток —
С меня довольно, если это солнце
Меня сожжет, как жертву,
И ливни шумные размоют остов мой...
Так! Лучше пусть моею кровью скудной
Напьется хоть один цветок Востока,
Пусть в бороде моей совет себе гнездо
Ничтожнейшая ласточка Ливана, —
Чем удобрять собой просторные поля,
Морозным инеем покрытые — и кровью
Моих невинно-убиенных братьев!

ДАВИД ШИМОНОВИЧ
(1886-1956)

ПОСЛЕДНИЙ САМАРЯНИН

Спотыкаясь, он блуждает от скалы к скале,
Он последний. Тайна смерти на его челе.

Вот уж сумрак безглагольный никнет над пустыней.
Горы темные покрыты мглой туманно-синей.

Вот коснулся луч заката впалых, бледных щек.
Вот в зрачках зажегся хладный, быстрый огонек.

На песках пустыни желтых молча видит он
Бурь минувших начертанья, письма времен.

Глядя вдаль, он бродит в скалах, сгорбленный и хилый.
Горы там Эйвал и Гризим: предков там могилы...

Там орел раскинул с клетком вольных два крыла.
Не увидит самарянин гордого орла.

Будет ночь, взметнется буря, вихрь пустынь заплачет —
Там не быстрый самарянин на коне проскачет.

На горах пастушья песня зазвенит с зарей,
Но внимать не самарянин будет песне той.

Будет вечер — свет и сумрак. Внуку в назиданье
Передаст не самарянин древнее сказанье.

Сядет девушка на камне. Загрустит она.
Но увы, не самарянин грусти той вина.

В зимний дождь покроет горы мрак фатой широкой,
Будет дом стоять промокший в скорби одинокой.

Налетев, открытой дверью ветер застучит,
Жалобно коза проблеет, птица прокричит.

Летом — пышный виноградник ветви опускает.
Не споев в нем виноградарь, нож не засверкает.

Грозья вытопчет шакалов яростная стая, —
Их не встретит самарянин, лук свой напрягая.

Отзвук песни самарянской не замрет меж гор.
Никогда уж не увидит человека взор,

Как счастливый самарянин девушку целует,
Как тяжелый меч свой точит, как порой тоскует...

Вот, он бродит, спотыкаясь, от скалы к скале,
Он последний. Тайна смерти на его челе.

Из ущелий потаенных всходит сумрак синий.
Письмена столетий меркнут на песках пустыни.

НА РЕКЕ КВОР

*«И я среди переселенцев
на реке Квор».*

Иезекиль, I, 1.

То было месяца начало:
В Ниссон переходил Адор.
Холодный ветер веял с гор.
Дрожала ветвь, в окно стучала,
Прося приюта у людей,
Храня побеги молодые,

Как мать, родящая впервые...
А ветер дул, гонясь за ней...
На западе, сквозь дымку тьмы,
Тускнея, медь еще сияла
И хладным светом обливала
Чужие, черные холмы...
И с холодом в душе пустынной
Смотрел я: неподвижен Квор...
Тянулся молча вечер длинный,
В Ниссон переходил Адор...
Со всеми, кто ушел в скитанье,
Бреду и я в чужой простор.
Луна, бледнея, льет сиянье
На спящий мир, на тихий Квор...
Под круглой, мертвенной луной
Белеет чайка без движенья,
И два крыла в оцепененьи
Мерцают мертвой белизной.
Труп чайки по реке плывет!
Навеки! Не сверкнут зарницы,
Волна, запенясь, не плеснет!
Навеки!.. Я смотрю вперед:
Белея, по реке плывет
Лишь чайки труп, труп легкой птицы!
Со всеми, кто ушел в скитанье,
Бреду и я в чужой простор, —
И без конца, без упованья
Твой вечный берег длится, Квор!
Безжизненно, беззвучно годы
Проходят, быстро дни летят, —
По гравию не шелестят
Твои медлительные воды...
А сверху белая луна,
Не падая, не подымаясь,
Висит. Давно мертва она.
И вдруг я понял, содрогаясь:
Мы все мертвы! Здесь нет живого!
Куда идем и для чего?
Довольно звука одного,

Довольно оклика ночного —
И все исчезнет от него,
Растает, как ночная мара...
Но тщетно я кричать хотел:
Мой голос умер... Я смотрел:
Там мертвецы, за парой пара,
Идут, идут... И черный Квор
Не зыблется меж черных гор.

АВРААМ БЕН ИЦХАК
(1883-1950)

ЭЛУЛ В АЛЛЕЕ¹

Свет воздушный,
Свет прозрачный
Пал к моим стопам.

Тени мягко,
Тени томно
Льнут к сырым тропам.

В обнаженных
Ветках ветер
Протрубил
В свой рог...

Лист последний,
Покружившись,
На дорожку
Лег.

ИЦХАК КАЦЕНЕЛЬСОН

(1886-1944)

РОДИНА

Положи ты руку на глаза мне,
Семь раз быстро-быстро закружи...
«Где теперь страна твоя?» скажи —
И к Востоку протяну я руку.

Как нежна рука твоя, подруга!
Кружится и никнет голова,
На ногах стою едва-едва, —
Но Восток — вон там! Смотри же: там он!

Ты, сестра, ждала, что ошибусь я,
Что на запад променяю я
Мой Восток и что рука моя
Юг тебе укажет или Север.

Милая, ты любишь эти страны?
Эти страны нравятся и мне.
Но в ответ на зов к родной стране
Ты зачем мне говоришь о чуждых?

Вот, представь, что ты в моих объятьях,
Что молитвенно душа твоя
Льнет ко мне — но непрерывно я
Восхваляю женщину другую.

Я еще страны моей не видел,
Но когда б к моим родным полям
Был я вдруг перенесен — я там
Ничего б нежданного не встретил.

Знаю я, когда сегодня солнца
Из-за гор проглянет первый луч,
И когда края скалистых круч
Заблестят вечерними огнями.

Знаю я, когда там ливни льются,
И когда прозрачны небеса,
И когда цветы поит роса
В тихой расцветающей долине.

Милая! Спроси — и я отвечу,
Много ль было меду в этот год,
Сколько молока теперь дает
Тучный скот на пастбищах Басана.

Погляди: там пыль столбом клубится.
С Гилеада сходит стадо коз...
Влажный ветер тайну мне принес:
Их пастух один в горах остался.

Слыша в скалах голос: «Милый, милый!» —
Знал пастух: его там дева ждет.
Дойных коз он отослал вперед,
И в горах остался со свирелью:

Ночи там, в стране моей, прохладны.
Если бы не девушки тех гор,
Не огонь их уст, не жгучий взор —
Ночевать в горах пастух не стал бы.

Может быть, я завтра же уеду.
Но, покинув здешние края,
Навсегда про них забуду я —
И забвенью сердце будет радо.

Может быть, расстанемся мы завтра.
Милый друг, чтоб памятной мне быть,
Чтоб не мог я и тебя забыть —
Ты пиши в страну мою родную.

ПРИМЕЧАНИЯ

〈В.Ф.Ходасевича〉

〈Все объясняемые слова даны в подлинниках и воспроизведены в русской транскрипции В.Ф.Ходасевичем в ашкеназийском (восточно-европейском) произношении — при нем ударение падает, как правило, на предпоследний слог. Дополнения редактора даны в ломаных скобках.〉

С. ЧЕРНИХОВСКИЙ. — В знойный день.

1) Тамуз — название месяца, соответствующего приблизительно нашему июлю.

2) Реб — сокращенное «раввин»: учитель, господин.

3) 〈Маане Лошон —〉 Молитвенник.

4) 〈Хедер —〉 Народная школа, где обучают древне-еврейскому языку и закону веры.

5) 〈Миньян —〉 Десять человек, число, необходимое для совершения публичного богослужения.

6) 〈Минха —〉 Послеполуденная молитва.

7) 〈Урим и Тумим —〉 Предметы символического значения, употреблявшиеся при богослужении. Велвелэ думал, что это названия каких-то местностей. 〈Урим и Туммим — жребии, с помощью которых первосвященник времен Первого храма возвещал оракулы. Имелось три формы ответа: да, нет и молчание. Помещались жребии в эфод, нагрудной детали облачения первосвященника из шерсти и виссона. Ко времени Септуагинты значение и смысл этих символов были уже утрачены.〉

8) 〈Меламед —〉 Учитель в хедере.

9) Хай векайом — живущий и существующий, — одно из определений Бога, «Ступай и кричи хай векайом» — народное выражение: ступай и кричи караул.

10) Мешулох — посланец. Уполномоченный сборщик для палестинских учреждений.

11) Празднество, устраиваемое ежегодно в Мироне, в Галилее, на могиле талмудического ученого равви Симона бар-Иохаи.

С.ЧЕРНИХОВСКИЙ. — Завет Авраама.

1) *Гацефура* — Газета на древне-еврейском языке. <Выходила еженедельно в 1862, затем в 1874-1906 в Варшаве и Берлине.>

2) Могель — лицо, совершающее акт обрезания.

3) День, роковой в истории еврейства. 9-го Ава совершился над ними ряд бедствий. Здесь имеется в виду последнее из них: взятие Иерусалима римлянами, в 70 г. нашей эры. Когда римляне, разбив войска иерусалимских повстанцев, подходили к городу, в нем начались партийные распри. Умеренные склонялись к переговорам с победителями, но были свергнуты непримиримой партией zelотов, продолжавшей оборону, уже, впрочем, безнадежную.

4) В 1897 г. состоялся в Базеле первый конгресс деятелей политического сионизма, т.е. движения, направленного к национальному возрождению еврейства в Палестине. Около того же времени началась деятельная сионистская агитация, выражавшаяся как в пропаганде сионистских идей, так и в попытках заселить Палестину еврейскими земледельцами, ремесленниками и промышленниками.

5) *Ахад Га-Ам* (дословно: единый народ) — Псевдоним У.И.Гинцберга, еврейского писателя, пользующегося большим авторитетом. Выступая противником политического сионизма, как течения, казавшегося ему преждевременным, Ахад-Гаам тем не менее горячо призывал к духовному возрождению и объединению нации.

6) Реб Лейб с обязанностями резника (лица, уполномоченного общиной убивать животных, предназначенных для пищи) соединяет обязанности кантора, т.е. певца в синагоге.

7) Моисей Монтефиоре (1784-1885) — еврейский филантроп, много потрудившийся для облегчения правового и имуществ-

венного положения евреев в Англии, России и Палестине. Барон Мориц Гирш (1831-1896) — знаменитый богач и благотворитель.

8) Сандок — лицо, на руках у которого находится ребенок во время обрезания. Быть сандоком очень почетно.

9) Кватэр и кватэрин — кум и кума. Кватэрин, внеся ребенка в комнату, передает его кватэру, а тот в свою очередь сандоку.

10) Шехина — одно из имен Бога; оно может быть истолковано как словесное выражение отношения Бога к миру и Израилю и означать пребывание Бога среди народа, Его вседесущность, благоволение и т.д. Иногда, впрочем, Шехина рассматривается как самостоятельное существо, стоящее между Богом и миром, как начало связующее и предстательствующее.

11) <«Кармел» —> Вино из виноградников, возделанных еврейскими колонистами в Палестине.

12) Начало еврейской колонизации Палестины, несмотря на громадные суммы, предоставленные Ротшильдом и Гиршем, было весьма неудачно. Многие колонисты погибли жертвою турецких преследований, нищеты, голода, болезней и проч.

13) <шейнис... шейндле... —> Игра слов. В Библии (Быт. 22, 15) сказано: «И вторично воззвал к Аврааму ангел...». Вторично по-древнееврейски «шейнис». Но в Литве есть женское имя Шейне, от которого прилагательное притяжательное — «шейнис». В Польше это же имя произносится Шейндл, а прилагательное — «шейндле». Острота меламеда в том, что библейское наречие он рассматривает как современное прилагательное, которое и оказывается произнесенным с л и т о в с к и м выговором. Из этого он, шутя, заключает, что Авраам был «литвак», а не «поляк», иначе бы ангел, обращаясь к нему, сказал на польский лад: «шейндле».

14) <Тфилин —> Кожаные коробочки, со священными текстами внутри, снабженные ремнями и возлагаемые во время молитвы на лоб и левую руку. «Две пары» тфилин — шуточный намек на ханжество.

15) Речь идет о легенде, читаемой за вечерней трапезой в первые две ночи праздника пасхи. Содержание легенды вкратце таково: хозяин купил козочку, но кошка ее съела. За это собака съела кошку, но палка убила собаку, огонь пожрал палку, вода

залила огонь, бык выпил воду, резник зарезал быка, Ангел смерти зарезал резника, а Господь — Ангела смерти, ибо каждый из них, начиная с собаки, был прав в своем суде, но самое право суда принадлежало не им.

С. ЧЕРНИХОВСКИЙ. — Вареники.

1) <Зéно урёно... тхинос...> Молитвенники для женщин. <По небрежности переводчика или издателя, сноскам ¹ и ² основного текста соответствует лишь одно примечание, помеченное: ¹ и воспроизведенное нами. Оно не совсем точно. Зено Урено — точнее: Цено Урэно, дословно: пойдите посмотрите (женск. род) — женская книга для чтения, упрощенный пересказ Пятикнижия, Песни песней, Екклесиаста, Плача Иеремии, Книги Руфи и Книги Эсфири. — Тхинос — молитвенник на идиш, для домашнего пользования.>

2) <треф-посул...> Светская, недозволенная книга. <Точнее: вообще нечто сомнительное. Сноске ³ в основном тексте соответствует воспроизведенное нами примечание Ходасевича, помеченное: ².>

С. ЧЕРНИХОВСКИЙ. — Свадьба Эльки.

1) Т.е. говорит много и выпренно.

2) Т.е. человек «европейской складки».

3) В пятницу готовится вся пища на субботу; затем печь замазывается глиной и открывается в субботу. Так как работать в субботу нельзя, то делает это прислуга «гоя», т.е. христианка.

4) Молитвенный дом.

5) Кожаные коробочки со священными текстами внутри. Во время молитвы они надеваются на голову и на левую руку.

6) В синагогах Библия читается только по свиткам, писанным от руки на пергаменте.

7) Хазаны — канторы, синагогальные певчие.

8) В сказании о сотворении мира о вторнике дважды сказано: «Увидел Господь, что хорошо»... Об остальных днях по одному разу.

9) Бадхан играет на свадьбе роль скомороха и распорядителя.

10) «Сторона жениха», т.е. его родные, — на свадьбе являются господами положения и стараются не уронить себя.

11) Полотняная рубашка с отложным воротником и широкими рукавами. Впоследствии муж берет ее с собой в могилу.

12) Одежда, надеваемая во время молитвы.

13) Нечто вроде широкого воротника или нагрудника.

14) Род повязки, проходящей по лбу.

15) Балдахин, под которым венчают.

16) Прежде, чем поставить невесту рядом с женихом, ее обводят вокруг него семь раз.

17) Брачная запись.

18) Это делается в воспоминание о падении Иерусалима.

19) Сосуд для пряностей, которые нюхают в субботу после известных обрядов.

20) Веселая круговая пляска.

21) Как замужняя женщина, она уже ходила в парике.

22) Вызываемый читает отрывок из торы. При этом на него, или на то лицо, какое он укажет, призываются благословения. Потом вызванный жертвует на синагогу.

23) В первую субботу после свадьбы молодая не молится.

3.ШНЕУР — Под звуки мандолины.

Вся поэма обращена к итальянской уличной певице, отдаленные предки которой, римляне, положили конец существованию еврейского государства.

1) О зелотах см. прим.3 к Идиллии «Завет Авраама». Симон-бар-Жиора — один из вождей zelотов, взятый в плен и казненный в Риме. Иоханан бен Закай, один из высших ревнителей веры и государственности, был тайно выведен из Иерусалима во время осады. Впоследствии он основал школу в гор. Ямнии, ставшем местопребыванием синедриона и центром иудаизма.

2) Голус — рассеяние, расселение еврейства по другим странам (диаспора).

Д.ШИМАНОВИЧ. — На реке Квор.

1) Адор — март, Ниссон — апрель (приблизительно).

АВРААМ БЕН ИЦХАК. — Элул в аллее.

1) Элул — сентябрь (приблизительно).

ПРИЛОЖЕНИЯ

АЙДЕССКАЯ ПРОХЛАДА

Очерк жизни и творчества В.Ф.Ходасевича

...в кликушестве моды его заслоняют все школы (кому лишь не лень): Маяковский, Казин, Герасимов, Гумилев, Городецкий, Ахматова, Сологуб, Брюсов — каждый имеет ценителей. Про Ходасевича говорят: «Да, и он поэт тоже...». И хочется крикнуть: «Не тоже, а поэт Божьей милостью, единственный в своем роде».

Андрей Белый. Рембрандтова правда наших дней. [О стихах В.Ходасевича], 1922.

Ходасевич... — величайший из современных русских поэтов.

М.Горький. Письмо к редактору бельгийского журнала «Зеленый Круг», 1923.

Настало время, когда слова «один из драгоценнейших русских поэтов», сказанные некогда над прахом Блока, хочется связать с именем того, кто их произнес, — с именем Владислава Ходасевича. У нас есть для этого серьезные основания. Быть может, важнейшее из них отметил Андрей Белый в своей первой статье о Ходасевиче: *дух о в н о с т ь*, по Белому, резко выделяет стихи Ходасевича среди стихов прочих поэтов тех лет, которые — в лучшем случае — только *ду ш е в н ы*, т. е. метафоричны, предметны, пестры; в худшем — суетны. Ходасевич идет «до последней черты правдивейшего отношения к себе

В основу очерка положен доклад, прочитанный 30 мая 1981 в Ленинграде, на вечере памяти В.Ф.Ходасевича, проведенном в частной квартире и приуроченном к 95-летию со дня рождения поэта.

как к поэту», и его итог — «откровение духовного мира» (А.Белый). Мне кажется, что именно к требованию духовности сводится основной эстетический запрос в последней четверти XX века, и если слова Андрея Белого верны, то Ходасевич — наш современник.

Но духовно-эстетический запрос вечен, а его сегодняшняя острота временна: она вызвана духовным голодом предшествовавших десятилетий. Поэтому, вероятно, Ходасевич будет осознан как современник и нашими отдаленными потомками, пусть в меньшей мере, чем нами; и они, надо думать, увидят, что «самоновейшее время не новые черты поэзии вечной естественно подчеркнуло; и ноты правдой поэзии, реалистической (в серьезнейшем смысле) выдвинуло как новейшие ноты» (А.Белый).

Духовное противостоит в человеке телесному, преодолевает и, в конечном итоге, отрицает телесное. Но это противостояние — результат длительного и мучительного опыта; самое разъединение двух составляющих человека начал есть признак зрелости, оно рождается из страданий. Поэтому Ходасевич, как правило, непонятен молодым читателям. Молодость сторонится страданий; она синкретична, дух и плоть сливаются в ней под знаком плоти. Иллюзия новизны — упругие мысли, энергичные слова — заслоняют от нее сущностное виденье мира. Что скажут двадцатилетнему читателю такие вот ненавязчивые строки:

Безветрие, покой и лень,
Но в ясном свете
Откуда же ложится тень
На руки эти?

Не ты ль еще томишь, не ты ль,
Глухое тело?
Вон — белая взметнулась пыль
И полетела.

Взбирается на холм крутой
Овечье стадо...
А мне — айдесская сквозь зной
Сквозит прохлада.

Айдесская прохлада, пронизывающая каждую точку поэтического пространства Ходасевича с середины 1910-х годов, — не только предчувствие смерти, вызванное ранней зрелостью: она — присутствие вневременной и внепространственной субстанции, ее живое дыхание. В этом многозначительном символе я вижу ключ к пониманию жизни и творчества поэта.

Однозначного отношения к Ходасевичу не установилось, и здесь кроется одновременно причина и следствие его жизнеспособности. Поэзия живет пристрастиями и вряд ли нуждается в табели о рангах. Крайности в оценках часто закрывают читателям доступ к поэту. Но вполне отказаться от оценок нельзя. Нельзя отрицать существования некоего первого ряда русских поэтов, сонма дорогих теней, вызывающих айдесский ветер, приводящих в движение целые пласты нашего сознания — и сообщающих смысл словосочетанию: Русская Поэзия. И вот к этому — не вполне очерченному — первому ряду, с полной убежденностью (и пристрастием), я и отношу Ходасевича. Там, «в тех садах за огненной рекой»*, он как равный выдерживает соседство с Блоком и Кузминым, Ахматовой и Мандельштамом.

Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое,

— скажет поэт о своей душе-Музе в 1922. Современники спорили о месте Ходасевича на русском Парнасе и не согласились. Отметим два крайних мнения: Ходасевич — лучший поэт «серебряного века» (София Парнок, Максим Горький, Борис Поплавский); Ходасевич — не поэт вовсе (Н.Асеев). Спор был подхвачен потомками, но теперь его чистоту нарушали и нарушают идеологические соображения. Включаясь в него, необходимо признать, что для изучения Ходасевича вообще сделано очень мало. Попытка собрать вместе все его стихи предпринимается, по существу, впервые. Едва ли не впервые пишется и его биография, в основу которой кладем разрозненные фрагменты и

* Здесь и далее в кавычках, не снабженных ссылкой, приводятся цитаты из стихов и прозы Ходасевича.

сколки воспоминаний, свидетельства часто противоречивые и тенденциозные. Многое в жизни поэта удастся прояснить лишь в неопределенном будущем, но многое может быть узнано или невосполнимо утрачено лишь в наши дни: последние из людей, близко знавших поэта, вступили в очень пожилой возраст. Между тем, его творческая судьба, его опыт приобрели для нас к середине 1970-х годов остроту, которой не могло быть прежде, и нуждаются в скорейшем переосмыслении. Необходимо вспомнить Ходасевича во всей мыслимой полноте, во всех трех ареалах сегодняшнего существования русской литературы.

При жизни поэта, с 1908 по 1927, вышло пять книг его оригинальных стихов, содержащих всего 191 стихотворение. Это, по русским масштабам, совсем немного. Нам удалось прибавить к ним еще 56 законченных стихотворений и набросков, а также 44 перевода, из которых 8 — большие поэмы, и значительное число стихотворных вкраплений в переведенную им прозу; но и наше собрание в количественном отношении невелико. И все-таки я убежден: ни одна серьезная антология русской поэзии не может состояться без стихов Владислава Ходасевича, лучшие из которых... — я с грустью прохожу мимо этой соблазнительной и спекулятивной возможности — ... хотелось бы назвать гениальными.

Но если даже вообразить, что большая часть сохранившегося поэтического наследия Ходасевича будет утрачена или отвергнута, то и тогда он сохранит свои права на нашу благодарную память — как литературовед, мемуарист, критик, переводчик. В каждом из этих своих качеств он был незауряден. Им написано около трехсот литературных и библиографических статей, на его счету подлинные открытия в пушкиноведении. Без преувеличения, он оставил нам «образцы той критической мысли и того критического *стиля*, которых так мало всегда было в нашей литературе и которые сейчас ушли из нее вовсе» (Н.Н.Берберова). Проницательная литературоведческая мысль не оставляет Ходасевича и в его воспоминаниях: они естественно переплетаются с исследованием. Здесь, кроме того, обнаруживается его редкая наблюдательность и удивительное знание человеческой природы — то особое знание, которое немислимо без любви к людям. Если отличительная черта

лучших стихов Ходасевича — духовность, то в прочих его трудах особенно рельефно выступает их добросовестная сдержанность — столь же неотъемлемая черта его стиля, его таланта. В 1939, в самый год смерти поэта, вышла книга его воспоминаний *Некрополь*, быть может, лучшее из написанного о «серебряном веке»; вот предисловие к ней, в высшей степени характерное:

Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.

Духовность и сдержанность нерасторжимо сплавлены в творчестве Ходасевича. Этот сплав высоко ценили великие писатели прошлого, но в кругу литераторов начала XX века, с их тягой к непомерному, с их поспешным и часто невразумительным вдохновением, — он выглядел по меньшей мере необычным. Литературная разнузданность стала в те годы едва ли не симптомом таланта, и это соответствие, осев в обывательском сознании, удержалось в нем и до наших дней... Два отмеченных нами качества — лишь края спектра творчества Ходасевича. Заключенную между ними смысловую гамму лучше всего рассматривать во временной развертке, выслушивая попутно всех тех, кто пожелает высказаться; мы, как уже сказано, должны вспомнить Ходасевича: имя, которым по праву могла бы гордиться Россия, ею в настоящее время полузабыто.

* * *

Ходасевич В.Ф. (род.1886) — поэт-декадент, после Октябрьской революции — эмигрант.

Примечание к: М.Горький. Собр. соч. в 30 томах, т.29, стр.633. М., Гослитиздат, 1954.

Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим.

А.Пушкин. Опровержение на критики.

Я вижу три основных (и неразрывно связанных) причины последовательной неблагодарности соотечественников замечательного поэта. Первое: Ходасевич умер в эмиграции. Как и очень многие, он не был врагом революции вообще, но не мог принять конкретных форм ее воплощения.

Немало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубление во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд иных обстоятельств ведет к тому, что как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры — ей предстоит полоса временного упадка и помрачения.

В.Ф.Ходасевич. Колеблемый треножник, 1921.

Он был культурным, а не политическим эмигрантом. Ориентация на вечные ценности ограждала его от сомнений, отчаянья, злобы. Пожалуй, трудно назвать другого писателя эпохи первой эмиграции, с таким спокойным достоинством сносившего тяготы своего добровольного изгнания. Советская литература с неудовольствием вспоминает Ходасевича еще и потому, что вместе с ним встают в памяти и тщательно маскируемые факты, уничтожающие весь зарубежный фрагмент агиографии Горького, также бывшего эмигрантом.

Второе: Ходасевич был и навсегда останется поэтом для немногих. Он искал читателя, в чем-то главным равного себе. Сознательно сторонясь спекулятивных моментов в искусстве, он не хотел ни удивлять, ни мистифицировать его. Высокомерие,

ошибочно усматриваемое в такой позиции, в соединении с крайним — поистине пушкинским — индивидуализмом Ходасевича, дали советской критике зыбкий, но желанный повод назвать его декадентом.

Третье: его независимость. В одиночку, не опираясь ни на кого из своих современников, руководствуясь только своим внутренним голосом, проделал он свой путь в жизни и в искусстве. Он не склонил головы перед народными кумирами своего времени — в том числе и перед теми, от которых целиком зависела его посмертная судьба на родине. Уже в начале 1900-х не было литератора, в большей мере свободного от групповых и партийных интересов, от политических и литературных гримас эпохи. Несколько позже, в 1923, он прямо установит свою политическую независимость в следующем программном стихотворении (где, между прочим, предугаданы Вторая мировая война и породившие ее ужасы тоталитаризма):

Сквозь облака фабричной гари
Грозя костлявым кулаком,
Дрожит и злится пролетарий
Пред изворотливым врагом.

Толпою стражи ненадежной
Великолепье окружа,
Упрямый, но не осторожный,
Дрожит и злится буржуа.

Должно быть, не борьбою партий
В парламентах решится спор:
На европейской ветхой карте
Всё вновь перечеркнет раздор.

Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрашно
Глядят историк и поэт.

Людские войны и союзы,
Бывало, славили они.
Разочарованные Музы
Припомнили им эти дни —

И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить.
Два: побежденных не жалеть.

«Х. отстаивал право "историка и поэта" быть выше современности», — поясняет Краткая Литературная Энциклопедия. Позиция эта, естественно, сделала его архаистом в глазах представителей всех современных ему школ — зато приблизила к нам. Независимость в литературе вообще всегда означает некоторый *пассеизм* (этот термин в связи с Ходасевичем употребил в 1914 Г.Чулков), поиск точки опоры в прошлом, без которого равно непонятны настоящее и будущее. Чем глубже в прошлое проникает осмысляющий взгляд художника, тем жизнеспособнее и долговечнее его творчество.

Видно, что все три причины забвения поэта имеют одну природу. Каждая из них нашла свой пласт в современном русском обществе. Если первая оказалась решающей для литературных чиновников и их ведомственных кураторов, то вторая и третья оттолкнули нетребовательного читателя, людей либо с вовсе неразвитым литературным вкусом, либо со вкусом извращенным, эстетов, ждущих от поэзии лишь экстравагантных и сиюминутных ребячеств.

* * *

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна...

Вл.Ходасевич. Тяжелая лира.

16(28) мая 1886, в Москве, у мещанина Гостиной Слободы, «купца по нужде» и польского уроженца во втором поколении Фелициана Ивановича Ходасевича и его жены Софии Яковлевны, урожденной Брафман, родился шестой ребенок, сын, кре-

щенный двойным именем Владислав-Фелициан. Это событие было засвидетельствовано записью №78 за 1886 год в метрической книге московской римско-католической церкви Петра и Павла. Крещение состоялось 28 мая (9 июня). Его совершил vikarий Стефан Овельт, бывавший в семье Ходасевичей: поэт упомянет его впоследствии среди самых первых впечатлений детства.

Ф.И.Ходасевич в молодости готовился стать художником: занимался у Ф.Бруни в Академии Художеств, в Петербурге; однако, женившись, открыл в Туле фотографический магазин — возможно, восприняв дело от тестя, Я.А.Брафмана, свою головокругокарную карьеру начавшего бродячим фотографом; в дальнейшем, в Москве, при магазине была еще и картинная галерея. О деде поэта по отцу, Яне (Иване) Ходасевиче известно лишь, что он был в числе участников польского восстания 1863 года, а затем — в эмиграции или ссылке. Примечательной фигурой был дед поэта по матери, Яков Александрович Брафман, памфлетист, известный своими нападками на евреев. Его главный труд, *Книга Кагала* (1869), не вполне добросовестный очерк, основная идея которого — опасность еврейского самоуправления, пользовался большой популярностью в царствование императора Александра II, способствовал росту антисемитизма, а его автору, бедному выкресту, доставил кресло действительного члена Императорского Географического Общества.

Родители Владислава Ходасевича происходили из Литвы, русский язык в семье перемежался с польским, Мицкевич соседствовал с Пушкиным. В 1934, в статье, посвященной столетию *Пана Тадеуша* Мицкевича, Ходасевич рассказывает о своем детстве:

Несколько впечатлений, которые мне сейчас вспоминаются, относятся к самой ранней поре моей жизни, к тому времени, когда я еще не ходил в детский сад, с которого началось мое, уже безвозвратное, обрусение.

По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату. Там, над кроватью, висел в золотой раме образ Божьей Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал Отче наш, потом Богородицу, потом Верую. Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи...

Ходасевич, нежно любивший мать, не стал, однако, ревностным католиком. Едва ли не единственное упоминание о посещении им храма находим в его же юношеском стихотворении *Осень* (1907):

Свет золотой в алтаре,
В окнах — цветистые стекла.
Я прихожу в этот храм на заре...
.....
Светлое утро. Я в церкви. Так рано.
Зыблется золото в медленных звуках органа,
Сердце вздыхает покорней, размерней,
Изъявленное иглами терний,
Иглами терний осенних...
Терний — осенних.

Здесь, возможно, описан памятный Ходасевичу с детства костел в Милютинском переулке, в Москве. В зрелые годы поэт предстает нам дейстом, с интересами и устремлениями, обращенными к веку просвещения (притягательному для него, быть может, и своей катастрофичностью, столь щедро отметившей и начало XX века). И все же строгое религиозное воспитание наложило несомненный отпечаток не только на весь его человеческий облик, но и на творчество. Он не порвал с родительской верой — «и похоронен в Париже по католическому обряду...», — добавляет З.Шаховская (*Отражения*. ИМКА-Пресс, 1975).

Семья Ф.И.Ходасевича была состоятельной, но небогатой. Ее окончательный переезд в Москву, т.е. перенос фотографического салона, произошел не позднее 6 сентября 1902, когда предписанием Московской Казенной Палаты Фелициан Ходасевич с семейством был причислен в московские мещане из московского 2-й гильдии купечества; фактический же переезд состоялся гораздо раньше, и детские годы Ходасевича протекли в Москве. Есть указания на то, что дела у главы семьи шли к этому времени не блестяще. Так, когда в 1905, в связи с предстоящей женитьбой поэта, университетское начальство затребовало от его родственников письменное обязательство оказывать ему, пока он остается студентом, материальную помощь, то выдал таковое не отец его, а старший брат, извест-

ный уже в эти годы московский юрист, присяжный поверенный Михаил Фелицианович; он был на двадцать один год старше своего подопечного. В 1928, в стихотворении *Дактили*, Ходасевич скажет об отце: «Тех пятерых прокормил — только меня не успел».

Сохранилась конспективная запись основных событий и впечатлений жизни поэта, начиная с младенчества, сделанная им в 1922 по просьбе его третьей жены Н.Н.Берберовой, — «канва автобиографии», по ее выражению*. Из нее видно, что читать Ходасевич научился в 1889, в возрасте трех лет. В 1890-91, побывав на балете *Конек-горбунок*, увлекся танцами, — воспоминание об этом времени сообщит впоследствии шемящую прелесть одному из лучших его стихотворений, *Перед зеркалом* (1924). Первые стихи он написал семи лет, зимой 1893. В 1895 переболел черной оспой, не оставившей следов на лице. В 1896 поступил в 3-ю Московскую гимназию**. К 1903 относится ремарка: «Стихи навсегда» — вместе с упоминанием о первой серьезной любви.

В 1902, шестнадцатилетним юношей, Ходасевич включился в литературную жизнь Москвы. В эти годы литература волновала всех, а в ней, усилиями модернистов, полное преобладание получила поэзия. Проза, как и всегда бывает в периоды общественного подъема, отступила на задний план. Зато интерес к поэзии был такой, какого Россия не знала уже восемьдесят лет. Литературная эпоха, современниками и потомками названная декадансом, была проникнута духом творчества, часто несколько лихорадочного и поспешного, взбудоражена перспективами неслыханного обновления и необыкновенно богата талантами. Общество чувствовало себя помолодевшим и требовало стихов. Оно их получало в изобилии, притом стихи эти обладали всеми качествами молодого вина. В Москве центром притяжения сделался Литературно-Художественный Кружок, нечто вроде открытого клуба литераторов, — с эстрадой, местами для публики, а также рестораном и игорным залом. Он просуществовал до 1917. По вторникам там устраивались

* В книге: Н.Н.Берберова. Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, «Центрифуга», 1972, с.168-171.

** Это видно из аттестата зрелости, выданного ему в июне 1904.

литературные чтения, о которых говорила вся Москва. С докладами выступали Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Измайлов, Бердяев, Маковский. Гимназистов в Кружок не пускали, и Ходасевич, бывший осенью 1902 учеником 7-го — предвыпускного — класса, ходил туда нелегально (для чего пришлось сшить специальный костюм). В первое его посещение докладчиком был Брюсов, а темой — поэзия Фета. Певца *бледных ног* приняли насмешливо: звездный час символизма был еще впереди.

Весь этот год прошел для Ходасевича «под знаком Бальмонта».

Я вспоминаю прозрачную весну 1902 года. В те дни Бальмонт писал «Будем как солнце» — и не знал, и не мог знать, что в душливых классах 3-й московской гимназии два мальчика: Гофман Виктор и Ходасевич Владислав читают, и перечитывают, и вновь читают и перечитывают всеми правдами и неправдами раздобытые корректуры скорпионовских «Северных Цветов». Вот первые оттиснутый «Художник-дьявол», вот «Хочу быть дерзким», которому еще только предстоит стать пресловутым, вот «Восхваление Луны», подписанное псевдонимом: Лионель.

Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы. Шестнадцать лет, солнце светит, а в этих стихах целое откровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычайно!.. А Гофман, стараясь скрыть явное сознание своего превосходства, говорит мне: «Я познакомился с Валерием Брюсовым». Ах, счастливец!

Владислав Ходасевич. О новых стихах /.../. — «Утро России», 1916, №127, 7 мая, с.5.

Брюсов сыграл заметную роль в жизни Ходасевича. Судьба столкнула их в 1902, развела в 1921. Ходасевич оказался в сфере притяжения главы символистов, и современники еще долго, до самой середины 1910-х годов, относили его к «лагерю Брюсова». Между тем в действительности их сближение (конечно, имевшее в своей основе схему *учитель-ученик*, единственно возможную между Брюсовым и одним из *младших*) было недолгим, а отношения с начала и до конца отличались крайней напряженностью. Андрей Белый в своих воспоминаниях отмечает, что Брюсов не сразу признал в Ходасевиче

поэта, но затем быстро исправил свою ошибку. Ходасевич, со своей стороны, прекрасно понимал истинное значение Брюсова. В неопубликованном письме к поэту А.И.Тинякову* (весна 1915) он пишет: «О Брюсове я с Вами не совсем согласен. Он не бездарность. Он талант, и большой. Но он — *маленький человек*, мещанин, — я это всегда говорил. Потому-то, при блестящем "как" его "что" — ничтожно...». Еще раньше, в 1914, в обзорной статье *Русская поэзия*, Ходасевич называет *Зеркало теней* Брюсова «все же прекрасной и значительной книгой». Но к литературным отношениям примешивались личные, и Брюсов, в отличие от Ходасевича, не умел отделять первые от вторых. Обид он не забывал и не прощал. Одно из самых тяжелых столкновений произошло в 1910, когда Ходасевичу пришлось взять на себя неблагодарную роль посредника между Брюсовым и Ниной Петровской**, давней своей приятельницей, тогдашней любовницей Брюсова.

Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не сказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.

В.Ф.Ходасевич. Конец Ренаты, 1928.

Мсть последовала одиннадцать лет спустя: в 1921 Брюсов морил голодом тяжело больного Ходасевича, препятствуя переводу его писательского пайка из Москвы в Петербург: «...препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я — человек неблагонадежный. Примечательно, что даже "по долгу службы" это не входило в его обязанности...» (*Некрополь*). Таким же — «экономическим», по выражению

* Александр Иванович Тиняков (?-1922) — поэт и литературный критик, автор двух стихотворных сборников.

** Нина Ивановна Петровская (1884-1928) — беллетристка, жена С.Соколова-Кречетова, поэта и владельца издательства *Гриф*; одна из характернейших и трагических фигур символизма. Прототип Ренаты из *Огненного ангела* Брюсова, подруга Бальмонта, А.Белого и Брюсова, она покончила с собой в Париже, отравившись газом. Незадолго до самоубийства жила несколько дней в квартире Ходасевича и Берберовой на улице Ламбларди 14. Ходасевич назвал ее истинной жертвой декадентства.

Ю.И.Айхенвальда*, — образом сводил Брюсов счеты и с другими писателями. Его человеческий облик достаточно известен. Литературное влияние Брюсова на Ходасевича прямо, т.е. по стихам, не прослеживается, косвенно же оно выразилось в эпитафии к единственному сонету (1907) из книги *Молодость* да в не входившем в сборники стихотворении *На седьмом этаже* (1914) с учтывым подзаголовком *Подражание Брюсову* — являющемся, впрочем, скорее пародией, чем подражанием.

В мае и июне 1904 Ходасевич сдает выпускные экзамены на аттестат зрелости — все с оценкой хорошо. Не был исключением и предмет, по которому он, как отмечено в этом документе, проявил особую любознательность: русский язык с церковно-славянским и словесность. Преподавал эту дисциплину В.И.Стражев, поэт, как и Ходасевич, принадлежавший к кругу издательства «Гриф». Учитель с неудовольствием и ревностью наблюдал за литературными опытами ученика и был особенно придирчив в классе. Но вскоре их отношения принимают другой характер. В литературных кругах Москвы еще в гимназические годы складывается весьма лестная для Ходасевича репутация, и строгий наставник не считал для себя унижением искать в них поддержки и чуть ли не покровительства ученика.

В 1914 у Брюсова, на одной из знаменитых сред, где «творились судьбы если не всероссийского, то во всяком случае московского модернизма», новоиспеченный студент юридического факультета Владислав Ходасевич знакомится с Андреем Белым. «Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал», — скажет Ходасевич много лет спустя. В этом высказывании центр тяжести приходится все же на первый тезис. Хотя еще И.Ф.Анненский предположил связь ранних стихов Ходасевича со стихами Белого, но уже к концу 1900-х годов два молодых поэта предстают нам, по существу, эстетическими противниками: старший — модернистом, младший — традиционалистом. Тем не менее, они подружились. Литературным итогом их девятнадцатилетней дружбы являются две ди-

* Юлий Исаевич Айхенвальд (1872-1928) — критик и эссеист. Выслан в Берлин в конце лета 1922, в числе других литераторов и ученых. В списках подлежащих высылке был и Ходасевич.

пирамбические статьи Белого о стихах Ходасевича, исследование Ходасевича *Аблеуховы-Летаевы-Коробкины* (1927) и его же статья *Андрей Белый* (1938) — блестящие, исполненные тонкого психологизма и удивительной наблюдательности воспоминания, вошедшие затем в *Некрополь*. Вот характеристическая выдержка из них:

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание побуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить *нас возвышающую правду*: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. От нас он требует гораздо более трудного: полноты понимания.

Этот фрагмент можно рассматривать как эпитафию ко всем трудам Ходасевича мемуарного характера. Не только Белый, но и другие его современники — Брюсов, Горький, Есенин, Сологуб, Блок, Гумилев, Гершензон, Маяковский, вся эпоха символизма (преимущественно московского, с Ниной Петровской на его авансцене и С.В.Киссиным-Муни вблизи кулис) — не могут быть в наши дни достаточно поняты без этих правдивых и взвешательных воспоминаний.

Дружба с Андреем Белым, долгая и плодотворная, оборвалась в конце 1923, на закате «русского Берлина», на общем прощальном обеде разъезжающихся писателей, — и оборвалась ссорой. Н.Н.Берберова вспоминает:

8-го сентября... был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии, никогда мною не виданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался... он потребовал, чтобы пили за него, потому что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа... Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.

— Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. — Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.

Белый поставил свой стакан на место и глядя перед собой невидящими глазами заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку... Но Белый остановиться уже не мог: Ходасевич был скептик..., Бердяев — тайный враг, Муратов — посторонний, притворяющийся своим... С каждой минутой он становился все более невменяем...

Белый уезжал в Москву: в эмиграции у него не было больше аудитории, в России — еще оставалась. Дружба с эмигрантами и полуэмигрантами («выбеженцами», как называл их — и себя — В.Шкловский) могла быть поставлена ему в вину, и он рвал заграничные связи, притом не всегда корректно.

*

Ходасевич так и не получил высшего образования. Отучившись год на юридическом факультете Императорского Московского Университета, осенью 1905 он переводится на историко-филологический факультет — вновь на первый курс. Отсюда после второго курса он был уволен как не внесший платы (в размере 25 рублей) за осеннее полугодие 1907. Причиной его материальных трудностей почти наверняка явились карточные долги, размер же этих трудностей и вообще финансовый статус Ходасевича в эти годы остаются неясными. Во всяком случае, еще в апреле 1907, задолжав 28 рублей за квартиру, он оставляет дом Голицына в Б.Николо-Песковском переулке и уезжает — в

Рязань, если верить данным паспортного стола. Это было форменное бегство. Розыск недоимщика, предпринятый приставом 2-го участка Пречистенской части Москвы, длился до сентября и не дал результатов, показав лишь, что в Рязани Ходасевич не был. Между тем, это был 1907, во многом решительный в жизни поэта год: им помечены 33 из 34 стихотворений его первой книги. Выпустив ее (и, вероятно, рассчитавшись с долгами), он в октябре 1908 вновь возвращается к занятиям, на этот раз на три полных семестра, — и вновь увольняется по безденежью. Третья, последняя попытка получить диплом была сделана осенью 1910. Ходасевич восстановился — на *юридическом* факультете, но, не проучившись и семестра, был уволен по старой причине — хотя и с новой формулировкой: за невзнос части платы в пользу преподавателей. Наконец, в мае 1911 он окончательно забирает свои документы из университета. Единственным его поприщем остается литература.

* * *

Ровесник Гумилева, Ходасевич и печататься начал одновременно с ним: в 1905. Но, в отличие от петербуржца, начал он преимущественно как литературный критик и лишь затем как поэт. В годы с 1905 по 1907 появилось около двадцати его критико-библиографических заметок — и всего пять стихотворных публикаций: «...стихами не проживешь, особенно моими: пишу я по 15 в год», — отметит он в конце 1914, в неопубликованном письме к А.И.Тинякову. Некоторые из первых его заметок, обычно содержащие отрицательный отзыв, подписаны псевдонимом Сигурд, заимствованным из драмы С.Красинского *Иридион*, — здесь угадывается не только интерес Ходасевича к польской классике, но и память поэта о своем инородчестве в России. Он сотрудничает в журналах *Искусство* (1905), *Золотое Руно* (1906), *Перевал* (1906-1907), многие из участников которых, представители *второй волны* символизма, группировались тогда вокруг издательства С.А.Соколова-Кречетова «Гриф». В начале 1908 в этом издательстве тиражом 500 экземпляров выходит и первая книга стихов Ходасевича *Молодость*. Последовали две рецензии: пространная, хвалебная, хотя и с несколькими резкими замечаниями, —

— в *Русской Мысли* (В.Гофман), и беглая, сдержанно-поощрительная — в *Весах* (В.Брюсов). Оба рецензента сопоставляют *Молодость* с *Романтическими Цветами* Гумилева: первый отдает предпочтение Ходасевичу, второй — Гумилеву. Оба, говоря о Ходасевиче, отмечают неожиданно старческие интонации в лирике молодого поэта — легкую, еще не опознанную ими и самим поэтом сень айдесской прохлады, знак ранней духовной зрелости. Следующие строки в открывающем сборник стихотворении, с их явной антиромантической направленностью:

В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен.
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там — серый свет бессолнечных лучей.

Там сеятель бессмысленно, упорно,
Скуля как пес, влачась как вьючный скот,
В родную землю втоптывает зерна —
Отцовских нив безжизненный приплод, —

несомненно, должны были прозвучать диссонансом в год мгновенного торжества символизма. «Кое-что в книге должно быть отнесено к общим, бесконечно захватанным и засиженным местам русского модернизма» (В.Гофман), но — лишь немного: классицистическая струя оказывается в ней, несомненно, более мощной и убедительной. «У В.Ходасевича есть ... острота переживаний... Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами...» (В.Брюсов).

Вот портрет поэта, набросанный почти сразу после выхода *Молодости* одним из близко наблюдавших его современников:

Тонкий. Сухой. Бледный. Пробор посредине головы. Лицо серое, незначительное, изможденное. Только темные глаза играют умом, не глядят, а колют, сыплют раздражительной пронизательностью. Совсем — поэт декаданса! /.../ ... в нем, действительно, как-то странно и привлекательно сочетаются — физическая истомленность, бледность отцветшей плоти с пряной, вечно пенящейся, вечно играющей жизнью ума и фантазии.

Как в личности, так и в творчестве, в поэзии В.Ходасевича ... странно и очаровательно сплетаются две стихии, два на-

чала: серость, бесцветность, бесплотность — с одной стороны, и грациозно-прозрачная глубина, кокетливо-тонкая острота переживаний... — с другой стороны./.../ В.Ходасевич не из тех поэтов, которые могут надумывать свои стихи, их содержание, их идеи, их образы. В.Ходасевич — лирик чистой воды. К нему должно прийти вдохновение... /.../ В дни, когда в поэзию вторглись крикуны и ломаки, когда господствующим принципом в искусстве стал принцип — «чем неестественней, тем лучше» — творчество В.Ходасевича отражает интимность, искренность, глубину душевных переживаний.

Его по полному праву надо назвать «певцом любви». Но каким певцом и какой любви! ... такая любовь не может и не хочет знать счастливой развязки. /.../

А.Тимофеев. Литературные портреты. II. В.Ходасевич.
— «Руть», 1908, №87, 23 апреля, с.2.

Автору *Молодости* всегда двадцать один год. Разумеется, большинство стихов этой книги навеяно эротической музой. «Тщедушный, болезненный, желчный человек (Дон Аминадо* говорил, что его в России прозвали "муравьиный спирт"***), пользовавшийся в молодости большим успехом у женщин» (З.Шаховская), Ходасевич женился в возрасте неполных девятнадцати лет, т.е. более чем за два года до своего совершеннолетия. Сохранилась копия брачного свидетельства, согласно которой 24 апреля 1905 в московской Николаевской, при Румянцевском музее, церкви он был «повенчан... с усыновленной дочерью полковника Мариной Эрастовной Рындиной, 18 лет от роду, православною...». Несоввершеннолетие поэта обусловило множество курьезных формальностей. Потребовались: разрешение его родителей, разрешение полковника Э.И.Рындина, свидетельство о политической благонадежности невесты (подписанное Новгородским губернатором), обязательство брата поэта, присяжного поверенного М.Ф.Ходасевича, оказывать ма-

* Дон Аминадо (Аминад Петрович Шполянский, 1885-1957) — поэт, юморист и сатирик, автор четырех книг стихов и двух книг мемуаров, эмигрант.

** В действительности — в Берлине: «Еще в Берлине Виктор Шкловский сказал о Ходасевиче, что у него вместо крови — муравьиный спирт...» (В.Андреев. Возвращение в жизнь. — *Звезда*, 1969, №6).

териальную помощь жениху и, наконец, разрешения ректора университета и попечителя московского учебного округа. М.Шагинян, опираясь на рассказ самого Ходасевича, называет его свадьбу великолепной — была же она скорее *литературной*: посаженным отцом был Брюсов, «а шафером "при-мазался" издатель "Грифа" Соколов-Кречетов, и он, Ходасевич, тут же на свадьбе сложил на него эпиграмму:

Венчал Валерий Владислава, —
И "Грифу" слава дорога!
Но Владиславу — только слава,
А "Грифу" — слава да рога.

Намек на Нину Петровскую, жену "Грифа" и "спутницу" Брюсова...» (М.Шагинян*). Ближайшее будущее опровергло эту злую шутку по ее существу и поставило Ходасевича в положение «Грифа».

Современники упоминают о фантастической красоте и столь же фантастической эксцентричности М.Рындиной. Рассказывают, что однажды она въехала верхом в гостиную отцовской усадьбы Лидино (находившейся возле станции Бологое), а уже будучи замужем, держала у себя в качестве домашних животных жаб и ужей. Ее потребность в эпатаже простиралась до скандального: как-то, на одном из московских костюмированных балов, она явилась голой, с вазой в форме лебедя в руках: костюм символизировал Леду и Лебедя. Вскоре после своего первого замужества она становится любовницей, а затем и женой редактора *Аполлона*, поэта С.К.Маковского. Точную дату ее разрыва с Ходасевичем находим у Н.Н.Берберовой, в приведенных ею заметках поэта: «1907 — ...30 декабря разъезд с Мариной...». Кажется, этот разрыв тяжело переживался Ходасевичем:

А если снова, под густой вуалью,
Она придет и в двери постучится, —
Как стыдно будет спящим притвориться
И мирных дней не уязвить печалью!
(1908)

* Человек и время. — *Новый мир*, 1973, №5, с.163-164.

С посвящением Марине выходит в 1908 и первая книга поэта *Молодость*.

Последний отзвук этой несчастной любви чуть слышен в *Некрополе*. Осенью 1918, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная Литература», Ходасевича вызвали в Петроград и предложили заведовать московским отделением «этого предприятия». В Петрограде Ходасевич познакомился с Гумилевым: «Он пригласил меня к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов». По стечению обстоятельств Гумилев занимал в эти дни квартиру Маковского. Его кабинет был обставлен мебелью, некогда бывшей в Лидино, — особой, корабельной мебелью, снятой с корабля еще адмиралом Ф.Ф.Матюшкиным, лицейским товарищем Пушкина.

В 1905 г. я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница (т.е. М.Рындин) была в Крыму.

Даже и здесь, в своих воспоминаниях, написанных в 1931 в Париже, Ходасевич не называет М.Э.Рындину и не приподнимает завесы над этим столь давним и безвозвратно пережитым прошлым.

Картина лет, связанных с Мариной и предшествовавших выходу первой книги, будет неполна, если не отметить зарождения у Ходасевича еще одной, глубокой и на всю жизнь сохранившейся страсти — страсти к картам. Об этом аристократическом занятии он скажет:

...азартная игра, совершенно подобно поэзии, требует одновременно вдохновения и мастерства. /.../ Нередко случалось мне доживать до такого часа, когда в высоких окнах кружковской залы мутнело зимнее утро или сияло летнее.

В.Ф.Ходасевич. Московский Литературно-Художественный Кружок, 1937.

Таковы были годы с 1906 по 1910. *Карты и пьянство* — ключевые слова в автобиографических заметках о том времени.

Играл Ходасевич не только в бридж, но и в покер и «проигрывал больше, чем зарабатывал» (З.Шаховская).

Байрон сказал однажды, что поэт должен быть либо влюблен, либо беден. Вторая из этих двух предпосылок творчества вообще никогда не изменяла Ходасевичу; первая, этот важнейший двигательный стимул эпохи символизма, включалась попеременно и тоже делала свое дело. Историк, желающий проследить жизненный и творческий путь поэта, оказывается перед необходимостью в той или иной мере касаться и его романтических приключений.

У каждой из первых четырех книг Ходасевича есть лирическая героиня, явившаяся на этих страницах воплощением поэтической фантазии, но имевшая реальный прототип. Делая шаг в сторону *Счастливого домика*, его второй книги стихов, охватывающей годы с 1908 по 1913, мы должны упомянуть Евгению Владимировну Муратову. У Ходасевича она выведена под именем царевны, реже — царицы, — и предстает существом пленительно-легкомысленным, эфемерным.

ПОРТРЕТ

Царевна ходит в красном кумаче,
Румянит губы ярко и задорно,
И от виска на поднятом плече
Ложится бант из ленты черной.

Царевна душится изнеженно и пряно,
И любит смех и шумный балаган, —
Но что же делать, если сердце пьяно
От поцелуев и румян?

Эфемерным рисуется и их недолгий роман, фоном для которого в 1911 явились Венеция и Генуя. Фактические черты Е.В.Муратовой едва различимы. Известно, что она была первой женой П.П.Муратова*, а много позже, в эмиграции, становится женой В.И.Стражева. В заметках Ходасевича (в «канве автобиографии») она впервые упомянута в 1910, первые связанные с нею стихи относятся к 1909.

* Павел Павлович Муратов (1881-1950) — историк искусства и эссеист, автор знаменитого трехтомного сочинения *Образы Италии*, драматург, беллетрист, переводчик. Эмигрант.

Скрытый и немногословный, особенно там, где дело идет о сердечных привязанностях, Ходасевич в *Некрополе* говорит лишь о «дурной полосе жизни», образовавшейся в 1911. Фактически же следовало бы говорить о полосе трагической. Поездка в Италию в июне 1911 была для Ходасевича прощанием с юностью, ее последним всплеском. В течение второй половины этого года, в несколько месяцев, он теряет мать, а затем и отца. Чтобы понять, как много родители значили в его жизни, достаточно прочесть стихотворение *Дактили* (1928). Притом, если Фелициан Иванович умер уже в очень преклонном возрасте и своей смертью (от грудной жабы, в 75 лет), то София Яковлевна, 65-ти лет, погибла от нелепой случайности в самом центре Москвы, на Тверской: сломалась ось везшей ее коляски, и она, упав на мостовую, ударилась головой о чугунную тумбу. Смерть отца — вообще решительный момент в жизни сына, с нею отпадает естественный, иногда едва уловимый, но всегда важный протекционизм, наступает окончательная взрослость со всеми вытекающими из нее ответственностями. Но возможно, что этими трагическими обстоятельствами не исчерпывался груз, легший в эти дни на поэта. Известно, что Ходасевич был близок к самоубийству — и лишь верность и удивительная интуиция его ближайшего друга С.В.Киссина (Муни) спасли его от этого страшного конца. Разрушение в мирских радостях, опустошенность, постоянные недомогания, отсутствие общественного поприща и твердого заработка (почти единственным источником средств к существованию были переводы для издательств «Универсальная Библиотека» и «Польза») — все это делало его будущее более чем непривлекательным. Зимой он провел на даче М.Ф.Ходасевича, в Новогирееве, — верный знак безденежья. В «канве автобиографии» за этот период впервые встречаем ремарку: *Голод* (повторенную затем в ряду характеристик 1913 и 1919 годов); впервые здесь упомянута и *Нюра*.

Анна Ивановна Гренцион* (1886-196?), урожденная Чулкова, была во втором браке за гимназическим приятелем Ходасевича, А.Я.Брюсовым. Оба супруга принадлежали к обширному около-

* В первом томе, по ошибке, основанной на воспоминаниях современников, — Грацион.

литературному кругу столицы, не оспаривая лавров у своих старших и более известных братьев, Георгия Чулкова и Валерия Брюсова. А.Я.Брюсов выступал в печати под псевдонимом Alexander. Известно и несколько публикаций А.И.Гренцион; в основном это переводы, стихи и проза, также подписанные псевдонимом: София Бекетова. Ровесница Ходасевича, А.Гренцион выглядела моложе своих лет и была очень хороша собой; несколько безалаберная, добрая и ветреная, в жизни она с милой непосредственностью руководствовалась полинезийской формулой: «я живу, и мне весело». Все это был набор качеств, делавших женщину привлекательной для Ходасевича. Труднее понять, как возникло ответное влечение. Оставляя А.Я.Брюсова для Ходасевича, Анна Ивановна меняла обеспеченную, беззаботную жизнь, так хорошо отвечавшую ее нехитрым и очень женским запросам, на жизнь бедную, временами и полуголодную, без ясных перспектив. Ходасевич не был ни красив, ни знаменит, ни даже здоров и бодр. Он не мог на ней жениться немедленно: его брак с Мариной был расторгнут лишь в конце 1910, и закон требовал истечения полных трех лет для вступления в новый. И тем не менее, с грациозной беспечностью, так остро характеризующей эпоху, собрав лишь самые необходимые вещи (и отправив сына к родителям первого мужа, Е.Гренциона), она переселяется к Ходасевичу.

Для Ходасевича, в его страшном одиночестве, новое супружество явилось, быть может, спасительным. Но вряд ли оно было вызвано сильной страстью — нет и стихов, на это указывающих. *Счастливый домик** выходит в 1914 с посвящением: *Жене моей Анне*; в этом посвящении — и жест благодарности, и акт закрепления отношений, не освященных церковью. Но в единственном (хотя и едва ли не лучшем) стихотворении сборника, которое предположительно можно связать с А.И.Гренцион, поэт называет ее сестрой.

Когда почти благоговейно
Ты указала мне вчера

* Название заимствовано из стихотворения Пушкина *Домовому*. Эта неявная цитата, символизировавшая поворот Ходасевича к горацанскому довольству малым, не была расшифрована современниками поэта.

На девушку в фате кисейной
С студентом под руку, — сестра,

Какую горестную скуку
Я пережил, глядя на них!
Как он блаженно жал ей руку
В аллеях темных и пустых!

Нет, не пленяйся взором лани
И вздохов томных не лови.
Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви?

Смешны мне бедные волненья
Любви невинной и простой.
Господь нам не дал примиренья
С своей цветущею землей.

Мы дышим легче и свободней
Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горним воздухом небес.

Это супружество продлится почти десять лет, и хотя очень скоро, с обоюдного согласия, примет форму брака без обязательств, но в его основе с первых дней и в дальнейшем остаются привязанность и взаимопонимание.

В приведенном стихотворении слышен голос зрелого Ходасевича. По силе оно не уступает поздним его стихам и завершается в высшей степени характерной декларацией. Ходасевич как бы накладывает лупу на известные строки Евгения Боратынского: «Две области: сияния и тьмы/Исследовать равно стремимся мы». Здесь обнаруживается глубокое духовное родство двух поэтов, общность и инвариантность питающего их источника.

Характерная особенность второй книги, и в этом ее отличие от первой, — *программное* противостояние двум массовым потокам сознания в эстетике, двум знамениям эпохи: романтизму и модернизму, взятым в широком смысле. Это

поняли и отметили в своих отзывах М.Шагинян (газета *Приазовский край*, 1914, №71) и Г.Чулков (*Современник*, 1914, №7) — и проглядел Гумилев (*Аполлон*, 1914, №5), но все три рецензента с замечательным единодушием признают и приветствуют музу Ходасевича. Гумилев называет его стихи прекрасными и сравнивает молодого поэта с Анненским и Тютчевым. Чулков говорит об изысканной простоте стихов Ходасевича, «об его отречении от легких соблазнов внешней нарядности», ибо «точность и выразительность, как необходимые условия лирического творчества, интересуют Вл.Ходасевича прежде всего...». Особенно значительна рецензия М.Шагинян. В большой статье, явившейся одним из первых откликов на *Счастливый домик*, она набрасывает очерк литературной жизни столиц эпохи символизма, дает портрет молодого Ходасевича, обзор его первой книги — и делает несколько очень верных наблюдений над второй:

... завсегдатаи <Литературно-Художественного> кружка привыкли встречать в нем молодого человека с немного эксцентрической внешностью, высокого (?), болезненно-бледного, с лицом ироническим и значительным. На прениях он не выступал, но все знали его колкое остроумие и его стихи, которые он вскоре собрал в книжку. /.../ «Молодость» Ходасевича, несмотря на ее совершенно своеобразное, ни на кого не похожее, несколько даже вычурное в своей намеренной простоте и сухости лицо, принадлежит к созданиям... первого периода нашего «декадентства»... /.../

Его счастливый домик — это совсем особый домик, в котором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас и который мог бы сыграть очистительную роль для наших «воюющих персов», которые сейчас залили все улицы русской литературы и грозят ее будущему. /.../

Эпоха больших слов... отошла; большие вопросы о Боге, о мире, о сущности Прекрасного и т.д., взрыхлили землю, но почти ничем в ней не произросли. /.../ возлюбить малое — трудней, чем возлюбить великое...

Ясный и насмешливый ум поэта, никогда не изменяющий ему вкус к простоте и мере, — стоят на страже его переживаний и не позволяют ему ни поэтически солгать, ни риторически разжалобиться...

Позже, в одном из неопубликованных писем, Ходасевич скажет об этой статье: «...одна М.Шагинян говорила обо мне по существу, понимая меня и мои стихи...». Всего в 1914 появилось около пятидесяти отзывов на *Счастливый домик*: «сплошные восторги — и сплошная чепуха». Второе и третье (с портретом автора работы Ю.П.Анненкова) издания книги, выпущенные З.И.Гржебиным в 1921-1922, в годы всероссийской известности Ходасевича, принесли еще несколько почтительно-курьезных отзывов пролетарских писателей (Ин.Оксенов и др.), свидетельствовавших более об инертности мысли, чем об успехе этой утратившей актуальность поэзии.

Год 1914, трагический в истории России и Европы, явился, независимо от того, и поворотным годом в жизни Ходасевича: кончилась молодость, вышла вторая из его «юношеских книг». Война придавала еще большую законченность прошлому и как бы подвела под ним черту. Заметное место в этом прошлом занимали женщины. Но если те из них, с кем Ходасевича связывала более чем дружба, лишь глухо упомянуты в двух-трех местах его мемуаров, то Н.И.Петровской посвящен замечательный очерк, озаглавленный *Конец Ренаты*, — работа поистине неопенимая для историков символизма (достаточно сказать, что печально известный Вл.Орлов в своей книге *Переputья*, 1976, цитирует из нее целую страницу — не называя автора). Ей же посвящено и стихотворение *Sanctus Amor* (1907), название которого повторяет название книги рассказов Петровской. Оно очень характерно для Ходасевича, с его «мучительной ранней опустошенностью» (М.Шагинян).

И я пришел к тебе, любовь,
Вслед за людьми приволочился.
Сегодня старый посох вновь
Пучком веселых лент завился.

И как юродивый счастлив,
Смотрю на пляски алых змеек,
Тебя целую в чаше слив,
Среди изрезанных скамеек.

Но миг один — и соловей
Не в силах довершить обмана!
Горька, крива среди ветвей
Улыбка мраморного Пана.

«Московские болтуны были уверены», что с Петровской Ходасевича связывала не только дружба. «Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли...».

Пользовался ли Ходасевич успехом у женщин, как говорит об этом З.Шаховская, или только имел его? Горький опыт, вынесенный поэтом из его первого супружества, навсегда снял в его глазах розовый флер с алькова, а с ним — и дразнящий образ идеальной любви, союза души с душой родной, — выдвинув на передний план ее оборотную сторону, роковой поединок.

1909: Вчера под вечер веткой туи
Вы постучали мне в окно.
Но я не верю в поцелуи
И страсти не люблю давно.

1918: Уж тяжелы мне долгие труды,
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душные лобзанья.

1922: Не верю в красоту земную
И здешней правды не хочу.
И ту, которую целую,
Простому счастью не учу.

1925-1927: И если (редко) женщина приходит
Шуршать одеждой и сиять очами —
Что ж? я порой готов полюбоваться
Прельстительным и нежным микрокосмом...

Кажется, китайская мудрость, отдающая предпочтение дружбе перед любовью, была близка рано состарившемуся поэту.

Маятник ходит размеренно,
Усталых часов властелин.
Угли трещат неуверенно.
Сердце стучит: все потеряно!
Стучит: ты один, ты один!
Муни, 1907.

Самым дорогим ему человеком Ходасевич называет Самуила Викторовича Киссина (1885-1916), поэта, «всей Москве» известного под псевдонимом Муни*, обладателя «замечательных способностей, интуиции порой необычайной». История и характер их дружбы имеют большое значение для понимания Ходасевича.

Мы познакомились в конце 1905 г. ...

Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 внезапно «открыли» друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

В.Ф.Ходасевич. Муни, 1926.

Тесная любовь эта была такова, что на ней стоит остановиться подробнее. Отличительная строгость Ходасевича кристаллизовалась в 1905-1914 под ее немилосердными лучами.

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально. /.../

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне — в первую очередь. Я шел к нему с каждым новыми стихами. Прослушав, он говорил:

— Дай-ка, я погляжу глазами. Голосом — смазываешь, прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что «это не так уж

* На санскрите *муни* — аскет-молчальник, определение одной из стадий аскетизма. Шакья Муни — одно из имен Будды. Имя Муни также носили несколько знаменитых законоучителей иудаизма в Палестине.

плохо». Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:

— Боже, какая дрянь! — Или:

— Что я тебе сделал дурного? За что ты мне это такое читаешь?

И начинался разбор, подробный, долгий, уничтожающий. /.../

Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. «Едкие осуждения» мы по совести предпочитали «упоительным похвалам».

Любопытно, что М.Шагинян запомнила Муни другим — «молчаливым и добрым», «не произносящим ни слова». Она же дает и беглую зарисовку его внешности: «обросший черной бородой, похожий на икону Рублева». В момент знакомства с Ходасевичем он, как и его более известный друг, был студентом Московского университета; но, как мы видели, основным их занятием была учеба литературная, а ее залогом — их странный и благородный союз. Он разворачивался на фоне «символического быта», в трагические, предгрозовые годы.

Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе — тщедушные барышни босиком воскрешали эллинизм. Буржуа, вдруг ощутивший волю к «дерзаниям», накинулся на «вопросы пола». Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно над всем этим скоплялось электричество. Гроза ударила в 1914 году.

Вся эта атмосфера не могла не затронуть друзей, но в целом они скорее симптоматичны — и уж во всяком случае не типичны для второй волны символизма. Все ожидали перемен к лучшему — они были одержимы мрачными предчувствиями. В одном стихотворном письме 1909 года Муни писал Ходасевичу:

Стихам Россию не спасти,
Россия их спасет едва ли.

Конец Муни был трагичен. Мобилизованный в первые же дни войны в качестве зауряд-военного чиновника, изнуренный одиночеством, внутренним разладом и зрелищем невиданной человеческой бойни, он застрелился в Минске в марте 1916. Ходасевич, некогда спасенный им в одну из отчаянных минут 1911 года, был тогда в Москве и не смог вернуть долг своему спасителю. Для него это была невосполнимая утрата. Многие годы спустя в его стихах обнаруживаются следы напряженного диалога с давно покойным другом.

* * *

С холодностью взираю я теперь
 На скуку славы предстоящей...
 Зато слова: цветок, ребенок, зверь —
 Приходят на уста все чаще.
Вл. Ходасевич. Путем зерна.

Авторитет Ходасевича в литературных кругах Москвы быстро возрастал. Сразу после своего дебюта он становится объектом пристального внимания, а в предвоенные годы, еще до выхода *Счастливого домика*, его имя уже пользуется широким признанием. Об этом свидетельствуют и отзывы современников, и публикации его стихов в известных журналах, альманахах и антологиях, но едва ли не в большей мере — сотрудничество Ходасевича в таких газетах, как *Утро России*, *Русское Слово*, *Русские Ведомости*, с их общественной, а не литературной ориентацией. Сотрудничество это начинается не позднее 1910. Кроме стихов, критических и литературоведческих статей, почетной известности Ходасевича способствовали также его переводы и редакторские публикации. В 1910-1923 в издательстве «Польза» В.М.Антика, а затем и в других издательствах, до «Всемирной литературы» включительно, выходит около двух десятков его прозаических переводов с польского и французского языков, две составленные им антологии (в 1914: *Русская лирика ... от Ломоносова до наших дней*, в 1915:

Война в русской лирике), а также собрания стихов В.Гофмана и гр.Е.П.Ростопчиной, *Душенька* И.Ф.Богдановича и *Драматические сцены* Пушкина — под его редакцией, со вступительными статьями или примечаниями. Если рано проявившийся интерес к Пушкину как к объекту исследования должен быть назван среди центральных в жизни Ходасевича, то переводы из К.Макушинского или К.Тилье выполнялись для заработка и находились на периферии его интересов. Об уровне этой литературной поденщины косвенно свидетельствует тот факт, что эпопея К.Тетмайера *Легенда Тамр* в переводе Ходасевича была переиздана в 1956 и в 1960, в советском издательстве. В ней находим и первые переведенные им стихи.

Недавние исследования показали, что у истоков современной школы стихотворного перевода, наряду с Гумилевым, должен быть назван и Ходасевич. В 1912-1918 он систематически работает над переложением стихов инородцев: польских, армянских, латышских, финских и еврейских (писавших на иврите) поэтов; продолжает переводить и позже: с английского, французского, а с иврита — и в первые годы эмиграции. В 1921 он скажет: «Творчество поэтов, пишущих в настоящее время на древне-еврейском языке, оказалось для меня наиболее ценным и близким. Переводам с древне-еврейского я уделял наиболее времени и труда...». *Еврейская антология*, вышедшая по-русски в 1918 под редакцией В.Ф.Ходасевича и Л.Б.Яффе, и книга переложений Ходасевича *Из еврейских поэтов* (1921) в короткий срок выдержали несколько переизданий.

Необходимо также отметить и публичные выступления Ходасевича со стихами и докладами: в 1906-1920 — в Литературно-Художественном Кружке, в Обществе свободной эстетики, в Политехническом музее, в Московском Пролеткульте, а в 1921 — в Петрограде: в Доме Искусств и в Доме Литераторов. Сравнительно немногочисленные, они запомнились современникам, в особенности — его речь *Колеблемый треножник*, посвященная пушкинской годовщине и впервые прочитанная 14 февраля 1921 в Доме Литераторов. Как и речь А.Блока *О назначении поэта*, она была встречена тогда долгими аплодисментами, эхо которых и по сей день обнаруживается в мемуарной и историко-литературной прозе.

Разностороннее дарование Ходасевича близило к своему полному расцвету, но за плечами поэта уже стояли судьба и история.

В 1915 в гостях, на именинах у московской поэтессы Любви Столицы, Ходасевич упал и сместил себе позвонок. Весной 1916 у него открылся туберкулез позвоночника.

Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и послали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли. Следующую зиму жил в Москве, писал. На лето 1917 снова в Коктебель. Зимой снова Москва, «Русские Ведомости», «Власть Народа», «Новая Жизнь»*.

В.Ф.Ходасевич. [О себе], 1922.

За личным несчастьем последовала общественная катастрофа, а с нею — отсутствие литературных заработков, угроза голода, голод.

К концу 1917 мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне уверен, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь для себя, я вознамерился поступить на советскую службу.

В.Ф.Ходасевич. Законодатель, 1936.

В январе 1918 поэт определился секретарем третейского суда, разбиравшего тяжбы между рабочими и предпринимателями (заводы и фабрики еще не были национализированы). Поразительной чертой пролетарского судопроизводства было наличие негласного предписания «исходить из той преюдиции, что претензии рабочих вздуты или совсем вздорны», и решать дела по возможности в пользу предпринимателей. Ближе к весне комиссар труда В.П.Ногин предложил бывшему студенту второго курса юридического факультета В.Ф.Ходасевичу — ни много ни мало — заняться кодификацией законов о труде для первой в мире республики трудящихся. «Мне было очень трудно не

* Газета М.Горького в Петрограде (1917-1918), закрытая Зиновьевым.

засмеяться», — признаётся Ходасевич. Он ответил решительным отказом и вскоре подал в отставку.

Затем была служба в Театрально-музыкальной секции Московского Совета, а к концу 1918 — в Театральном отделе Наркомпроса, вместе с Бальмонтом, Брюсовым, Балтрушайтисом, Вяч.Ивановым, Пастернаком. Возглавляла Театральный отдел О.Д.Каменева.

Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленные квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.

В.Ф.Ходасевич. Белый коридор, 1937.

В конце лета 1918 Ходасевич, вместе с П.П.Муратовым, организовал в Москве Книжную Лавку Писателей. Создание этого культурного предприятия, вопреки сложившейся легенде, подкрепленной целой литературой, имело под собой цели не вполне возвышенные; оно «определялось бытием, а не наоборот, то есть попросту говоря возникла она потому, что писателям нужно было жить, а писать стало негде». Но доходами от Лавки было не прокормиться, и осенью он соглашается «заведывать» московским отделением «Всемирной Литературы». Эта скучная, очень административная работа протянулась до лета 1920, «когда пришлось бросить и ее: никак нельзя было выжать рукописей из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро». С середины 1919 он совмещает эту службу с заведованием Московской Книжной Палатой.

Лучшим и самым естественным в этом послужном списке было преподавание. Осенью 1918 Ходасевич начал читать лекции о Пушкине в Московском Пролеткульте. Среди слушателей были Александровский, Казин, Полетаев, Михаил Герасимов — с этим последним связывались тогда большие надежды. В целом уровень студийцев был низок. Вот образцы пролеткультовской поэзии тех лет:

П.Арский:

Довольно слез и унижений,
Нет больше рабства и цепей!
Свободны будут поколенья
От тирании палачей.

Самобытник:

Волнующим стоком, как огненным током,
Забьемся мы соком весенних сердец.

Илья Садофьев:

От масс достойно избраны их первыми депутатами
В царство грядущего, как лучшие из всех,
Вселенная примет и признает только тех,
Которые к ней явятся с нашими мандатами.

Здоровый оптимизм этих строк — находка для врага революции, декадента, эстета. К тому же: «Подлинная стихия Ходасевича — злость» (Вл.Орлов). Но и добрый человек мог бы тут рассердиться. Больной, голодающий, издерганный Ходасевич относится к своей новой работе с добросовестнейшей серьезностью (*Пролеткульт*, 1937):

...я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории — прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность.

Лекции Ходасевича собирали до 40 человек, лекции Андрея Белого — до 60, т.е. полный состав; лекции «идейных вождей» почти не посещались. Идея перенять мастерство Пушкина, отбросив его буржуазно-дворянское содержание, быстро вырождалась. В 1922 Ходасевич вспоминает ([*О себе*]):

...Мешали. Сперва предложили ряд эпизодических лекций. После третьей велели перейти на семинарий. Перешел. После третьего же «урока» — опять надо все ломать: извольте читать «курс»: Пушкин, его жизнь и творчество. Что ж, хорошо и это. Дошел до выхода из лица — каникулы или что-то в этом роде. В Пролеткульте внутренний развал: студийцы быстро переросли своих «идейных вождей». Бросил, ушел.

Ходасевич ушел из Пролеткульта осенью 1919. Этому способствовали не только естественные помехи, но и некоторая зыбкость отмеченной им интеллектуальной честности русской рабочей аудитории. Вот характерный эпизод. При Пролеткульте решено было издавать журнал *Горн*, под редакцией самих студийцев. Для первого номера Ходасевича просили написать статью о стихах М.Герасимова, что он и сделал. (Еще в 1915 он «довольно сочувственно» отозвался о Герасимове в *Русских Ведомостях*.) Статья вышла в двудесятом, II-III, номере *Горна* за 1919, причем обнаружилось, что все критические замечания из нее выброшены, оставлены одни похвалы. Ходасевич потребовал объяснений. Ему сказали, что и в таком виде редакция и сам Герасимов рецензией недовольны. Герасимов перестал посещать лекции Ходасевича. Все это было не вполне обычно для русской литературы: «...кумовство, даже в "гнилой" буржуазной критике не поощрялось...». «Я видел, как в несколько месяцев лестью и пагубной теорией "пролетарского искусства" испортили, изуродовали, развратили молодежь, в сущности очень хорошую...» (*Пролеткульт*, 1937). Последней каплей явилась история с неким Семеном Родовым. В прошлом сионист, член московского комитета Геховера, впоследствии видный деятель ВАППа, редактор журналов *На посту* и *Октябрь*, он прочел на одном из собраний Пролеткульта, в присутствии Ходасевича, свою поэму *Октябрь* (давшую затем название известному журналу). Поэма была перелицована: ее первый, антибольшевистский вариант Родов читал Ходасевичу еще в конце 1917 — и просил его «сделать ему маленькую рекламу» в *Русских Ведомостях* и *Власти Народа*. Родов был откровенный перебежчик. Позже, в берлинской газете *Дни* (от 22 февраля 1922), Ходасевич, вспоминая о послеоктябрьских встречах с ним, писал:

...Семен Родов обличал меня в сочувствии большевикам. Посмеивался над моей наивностью: как мог я не видеть, что Ленин — отъявленный, plombированный германский шпион. Он ненавидел большевиков мучительно. /.../ В том, что большевики продержатся не более двух месяцев, Родов не сомневался.

Как раз в эти годы Родов и его товарищи энергично способствовали развитию булгаринских традиций в русской литературе:

...В 20-х гг. донос в «На посту» означал конец писателя или поэта, смещение редактора со своего места, иногда арест, ссылку, физическое уничтожение. Журнал успешно ликвидировал троцкистов, попутчиков, символистов, футуристов и мн. др. Палачи русской литературы были: Авербах, Лелевич, Родов. Они погубили два поколения писателей и поэтов, ученых, критиков и драматургов. Позже они сами были ликвидированы, но к сожалению сейчас частично «реабилитированы».

Н.Н.Берберова. Курсив мой. Мюнхен, 1972.

Вероятно, Родов и ему подобные не составляли большинства в Пролеткульте, но таковы были способнейшие, и последующее возвышение Родова не кажется случайным: он был на своем месте в свое время. «Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль — и уступить место другим, уже напирющим сзади...» (*Колеблемый треножник*, 1921).

Ходасевич продолжал бедствовать:

Зиму 1919-20 гг. провели ужасно. В полуподвальном этаже не-топленного дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого — в кухню, а не в Европу. Трое* в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). За стеной в кухне на плите спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями... Мы с женой в это время служили в Книжной Палате: я — заведующим, жена — секретарем.

В.Ходасевич. [О себе], 1922.

В таких условиях заканчивал Ходасевич свою третью книгу стихов — *Путем зерна*. Выпустив ее весной 1920, он слег: заболел тяжелой формой фурункулеза.

Эта небольшая книга с антимодернистским названием — одна из вершин в творчестве Ходасевича и одновременно одна из вершин в русской лирике XX столетия. Как и всякое подлинное искусство, она отменяет, отмечает долгие десятилетия, прошедшие со времени ее создания: ни одно из включенных в нее стихотворений не принадлежит единственно и

* Т.е. Ходасевич, А.И.Гренцион и ее сын, Гарик Гренцион, двенадцати лет.

неотъемлемо 1910-м годам — каждое является достоянием любого времени и могло быть написано сегодня. Вдохновение и мастерство в их гармоническом слиянии, острый, бескомпромиссный вкус и редкое чувство композиции отличают эти стихотворения. Они, кроме того, несут в себе невольный портрет поэта, отпечаток глубокой и своеобразной личности. Вот одно из периферийных стихотворений сборника, образец безупречной лирической миниатюры:

БЕЗ СЛОВ

Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобою проведенный шов
По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стежками.

То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая...
И, улыбаясь, твой платок
Перевернул я, дорогая.

Не густо-метафорическая летейская стужа О.Мандельштама, но классическая, сдержанно-созерцательная айдееская прохлада сообщает этим стихам их основной, трагический тон. Правильные рифмы, никогда не диссонирующая мелодия, никакой перегруженности, простейший семантический абрис — все это приметы материала, на ощупь прохладного, как античный мрамор, но лишь от слепых скрывающего напряженную сущность произведения. Тому, «кто прав последней правотой», не нужно преувеличенных средств для достижения полной выразительности. С выходом *Путем зерна* Ходасевич окончательно определяется среди тех «ваятелей слова, которые все свое мышление, все свои чувства и воззрения, отрешив их от родившей их души, умеют обрабатывать, как готовый материал и как

бы представлять пластически...» (Г.Гейне). «Двенадцать строк стихотворения "Без слов" могут служить образцом зрелого и уверенного искусства...», — с некоторой чопорностью скажет в 1921 Георгий Адамович.

Несомненно, что второе лицо этого немого диалога — А.И.Гренцион. С нею связана большая часть стихотворений сборника, обращенных к женщине, в том числе два заключительных. Поэтому книга с бóльшим основанием, чем предыдущая, могла бы быть посвящена ей. Но как *Счастливый домик* был авансом посвящен другу будущего, так *Путем зерна* в двух своих первых изданиях выходит с посвящением другу прошлого: *Памяти Самуила Киссина*.

Поразительны шесть больших стихотворений книги, написанных нерифмованным разностопным ямбом. Это не поэмы, а скорее лирико-эпические фрагменты автобиографической повести.

ОБЕЗЬЯНА

Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но чуть ее пригубив, —
Не холодна ли, — блюдец на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдец.

.

Стих, по своей фактуре, максимально приближен к прозе, шестистопный ямб часто идет без цезуры, нет и следа мелодической стройности рифмованных стихов Ходасевича. «Мастерство и техничность рифмованных стихов Ходасевича. Мастерство и техничность здесь спрятаны; во внешних украшениях стиха автор сдержан и даже скуп» (Б.Вышеславцев, 1922). Скуп, можно добавить, настолько, что неискушенный читатель спрашивает: точно ли это стихи? в чем здесь искусство? но тот же вопрос возникает у неискушенного читателя и над *Илиадой*. Опресненный, угловатый, тяжеловесный ямб Ходасевича — это русский гекзаметр, он в той же мере требует от читателя воспитанного художественного чутья.

Стихи эти, как недавно установлено, навеяны, вероятно, музой Саула Черниховского*, чьи поэмы, написанные на иврите дактилическим гекзаметром, Ходасевич начинает переводить в октябре 1916. Впоследствии переводы из Черниховского составят 2/3 его книги *Из еврейских поэтов*. Ни один из иноязычных авторов не повлиял на Ходасевича в большей мере. Последнюю из переведенных им поэм Черниховского Ходасевич публикует уже в эмиграции, в 1924, — посвятив, тем самым, его творчеству целых семь лет. Поэты были знакомы и состояли в переписке. Именно под влиянием Черниховского у Ходасевича зарождается мысль о создании большой вещи, повести в стихах: так появился отрывок *На Пасхе*, исторический эскиз, написанный гекзаметром, а следом за ним — и белые ямбы. Но повествование и эпос, при всей их притягательности для Ходасевича, не отвечали природе его дарования. К началу 1920-х он оставляет попытки написать поэму и возвращается к интравертированной, интенсивной лирике, бывшей его истинным призванием.

Выход *Путем зерна* завершает восхождение Ходасевича на русский поэтический Парнас. В возрасте 33 лет он окончательно утратил привилегии молодого поэта, от которого еще только ждут его главных достижений, и оказался в числе немногих беспорных авторитетов. Тон рецензий на его стихи

* Саул (Гутманович) Черниховский (1875-1943) — поэт и переводчик, один из классиков новой еврейской литературы, автор лирических стихотворений и лирико-иронических поэм-идиллий, написанных гекзаметром. Переложил на иврит обе эпопеи Гомера, *Калевалу*, *Песнь о Гайавате*, Гете, Мольера. Родился в Крыму, умер в Палестине.

меняется: нет восторженного умиления, нет и поощрительного высокомерия. Явилась потребность судить о них иначе. Вот некоторые реплики, кажущиеся мне верными. П.Губер говорит о «безупречном, необычайно остром вкусе» Ходасевича, о «целомудренной сдержанности» и «совершенно индивидуальном оттенке интимности» его стихов. По замечанию Софии Парнок, слово у Ходасевича «достигает кристальности формулы». Сходным образом отзываясь о книге и М.Шагинян: «Афоризм — вечен; он удается только поэту с напряженным духовным опытом. Между тем у Ходасевича афористичны целые строфы, целые стихотворения... В "Путем зерна" афоризм становится тяжелым, подобным резьбе по камню...». Но изнаночная сторона всякого успеха — зависть: она, во всем многообразии присущих ей форм, питает не только юношеское ниспровергательство и старческое брюзжание, но и соревновательный инстинкт, родственный творческому. С выходом *Путем зерна* Ходасевич невольно приобретает обширную литературную оппозицию. Среди добросовестных и наиболее свободных критиков, скептически отзывавшихся о книге, необходимо указать Г.Адамовича и Ю.Тынянова. Первый писал в 1921: «Ходасевич едва ли не самый умелый из русских поэтов нашего времени... Всякий не потерявший чутья человек, прослушав отдельные вещи Ходасевича, признает, что это прекрасные стихи. Но, прочтя его книгу, он задумается, может быть, живое ли это творчество...». Дальнейшая судьба Адамовича, его путь от акмеизма к *парижской ноте*, представляется мне как бы ответом на вопрос, притом ответом положительным. Ю.Тынянов в известной статье *Промежуток* (1924) писал о Ходасевиче:

...Его стих нейтрализуется стиховой культурой XIX века... Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих, мы имеем на это право...

Это не значит, что у Ходасевича нет «хороших» и даже «прекрасных» стихов. Они есть, и возможно, что через 20 лет критик скажет о том, что мы Ходасевича недооценили.

Психология этой сознательной недооценки совершенно прозрачна — недаром Тынянов так непосредственно обнаруживает беспокойство за ее дальнейшую судьбу. Любимое дитя своей конструктивистской эпохи, Тынянов догадывался, что служит

сиюминутному, преходящему. Его темперамент оказался в резонансе с темпераментом дня. Антигуманитарная сущность модернизма была в то время еще далеко не самоочевидна.

Ходасевич проболел всю весну 1920 и чудом остался жив. Летом, при содействии М.О.Гершензона*, удалось устроиться в санаторий — в Здравницу для переутомленных работников умственного труда. В ней он провел около трех месяцев, а А.И.Гренцион — шесть недель. Гершензон тогда и сам отдыхал в Здравнице, в одной комнате с Вячеславом Ивановым, — здесь возникла их известная *Переписка из двух углов*. Осенью Ходасевича ожидала новая беда. Пройдя в очередной раз медицинскую комиссию, «после семи белых билетов, еще покрытый нарывами, с болями в позвоночнике», он был признан годным в строй: предстояло прямо из санатория, собравшись в двухдневный срок, отправиться в Псков, а оттуда на фронт. Спасла случайность. Оказавшийся в это время в Москве Горький велел ему написать письмо Ленину и сам отвез его в Кремль; Ходасевича переосвидетельствовали и отпустили. Прощаясь с ним, Горький посоветовал перебираться в Петербург: «Здесь надо служить, а у нас еще можно писать».

Ходасевич решает на переезд. Чтобы понять, как сильны были вызвавшие этот шаг причины, достаточно вспомнить, что вся предшествовавшая жизнь поэта была неразрывно связана с Москвой. Правда, «в Петербурге настоящая литература: Сологуб, Ахматова, Замятин, Кузмин, Белый, Гумилев, Блок...», но сам Ходасевич бывал там лишь наездами. В Москве оставались могилы родителей, воспоминания детства и юности, друзья, всё. Вероятно, последовавший в 1922 выезд Ходасевича из Петрограда в Берлин должен был представляться ему шагом уже менее решительным — во всяком случае, он в значительной степени был подготовлен этим.

17 ноября 1920 Ходасевич, А.И.Гренцион и ее сын Г.Гренцион окончательно покидают Москву. (Поэт еще трижды побывает в ней в качестве гостя: в октябре 1921, в феврале и мае 1922.) Перед самым выездом комната их была подчистую

* Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) — известный исследователь Пушкина, историк литературы и эссеист, друг Ходасевича.

ограблена. «Прикрыть наготу» помогли родные, ордер на башмаки выдал Ходасевичу А.В.Луначарский. Лакированные американские полуботинки, полученные после долгих мытарств, оказались малы и были проданы уже в Петрограде.

* * *

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье.

Вл.Ходасевич. Тяжелая лира.

Первым пристанищем Ходасевича в Петрограде была антикварная лавка на Садовой. Спустя несколько дней удалось хлопотать казенное жилье в Доме Искусств*: «Хорошие две комнаты, чисто, градусов 10-12 тепла...» ([*О себе*], 1922). Перебравшись в Дом Искусств, Ходасевич слег и оправился только к январю 1921. С самого своего начала этот год ознаменовался для него небывалым и никогда более не повторившимся творческим подъемом, чему способствовал будоражащий воздух тогдашнего Петрограда.

...именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не бывал уже давно, а может быть и никогда...

Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы...

В этом великолепном, но странном городе... жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Голод и холод не снижали этого подъема, — может быть, даже его поддерживали.

В.Ф.Ходасевич. Дом Искусств, 1939.

* По адресу: Герцена 14 (иначе: Мойка 51), кв.30а, комн.10. Прежнее название улицы Герцена — Большая Морская.

Таким вспомнился поэту Петроград в апреле 1939, за два месяца до смерти. Первое впечатление от северной столицы было гораздо менее благоприятным. 20 января 1921, едва оправившись от болезни, Ходасевич пишет в Москву своему шурину Г.И. Чулкову: «переезжать сюда решительно не советую», «единственный способ устроиться здесь сытно: это — читать лекции матросам, кр(асноармейца)м и милиционерам... Этого Вам не выдержать, как и мне», академический паек вдвое меньше московского, все комнаты в Доме Искусств заняты, «и м.б. самое важное: повальный эстетизм и декадентство. Здесь говорят только об эротических картинках, ходят только на маскарады, все влюблены, пьянствуют и "шалят". Ни о каких высоких материях и говорить не хотят: это провинциально...». Понятно теперь, кому были в том же 1921 адресованы следующие стихи (вошедшие в первое издание *Тяжелой лиры*, но исключенные уже из второго):

Слышать я вас не могу.
Не подступайте ко мне.
Волком бы лечь на снегу!

Понятно также, какое из двух лиц Петрограда на деле являлось настоящим, а какое — карнавальным, условным. Непосредственным свидетельством в пользу истинности первого из них стала, между прочим, и четвертая, самая известная книга стихов Ходасевича, *Тяжелая лира*. Она сложилась в необычайно короткий для него срок: в 1 год и 10 месяцев — в первом издании, в 2 года и 2 месяца — в своем окончательном виде. 29 стихотворений из 43 в первом издании и 28 из 47 в последней авторской редакции книги были написаны в 1921. Коренной москвич, Ходасевич всегда был поэтом петербургской школы: его особая творческая активность в Петрограде находит в этом свое естественное объяснение.

Литературно-художественная жизнь Петрограда еще обладала некоторой автономией, и Ходасевич очень скоро оказывается вовлеченным в ее круговорот. Его избирают членом Комитета Дома Литераторов, членом Правления Петроградского отдела Всероссийского союза писателей, одним из пяти судей чести при Союзе писателей, а к концу 1921 — и членом Высшего совета Дома Искусств. Государство поддерживало

эти свободные ассоциации, не вмешиваясь прямо в их внутренние дела и не препятствуя их самоуправлению. Скучная эта поддержка, вместе с видимым безразличием власти к вопросам эстетики, если и не способствовала вдохновению, то все же создавала некоторую приподнятость духа, которой и отличался Петроград в 1921 — во всяком случае, до августа, унесшего Блока и Гумилева. «Быть может, ничего особенно выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен», — так определил Ходасевич в 1939 период *Тяжелой лиры*, 1920-1922 годы в Петрограде, как бы не беря всерьез восторги современников по поводу его стихов той поры.

Тяжелая лира несет на себе явственный отпечаток атмосферы тогдашнего Петрограда. В стихах Ходасевича появляется неожиданная незавершенность — «зловещая угловатость», «нарочитая неловкость», по выражению Ю. Тынянова, приветствовавшего этот отход поэта от классицизма. Ходасевич и прежде был скуп в отборе поэтических средств, теперь же его стихи истончаются до последней простоты. Он еще глубже архаизирует свою манеру, в его стихах появляется нечто от музыки Державина.

Довольно! Красоты не надо.
Не стоит песен подлый мир.
Померкни, Тассова лампада —
Забудься, друг веков, Омир.

И Революции не надо!
Ее рассеянная рать
Одной венчается наградой,
Одной свободой — торговать...

Внутренняя мотивировка этой архаизации ясна: отмежевание от футуристов всех мастей, противостояние конструктивистскому по форме и деструктивному по существу новаторству, обращение к народности — в державинском значении этого слова. Для Ходасевича, признававшего лишь естественный ход вещей, не терпевшего насилия над природой, — в этом не было ничего нарочитого. Но в глазах литературных филистеров обеих столиц тут содержался вызов: они увидели в Ходасевиче но-

ватора наизнанку. В нигилистической атмосфере тех лет архаизмы были не просто новы, но еще и смелы до дерзости — смелость же в искусстве признается почетной прерогативой новаторов. Носители нового общественного вкуса, обыватели от модернизма, были задеты за живое; их обида усиливалась успехом Ходасевича.

Ибо Петроград обратил к Ходасевичу в 1921 и свое первое, изначально светлое лицо. Пандемотическая слава Сологуба и А.Белого миновала, О.Мандельштама — не наступила. После смерти Блока* и гибели Гумилева Ходасевич, наряду с Ахматовой, становится одним из центров притяжения поэтического Петрограда. Лучшие его стихи 1921 года в собственном смысле слова совершенны: в них нет ничего нарочитого, безукоризненно выбран и выдержан тон, они светятся изнутри, с *последней прямо́той* приобщая нас к *последнему знанию*:

Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.

Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам?

Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.

Эти стихи вызывали восхищение Андрея Белого: «Простой ямб, нет метафор, нет красок — почти протокол; но протокол — правды отстоянного душевно-духовного знания. /.../ вот то, что новей футуризма, экспрессионизма и прочих течений...» (1922). Несколько позже, зимой 1922-1923, на обсуждении сти-

* О ней Ходасевич узнал из письма А.Белого, полученного им в Бельском Устье, колонии Дома Искусств в Псковской губернии, где он провел конец лета 1921.

хов Ходасевича в берлинском кафе Прагер Диле, Белый говорил о «виртуозной скупости слов» в стихах Ходасевича, о том, что в них «каждое слово, как в ванне Архимеда, вытесняет всю лишнюю влагу, и удельный вес звука становится совершенно точным»*.

Наиболее яркие стихотворения *Тяжелой лиры*, еще пока не изданной, внезапно становятся событием дня в Петрограде, завладевают вниманием ценителей и приносят Ходасевичу уже не признание, а некоторое подобие славы. В конце 1921 он много выступает.

... в тот вечер... он читал «Лиду», «Вакха», «Элегию»... Про «Элегию» он сказал, что она еще не совсем кончена. «Элегия» потрясла меня... 23-го декабря он опять был у Иды и читал «Балладу». Не я одна была потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге.

Н.Н.Берберова. Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, 1972.

Стихотворение «Не матерью, но тульской крестьянкой» Ходасевич читал в день его окончания, 2 марта 1922, в кругу литературной молодежи. «...мы не читали "по кругу" — никому не хотелось читать свои стихи после его стихов...» (Н.Н.Берберова).

Нападок, клеветы и злобы не избежал, кажется, ни один писатель, переживший славу или успех. То же можно сказать и о Ходасевиче. В 1922, после панегирической статьи А.Белого в *Записках Мечтателей*, на его след становится Н.Асеев — сначала робко («спорно выступление А.Белого с заметкой о стихах Ходасевича», 1922), затем более открыто и грубо («Нет смысла доказывать, что дурно-рифмованным недомоганиям г.Ходасевича не помогут никакие мягкие припарки», 1923). Если критика Н.Асеева базируется на противоположной эстетике и подогревается завистью, то набравший к этому времени силу Семен Родов примешивает к ней и политику — в форме откровенного доноса. Из восемнадцати страниц своего обзора (*На посту*, 1923, №2-3) он семь, по старой дружбе, посвящает Ходасевичу и одиннадцать — остальным шести по-

* Эти слова приводит в своих воспоминаниях В.Андреев: Возвращение в жизнь. — *Звезда*, 1969, №6, стр.64.

путчикам; для уничтожения *Верст* М.Цветаевой ему хватило двух. В рядах новой критики находим и В.Брюсова. Его отзыв о *Тяжелой лире* в журнале *Печать и Революция* (1923, №1) — печальное свидетельство человеческого и литературного падения некогда замечательного поэта. Общий метод этого рода критики таков: неточная цитата — затем ее же иронический пересказ. Рецензии саморазоблачительны: оппоненты приписывают Ходасевичу свои же собственные и всем очевидные низости: классовую позицию, поиск дешевой популярности, продажность.

Зато в эмиграции, с опозданием на много лет, появилась действительно замечательная — и не стареющая — *рецензия* на четвертую книгу Ходасевича: роман В.Набокова *Дар*. На столе у главного героя романа, поэта Годунова-Чердынцева, мы находим *Тяжелую лиру* — рядом с *Кипарисовым ларцом* Анненского. Один из обаятельнейших героев романа, поэт Кончеев, восходящая звезда эмигрантской литературы, — списан с Ходасевича.

...в квартире Ходасевича в 1932, в Париже ... происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы «Дара», в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева.

Н.Н.Берберова. Курсив мой. Мюнхен, 1972.

Тяжелая лира вышла первым изданием в середине 1922, в Государственном издательстве, с пометой: Москва-Петроград. Ходасевич был лишен возможности проконтролировать этот выпуск. В 1925, в одном из неопубликованных писем, он скажет: «...кстати, моск. изд. совершенно негодное: в нем только искажающих смысл опечаток более 15, стихи не в том порядке и т.д. ...». О допущенных издательством оплошностях он узнал уже в Берлине, куда приехал с Н.Н.Берберовой 30 июня 1922.

...с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт (№16!) на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург, и тамошних друзей моих и вообще — Россию, изнури-

тельную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои.

В.Ф.Ходасевич. [О себе], июль 1922.

Кусок картона, на котором в 1922 Ходасевич наскоро нацарапал для Н.Н.Берберовой конспект своей автобиографии, заканчивается словом: *К а т а с т р о ф а* — так он обозначил свое новое, последнее страстное увлечение женщиной. 21 ноября 1921, в Петрограде, на литературном вечере у И.М.Наппельбаум*, Ходасевич знакомится со студенткой Зубовского института истории искусств, начинающей поэтессой Ниной Николаевной Берберовой (р.1901), которой вскоре предстоит стать его третьей женой. Красотой и своеобразием Берберова не уступала своим предшественницам, тронувшим сердце поэта, твердостью характера и целеустремленностью — много превосходила их. Впоследствии она составила себе имя в русской эмиграции как поэт и беллетрист, а после Второй мировой войны, переселившись из Парижа в Америку, занимала кафедры русской литературы в ряде известных университетов. Человек необычайного жизнелюбия и редких способностей, Берберова явилась ярчайшим выразителем последнего и самого радикального поколения нигилистов, доставшегося XX веку в наследство от XIX, рудиментом рационализма в эпоху его кризиса. Любопытную характеристику этому поколению дает в своей *Второй книге* Н.Я.Мандельштам:

Я не понимала разницы между мужем и случайным любовником и, сказать по правде, не понимаю и сейчас... Мое поколение, собственноручно разрушившее брак, что я и сейчас считаю нашим достижением, никаких клятв верности не признавало.

Несомненно, что это новое увлечение было взаимным: противоположности сходятся, а Берберова решительно во всем была непохожа на Ходасевича; есть на это и прямые указания. Но ясно также и то, что роман перешел в супружество волею обстоятельств. С началом НЭПа перед любовниками открылась возможность покинуть Россию — разумеется, на время: никто

* Ида Моисеевна Наппельбаум (р.1901) — поэтесса, дочь известного фотографа-художника М.Наппельбаума, в квартире которого, по адресу Невский 72-10, и происходил упомянутый литературный вечер. Живет в Ленинграде.

не предполагал, что террор может продлиться десятилетия. Ходасевичу предстоял мучительный разрыв с А.И.Гренцион — временный выезд мог сгладить, облегчить его. В Берлине начинала складываться большая община русских литераторов, в 1922-1923 там было около ста русских издательств, газеты, журналы; ненадолго в этом городе оказываются чуть ли не все лучшие силы русской литературы. Наконец, НЭП оставлял надежду на то, что дела в России скоро наладятся. Ходасевич и Берберова не собирались становиться эмигрантами: Ходасевич, как мы видели, заявил об этом с полной определенностью, и уже в Берлине. Но очень скоро, в конце 1922, выяснилось, что обратной дороги для него нет.

В мае 1922, подготовив *Тяжелую лиру*, Ходасевич отправляется в Москву — хлопотать о выезде.

Ходасевич пробыл в Москве несколько дней и два-три раза заходил к нам. В Союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралась по тому времени огромная толпа. Его любили и любят и сейчас...

Ходасевич был весел и разговорчив. Его радовала перспектива отъезда. Он рассказывал, что уезжает с Берберовой, и умолял никому об этом не говорить, чтобы не дошло до его жены, Анны Ивановны Ходасевич, сестры Чулкова: «Иначе она такое устроит!» В испуге Ходасевича мерещилось что-то наигранное, притворное. Меня поразило, что он сматывается втихаря от женщины, с которой провел все тяжкие годы и называл женой. Мандельштам тоже поморщился, но не в его привычках было осуждать поэта: видно, так надо...

Н.Я.Мандельштам. Вторая книга. Воспоминания, стр.161.

Отъезд держался в тайне от А.И.Гренцион. Вернувшись с визами в Петроград, Ходасевич последние три дня в этом городе прожил на Кирочной, в квартире художника Ю.П.Анненкова, после чего они с Берберовой выехали через Литву в Германию.

Честолюбивая, независимая, полная жизни Берберова не стала, да и не могла стать, идеальной спутницей стареющему поэту. Безоговорочно признавая литературный авторитет Ходасевича и его превосходство над нею в общей их профессии, она всегда оставалась его эстетическим противником. Можно

предположить, что любовь к Ходасевичу и понимание его стихов явились у нее одновременно, взаимно помогая друг другу, но не затрагивая ее человеческой сущности, — иначе не объяснить ни самодовлеющего, природного атеизма ее сочинений, ни почтительного изумления перед поэзией Маяковского, отвергаемой Ходасевичем: смещение пристрастий к этим двум авторам в сознании писателя означало бы плоский эклектизм. С Ходасевичем Берберова прожила немногим более десяти лет. Их союз никогда не был скреплен подписями и печатями, и в 1932, в Париже, когда она оставила поэта, чтобы вскоре стать подругой Н.В.Макеева, никаких формальных препятствий не возникло; не было между ними и ссоры. Кажется, Ходасевич пытался вернуть Берберову; но, потерпев в этом неудачу, уже в 1933 он женится вновь — на Ольге Борисовне Марголиной, племяннице М.А.Алданова*. О последней из женщин, на которую бросает свет жизнь Ходасевича, известно немного. По словам Берберовой, еще в юности придя к убеждению, что иудаизм — вера мужская и женщине нечего в ней делать, Марголина крестилась в католичество. Зимой 1931-1932, в Париже, ей было под сорок; она жила с сестрой, зарабатывая на жизнь вязанием. С Ходасевичем ее сблизило их общее одиночество. После его смерти, в годы оккупации Франции, она погибла в одном из нацистских концентрационных лагерей.

Из 47 стихотворений *Тяжелой лиры* лишь 4 непосредственно связаны с Берберовой. И все же ей, в той же мере, как и живительному воздуху Петрограда, обязана эта книга своим существованием. В обществе Берберовой Ходасевич ненадолго обретает вторую молодость. Жесткими декорациями для этого последнего всплеска романтического чувства становятся в июне 1922 каменные громады Берлина, этой «мачехи российских городов».

* * *

* Марк Александрович Алданов (Ландау, 1889-1957) — беллетрист и историк литературы, эмигрант, автор знаменитых в русской диаспоре исторических романов, которые Ходасевич называл *чихающим жанром*. «Все писательское умение Алданова, язвил он, имеет целью порадовать читателя тем, что цари и полководцы чихают как простые смертные...» (Л.Любимов. На чужбине. — *Новый мир*, 1957, №3).

Годы 1921-1925 в жизни Ходасевича неразрывно связаны с Горьким. Писатели познакомились в 1918, при организации «Всемирной Литературы», а с 1921, несмотря на «разницу... литературных мнений и возрастов», знакомство это приняло характер тесной дружбы.

Если правда, что в дружбе равенство невозможно, то придется признать, что в этом странном союзе старшим партнером был Ходасевич. Горький в эти годы являлся, вероятно, едва ли не самым известным писателем в мире, он прямо наследовал славу Толстого, без которой и его слава была бы невозможна, — и в этом единственном смысле был преемником великого яснополянского моралиста. Для многих авторов мнение Горького было приговором. Случалось, люди заболели, получив его отрицательный отзыв*, даже частный. При всем том, подружившись с Ходасевичем, Горький оказался под влиянием человеческой и творческой индивидуальности своего молодого и не столь известного друга.

Я бы сказала, что перед Ходасевичем он временами благоговел — закрывая глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге. Таких людей около него не было: одни, завися от него, льстили ему, другие, не завися от него, проходили мимо с глубоким, обидным равнодушием.

Н.Н.Берберова. Курсив мой, 1972.

Поводом к их сближению послужила уже установившаяся дружба Горького с племянницей поэта В.М.Дидерихс, художницей, написавшей, между прочим, портреты Горького и Ходасевича. В 1921 она со своим вторым мужем И.Н.Ракицким, тоже художником, была в числе постоянных обитателей густонаселенной квартиры Горького в Петрограде на Кройверкском проспекте. «Вот это обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Литературные дела возникали и тогда и впоследствии, но как бы на втором пла-

* См., напр., его переписку с Кавериним: Литературное наследство, т.70.

не...», — скажет Ходасевич в 1936. Одним из таких второстепенных дел было, например, принятие Горького в только что возникший в Москве в 1918 Союз Писателей: для вступления по уставу полагались рекомендации двух членов правления — рекомендации Горькому написали Ходасевич и Ю.К.Балтрушайтис (он еще не был тогда литовским посланником).

Открытая вражда Зиновьева, устраивавшего у Горького обыски и грозившего ему, а затем и ссора с Лениным, — вынудили Горького осенью 1921 покинуть не только Петроград, но и советскую Россию. В июне 1922 он жил в Германии, на побережье. Оказавшись в Берлине, Ходасевич тотчас же написал ему. Так началась их переписка, длившаяся затем по август 1925 включительно. Одна из ее половин, 32 письма Горького к Ходасевичу, является в настоящее время собственностью Библиотеки Конгресса в Вашингтоне и полностью опубликована; другая хранится в надежном месте. В октябре 1922 Горький уговорил Ходасевича поселиться в городке Саарове, близ Фюрстенвальде, где они в тесном общении прожили до середины лета 1923. Горький вынашивал *Дело Артамоновых*, Ходасевич писал *Поэтическое хозяйство Пушкина*, вышедшее затем в 1924 с громадным количеством опечаток: издательство «Мысль», «налаженное» в 1921 Ходасевичем и Гумилевым, отказалось выдать посреднику Ходасевича корректуру для сверки. Ненадолго расставшись, писатели вновь съехались — в ноябре, в Праге, в отеле «Баранек», причем Горький получил свою чешскую визу от самого президента Масарика.

Однако, обоих нас влекло в захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 г., и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С этого дня я Горького уже не видел.

В.Ф.Ходасевич. Горький, 1936.

В основе их общежития — писатели прожили под одной крышей более полутора лет — имелись и деловые контакты. До 1922 в России существовала только военная цензура. В 1922 она сменилась общей, крайне неуступчивой. Публиковаться стало нигде: частные журналы и издательства закрывались. В это время в Берлине находился Виктор Шкловский, спасавшийся здесь от ареста по делу социалистов-революционеров (его повинная была принята осенью 1923, после чего он вернулся в Россию). Ему пришла в голову идея организовать в Берлине политически нейтральный журнал, в котором могли бы участвовать авторы, живущие по обе стороны границы. Горький и Ходасевич его поддержали. Базой для журнала выбрали издательство «Эпоха», совместными владельцами которого были меньшевики С.Г.Каплун-Сумский и Д.Ю.Далин (с 1923 — только первый из них).

Мы — В.Ходасевич, Виктор Шкловский и я — затеваем здесь большой научно-литературный — без политики — журнал «Эпоха».
М.Горький. Письмо к Ф.Г.Ласковой от 10.01.1923.

...это журнал аполитический, таковым он и останется, пока в нем работают проф. Ф.А.Браун, В.Ф.Ходасевич и я.
М.Горький. Письмо к Л.М.Леонову от 2.11.1924.

Журнал состоялся под названием *Беседа*, предложенным Ходасевичем, под литературной редакцией Горького, Андрея Белого и Ходасевича, причем участие Белого было чисто номинальным. Всего в 1923-1925 вышло семь книг журнала. Из иностранных авторов в *Беседе* печатались С.Цвейг, Д.Голсуорси, Р.Роллан, из советских — Серапионовы братья. Одной из причин быстрого прекращения журнала было то, что, несмотря на все усилия Горького, он так никогда и не был допущен в Россию — это обострило финансовые трудности, стоявшие перед издателями; другой причиной стало то, что к середине 1925 распался союз Горького и Ходасевича, бывший реальной основой этого издания.

Политическая ориентация Горького, при котором почти постоянно находились эмиссары Москвы, быстро менялась. Во время первой встречи с ним в июле 1922 Ходасевич был поражен тем, что отношение Горького к советскому прави-

тельству шло много дальше его собственного, критического: оно было открыто враждебным. Горький спешит предостеречь Ходасевича от участия в сменовеховском *Накануне* (литературный отдел там вел А.Н.Толстой), проявляющего недопустимую толерантность к большевикам. Он решительно отказывает издателю *России* И.Лежневу, просившему у него рассказ: в знак протеста против недопуска в СССР *Беседы*, Горький бойкотировал *все* советские журналы — и не сделал исключения для одного из последних независимых русских изданий на родине. Конечное примирение Горького с советской властью было продиктовано психологической невозможностью для него разрушить массовую иллюзию: легенду, сложившуюся вокруг его имени, образ передового борца за пролетариат; испортить свою героизированную, лубочную биографию. Так понимал это Ходасевич. О тщательно оберегаемой биографии Горького он писал:

...я бы не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв — в значительной степени сделался ее рабом... Но я не уверен, что он любил ее.

В 1922-1923 Горький не выносит сменовеховцев, а уже к середине 1925 — открыто отмежевывается от эмигрантов. Так же быстро и в том же направлении меняются и его литературные оценки, в частности, его отношение к стихам Ходасевича. Вот некоторые высказывания из его писем:

...посылаю обещанные книжки стихов; обратите внимание на Ходасевича...

(от 16.04.1922, к Е.К.Феррари)

Ахматова — однообразна, Блок — тоже, Ходасевич — разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и — большой, строгий талант.

(от 2.10.1922, к Е.К.Феррари)

Я — поклонник стиха классического, стиха, который не поддается искажающим влияниям эпохи, капризам литературных настроений, деспотизму «моды» и «законам» декаданса. Ходасевич

для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего, в конце концов, поставит его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина.

(от 10.10.1922, к Е.К.Феррари)

Ходасевич пишет совершенно изумительные стихи.

(от 13.03.1923, к М.Л.Слонимскому)

По словам Ходасевича, лучшего, на мой взгляд поэта современной России...

(от 15.03.1923, к К.А.Федину)

Ход(асевич), прежде всего, прекрасный поэт. Затем он действительно зол. Очень вероятно, что в нем это — одно из его достоинств, но, к сожалению, он делает из своей злобы — ремесло.

(от 31.03.1925, к М.Л.Слонимскому)

Зол он. И, как-то, неоправданно зол. И не видишь: на что он мог бы не злиться.

(от 13.11.1926, к Д.А.Лутохину)

Охлаждение Горького к Ходасевичу наметилось во второй половине 1923 и затем прогрессировало. Ему способствовали эстетические и политические разногласия, бывшие изначально — и лишь временно заслоненные взаимной человеческой симпатией. Но его подлинной причиной было, несомненно, отношение Ходасевича к творчеству Горького — а возможно, и конкретная обида, с этим отношением связанная. Легко представить себе, что Ходасевич не вызывал Горького на разговоры о его сочинениях, но на прямые вопросы давал прямые ответы. Вот характерный диалог между писателями:

— А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Очень жалко. Вся жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

В.Ф.Ходасевич. Горький, 1936.

Горький считает себя реалистом — Ходасевич видит в нем романтика, а в его «полуреальном, полувоображаемом типе благородного босяка», выведенном «на фоне сугубо-реалистических декораций», — «двоюродного брата того благородного

разбойника, который был создан романтической литературой». Еще в 1906, в самом начале своего писательского становления, Ходасевич скептически высказывался в печати о художественности сочинений Горького и писателей его круга; Горький знал эти отзывы.

В ноябре 1923 Горький пишет Ходасевичу, что «зверство» и «духовный вампиризм» большевиков, именно — Н.Крупской и М.Сперанского, устроивших в России разгром массовых библиотек*, побуждают его «писать заявление в Москву о выходе... из русского подданства». Этот жест Ходасевич назвал «театром для себя»: оба, отправитель и адресат, в равной мере сознавали, что Горький не хочет объявить себя эмигрантом, не может протестовать всерьез; но и вовсе смолчать в этом случае он стыдился. Письмо это было жестом неловкого оправдания, знаком зависимости Горького от Ходасевича, чей авторитет в русской эмигрантской общественности продолжал, в отличие от его собственного, оставаться неизблемым. Такого рода неловкости накапливались. Для быстро большевеющего Горького становится сначала неудобной, а затем и невыносимой нравственная тирания Ходасевича.

Так, на фоне растущих политических разногласий, подкрепленная разногласиями литературными и питаемая обидами, начала вырисовываться легенда о злом Ходасевиче. Она была тут же подхвачена обиженными и литературной сворой и, в ряду прочих причин, способствовала закрытию для Ходасевича пути к русско-советскому читателю.

Был ли Ходасевич в действительности зол? Вопрос этот важен для уяснения его человеческого облика. О злости и всезнайстве Ходасевича говорят и другие современники, в частности, И.Бунин. И все же эти высказывания не кажутся мне убедительными. Современники бессильны избежать этической aberrации при взгляде на писателя. Бытовое острословие, сухость, умение держать людей на некотором расстоянии —

* Так называемый Указатель об изъятии анти-художественной и контр-революционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя, — запрещал книги Платона, И.Канта, А.Шопенгауэра, В.Соловьева, И.Тэна, Д.Рёскина, Ф.Ницше, Л.Толстого, Н.Лескова, И.Ясинского. Отделы религии в библиотеках должны были впредь содержать только антирелигиозные книги. Все это и вызвало возмущение Горького.

еще не злость: скорее защитная оболочка; а защищаться было от кого. Притом свое последнее слово писатель произносит не в застольной беседе, а в своих сочинениях. И тут выясняется, что Ходасевич вовсе не зол. Он отказывается петь хвалу народным кумирам, но его литературная и человеческая непредвзятость позволяют ему видеть и отмечать достоинства даже у безнадежно скомпрометированных авторов. Ходасевич знал, что в дрейфующем сознании Горького и в его высказываниях он из «поэта-классика», противопоставляемого декадентам, всего за каких-нибудь три года слинял в «символиста по должности». Это не помешало ему откликнуться на смерть пролетарского писателя следующего рода *злословием*:

В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, — может быть потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видел человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Перелистав *Некрополь* и другие сочинения Ходасевича мемуарного характера, мы найдем много столь же добросовестных высказываний о писателях, ни в каком смысле ему не близких, а порою и очень далеких. Нелегкий свой долг — «исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова» — Ходасевич-мемуарист выполнил с большим достоинством.

Со второй половины 1920-х годов началось окончательное, уже безвозвратное падение Горького. Но Ходасевич и лучшая часть эмиграции, как поруганная совесть, продолжают тревожить его. Вот какие странные вещи пишет Горький в письме к редактору журнала *За рубежом* М.Е.Кольцову (от 19.12.1932):

Отличная идея дать статью о поэзии эмигрантов. Поэзия — насковзь пессимистическая, образцы — прилагаю, вырезал из *юбилейной* — 50-й книги «Совр. Записок», «юбилейность» следует подчеркнуть. Но вместе с этим следует, мне кажется, обратить внимание наших поэтов на ловкость, на умение, с коими эмигранты

делают из дерьма изящнейшие козюльки, тогда как наши ребята отличнейший материал превращают в словесное дерьмо...

...пессимизм этот весьма гимназический и — наверное — у многих поэтов является «служением традициям школы», метр которой — Ходасевич.

Даже в лучшие свои дни Горький не был правдолюбом. Четыре стиха из *Безумцев* Беранже («Господа, если к правде святой», в переложении В.С.Курочкина), угодившие в его пьесу, были, без преувеличения, девизом всей его жизни. Хорошо известно, что он не выносил дурных вестей и предпочитал им открытую ложь — свою и чужую. Ходасевич, настаивавший на том, что «истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины», уважал Горького — быть может, к несчастью для себя. Это ставило его в трудное положение. Именно уважая Горького и живя с ним в тесном контакте, он не мог, сам того не желая, не разоблачать обиходной лжи и не оспаривать слишком утопических видений *золотого сна*. В письме Горького к А.П.Чапыгину от 13.08.1925 читаем:

Я и знаю, и хорошо чувствую, как тяжело положение писателя в современной России. Но почему-то все крепче надеюсь, что это скоро минует...

Может быть, это самоутешение? Не знаю. Но я «люблю верить», как на днях упрекнул меня поэт Ходасевич. Верю же я только в человека. Только в него. Это вся моя религия, весьма мучительная, но в той же мере и радостная. Так-то.

Ходасевич тяготился своей невольной обязанностью и страдал не меньше Горького. Разрыв назревал с двух сторон. Прекращение *Беседы* давало ему повод покинуть Сорренто: 18 апреля он и Н.Н.Берберова уезжают в Париж, ставший к тому времени столицей русской литературной диаспоры. Поэт понимал значение этой разлуки с Горьким.

...Ходасевич сказал мне: мы больше никогда его не увидим. И потом... добавил с обычной своей точностью и беспощадностью:

— Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию.

Н.Н.Берберова. Курсив мой, 1972.

Формально издатели *Беседы* расстались друзьями и продолжали переписываться. Известны пять писем Горького: от 15, 19 и 29 мая, от 20 июля и затем от 13 августа. На это последнее, промучавшись несколько дней, Ходасевич решил не отвечать вовсе. Как и два предыдущих, оно пересыпано самоутешительными прожектами и мелкой просоветской ложью. Ходасевич выбился из сил, деликатно растолковывая Горькому то, что тот прекрасно знал и сам, — и, наконец, сделал решительный шаг.

* * *

Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня боятся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь свою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.

В. Набоков.

Исключая годы студенчества и военного коммунизма, основным источником средств к существованию для Ходасевича всегда были литературные заработки. При этом он понимал, что чрезмерная эксплуатация поэтического вдохновения губительна и недостойна: нельзя превращать музу в дойную корову. Поэту мы бываем благодарны не только за написанное им, но также и за то, чего он *не* написал. Еще в России Ходасевич печатал рассказы, критические и библиографические статьи, занимался литературоведением, сочинил и издал детскую сказку. В 1925, декларируя себя эмигрантом, он знал, что заработки будут малы и случайны; но знал также, что они будут.

Первое соприкосновение Ходасевича с парижской эмиграцией летом 1924 не способствовало оптимизму. Но дорога в Россию была для него закрыта: его имя оказалось в одной из первых проскрипций — в списке большой группы профессоров и писателей, намеченных к депортации, и его добровольный отъезд в начале 1922 лишь предотвратил насильственную высылку в конце того же 1922. И все-таки он долго не решался «поставить обе ноги на почву, которая считается твердой» (Н.Н.Берберова). В апреле 1925, окончательно осев в Париже, он оказался в положении более чем неустойчивом, перед лицом мрачного, безрадостного будущего.

В современной России литература первой русской эмиграции обыкновенно представляется явлением искусственным и нежизнеспособным, и это объясняют ее эмигрантской природой. Но Ходасевич помнил, что величайшие творения польской поэзии сложились в XIX веке в условиях непримиримой и безнадёжной эмиграции, помнил, что эмигрировать собирались Державин и Пушкин, — и не считал *отрыв от почвы* препятствием творчеству. Слабость русской эмигрантской литературы он видел в том, что она — не в достаточной степени эмигрантская. Да и самая слабость эта была не такова, какою могла казаться в Париже, в двадцатые и тридцатые годы. Представление о ней возникло в рефлексирующем сознании русских изгнанников, которым хотелось, чтобы *вся* литература ушла из России вместе с ними, и — со злорадной готовностью было подхвачено и раздуто несклонной к рефлексии литературой пролетарской. Не забудем: И.А.Бунин, И.С.Шмелев, Б.К.Зайцев, А.И.Куприн, А.М.Ремизов, П.П.Муратов, Д.С.Мережковский, Зинаида Гиппиус, М.А.Алданов, М.А.Осоргин, Ф.А.Степун, Тэффи, С.Л.Рафалович, В.А.Амфи-театров, Ю.И.Айхенвальд, С.А.Соколов-Кречетов, С.К.Маковский, А.М.Федоров, Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Г.Адамович, Н.А.Оцуп, Марина Цветаева, Владимир Набоков — были эмигрантами. Двое последних из этого ряда целиком сложились в эмиграции. Ходасевич написал в изгнании свою лучшую прозу и драгоценнейшие из своих стихов. Вспомним далее, насколько это в наших силах, забытое, *незамеченное* поколение: Б.Поплавского, В.Смоленского, А.Ладинского, Анну Присманову, Ирину Кнорринг, Нину Берберову, Зинаиду Шахов-

скую, А.Гингера, Юрия Мандельштама, Илью Зданевича, Б.Божнева, Ю.Одарченко, Ю.Терапиано, Ю.Фельзена, В.Вейдле, Г.Венуса, В.Андреева, С.Либермана, В.Сосинского — всех тех, кого русская литература в той или иной степени принесла в жертву русской революции. И тогда, возможно, не покажется чрезмерным преувеличением мысль о том, что литература первой эмиграции качественно не уступает русско-советской, взятой на том же временном интервале.

Обосновавшись в Париже, Ходасевич становится, по преимуществу, литературным критиком: сначала в газете А.Ф.Керенского *Дни* (в 1925-1928 она издавалась в Париже), затем в газете П.Н.Милюкова *Последние Новости* и, наконец, с 1927 до самой своей смерти — в газете *Возрождение* (ее первым редактором был П.Б.Струве), где вместе с М.А.Алдановым он заведует литературным отделом. Ходасевич печатается и в других газетах и журналах, которых тогда было много. Важнейшим изданием эпохи становится толстый журнал *Современные Записки*, в числе руководителей которого были известные еще в России публицисты и общественные деятели социалистической ориентации: М.В.Вишняк, А.И.Гуковский, В.В.Руднев, Н.Д.Авксентьев, И.И.Фондаминский. Журнал просуществовал 20 лет: с 1920 по 1940. Культурное значение его было столь велико, что к началу 1970-х многие западные университетские библиотеки подняли вопрос о переиздании всех семидесяти томов журнала. Его полный оригинальный комплект давно превратился в библиографическую редкость.

Ходасевич был в числе немногих писателей старшего поколения, видевших в молодежи не конкурентов, а смену.

В газету «Возрождение», как и в журнал «Современные Записки», Ходасевич привлек целую плеяду молодых эмигрантских поэтов и писателей... Вокруг него, как поэта и критика, группировалось все то, что было наиболее жизнеспособным в условиях эмиграции. Эта жизнеспособность отличает сейчас окружение Ходасевича от тех, кто группировался вокруг Марины Цветаевой и «Цеха Поэтов».

Н.Берберова. Предисловие к: В.Ф.Ходасевич. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954.

Литературная критика становится суверенной областью Ходасевича, где лишь впоследствии, в 1930-х, он вынужден был делить власть с Георгием Адамовичем. Но его пиетет как поэта, критика и литературоведа распространяется лишь на литературные круги и не спасает от бедности и унижений. Во главе печатных органов стояли, как правило, политики и революционеры, все помыслы которых были направлены на скорейшее облегчение участи России. Стихов они не понимали и не любили; не понимали они и значения Ходасевича для русской культуры и его ужасного положения, которому часто сами невзначай способствовали. Вот фрагмент, рисующий одновременно частную и общественную жизнь поэта и относящийся, вероятно, к 1926:

Я не могу оставить Ходасевича более чем на час: он может выброситься в окно, может открыть газ... Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию «Дней». Возвращается униженный и раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе, то здесь, то там, а чаще в Ротонде... Ночами Ходасевич пишет.

Н.Н.Берберова. Курсив мой, 1972.

Документы апатрида не давали Ходасевичу права работать на жалованье, оставляя ему лишь свободные профессии, например, писательство: другой у него и не было. Французские журналы в те же годы и слышать не хотели о сотрудничестве с русскими эмигрантами: все изгнанники без разбора расценивались как буржуазные акулы, бежавшие от справедливого народного гнева. «В 1925-1935, несмотря на самоубийства Есенина и Маяковского, на трудности Эренбурга, на исчезновение Пильняка, на слухи о беспокойстве Горького, вера в то, что СССР несет молодому послевоенному миру и в особенности левому искусству обновление, необозримые перспективы, была на Западе сильнее всех колебаний и сомнений...» (Н.Н.Берберова). Оставалась эмигрантская пресса, с ее грошовыми гонорами, политической узостью, ожесточенной конкуренцией и расчетом на массового читателя. П.Н.Милюков прямо говорит

Ходасевичу (вероятно, в 1927), что его газете он «совершенно не нужен». Дон Аминадо, Лоло (Л.Г.Мунштейн), Тэффи*, а затем и Берберова, закрепившаяся, в отличие от Ходасевича, в *Последних Новостях*, — пользуются неизмеримо большей популярностью, а значит — и всеми вытекающими отсюда преимуществами. Бедность была нешуточной: 40, а то и 30 франков в день на двоих, что ощутимо ниже той нормы в 60 франков, которая обеспечивала, по Э.Хемингуэю, скромное, но сносное существование вдвоем в эти годы. Берберова в своей автобиографии по счету приводит предметы домашней утвари, которыми они располагали.

Молодость легко справляется с подобного рода трудностями. Ходасевич уже немолод и тяжело болен. Он плохо спит, много кашляет, его мучают долгие боли где-то глубоко внутри. Доктор М.К.Голованов, лечивший его бесплатно, полагает, что это печень, «но диеты не дает, потому что никакой диеты Ходасевич держать не может: он всю жизнь (кроме голода революционных лет) ест одно и то же: мясо и макароны...» (Н.Н.Берберова). Туберкулез позвоночника подлечен, но то и дело возвращается фурункулез: зима 1920 не прошла для него даром. Лечение почти не приносит результатов, будущее не сулит облегчения. При всем том ему нужно работать.

«Постепенно он все меньше писал стихов и все больше становился критиком...» (Н.Н.Берберова). Здесь мы касаемся второй части легенды, сложившейся вокруг Ходасевича: разрыв с отечеством, жалкое положение эмигранта — погубили в нем поэта.

В эмиграции колдуны умирают от голода духовного... Вл.Ходасевич, переехав в Париж, тоже печатно заявляет о своей эмигрантской благонадежности.

М.Горький. Письмо к К.А.Федину от 17.09.1925.

Стихи же ему изменили, и с этой изменой он ничего не мог поделаться... его молчание как поэта страшней и мучительней, чем у кого бы то ни было. Ходасевич умер в 1939 году. За послед-

* Надежда Александровна Бучинская, урожд. Лохвицкая (1872-1952) — драматург, поэт, автор юмористических рассказов.

ние двенадцать лет своей жизни он написал с десятков не лучших своих стихотворений.

В. Андреев. Возвращение в жизнь. — «Звезда», 1969, №6.

Горестное существование эмигранта подкосило Ходасевича. Газетная работа спасала от полной нищеты, но не давала возможности заняться своим делом, делом писателя.

Вл. Орлов. Перепутья. М., 1976.

Все эти высказывания грубо тенденциозны. Стоит ли напоминать читателю о судьбах *внутренних эмигрантов, правых попутчиков* и тех несчастных, которые решились *вернуться*? Ходасевич до последнего дня зарабатывал себе на хлеб литературным трудом, не служа никому: ни прямо, ни косвенно; он умер в 1939 своей смертью — и без малейших признаков ностальгии. Последнее обстоятельство так и осталось загадкой для тех, чье сознание определяется бытием.

Умер Ходасевич незадолго до войны. Он был типичным представителем «искусства для искусства». В отличие от Бунина и Куприна, от Шаляпина и Алехина, он тоски не испытывал, так как жил фикциями, не сознавая, что индивидуализм, который он проповедовал, обедняет, сковывает его поэтические возможности. «В собственном соку» ему было хорошо, потому что он не знал подлинного простора.

Л. Любимов. На чужбине. — «Новый мир», 1957, №3.

Слог выдает писателя с головой: ему можно не возражать. Замечу лишь, что Любимов проявляет в своих воспоминаниях трудно объяснимую непоследовательность, которую не списать даже на редакторские вторжения. Чувствуется, что в глубине души он восхищается Ходасевичем, но это — опасливое восхищение. Таковы же в своих заметках и цитированные выше критики. Но мысль, высказанная Л. Любимовым, кажется вполне правильной. Несомненно, фикция, т.е. художественная литература, а точнее — русская поэзия, была подлинным отечеством Ходасевича, его духовной родиной. Сохранился набросок стихотворения, воспроизведенный Берберовой по памяти и возникший не позднее начала 1922:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,

И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

России пасынок, о Польше
Не знаю сам, кто Польше я,
Но восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.

Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке.

Речь здесь идет о восьмитомнике Пушкина, чуть ли не единственном имуществе, вывезенном Ходасевичем за рубеж. Ломоносов, Державин, Пушкин, образы, приводимые в движение этими и другими драгоценными именами, — определенно значили в его понимании родины больше, чем вся география и политика современной ему России, вместе взятые. «Все можно вырвать иль выжечь из нашей памяти, но Медного Всадника, но украинской ночи, но Тани Лариной мы не забудем...», напишет он в 1928. Теперь почти очевидно, что благоговейно хранимые поэтические тексты явились тем скрепляющим звеном, которое позволило русским в эмиграции остаться народом, не раствориться в вавилоне западной цивилизации. Ходасевич одним из первых почувствовал это. Незадолго до смерти он сказал о четырехстопном ямбе: «Он крепче всех твердынь России,/Славнее всех ее знамен...».

Конечно, Ходасевич страдал от утраты фактической России, одновременно «омерзительной» и «чудесной». Н.Н.Берберова вспоминает о приступах отчаяния, по временам овладевавших им: в 1924 «Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России...». Эта реплика показывает, что он (действительно — в отличие от многих) понимал: той России, без которой нельзя ни жить, ни писать, более не существует, а есть другая: та, где нельзя — ни жить, ни писать. И есть третья, главная, незаслониная омерзитель-

тельной маской, недоступная тлению, инвариантная Россия — в четырехстопном ямбе, в Пушкине, в нем самом. Видно, что и эта, вслед за его пресловутой злостью, часть бытующего представления о Ходасевиче — неверна: не эмигрантская, а человеческая судьба его сложилась так, что стихи постепенно уступили в ней место прозе.

Основу прозы, написанной Ходасевичем в изгнании, составляют три прижизненные книги: *Державин* (1931), сборник статей *О Пушкине* (1937) и его мемуары — *Некрополь* (1939). Первую из них В.Андреев определил как «лучшее, что о Державине написано». Это настолько верно, что даже советские энциклопедии, БСЭ и КЛЭ, признали этот труд «сохраняющим значение». В тех же словах отдают они дань и работам Ходасевича о Пушкине, в том числе — «интереснейшему» (В.Андреев) сборнику 1937 года. Второе из этих сделанных сквозь зубы признаний очень многозначительно. Если интерес к Державину, «лже-классицисту», певцу Фелицы и царскому министру, не мог в советской России гарантировать надежный кусок хлеба в 1920-1930-е годы, то *племя пушкинovedов* было здесь многочисленно всегда, с первых дней. Этим аборигенам необходимо было отстаивать свою территорию от «буржуазного защитника Пушкина» — так в 1938 назвал Ходасевича В.Десницкий. Иногда они это делали с излишней горячностью. Несмываемым пятном в биографии Б.В.Томашевского останется его рецензия 1924 года на *Поэтическое хозяйство Пушкина*, полная откровенных передергиваний и выдержанная в том специфическом и так унижающем автора тоне, который свидетельствует не о бескорыстном интересе к вопросу, а о живо затронутой амбиции. Ходасевич опротестовал ее по существу, попутно упрекнув Б.Томашевского в «занесении дурных нравов в русскую литературу». Ответ советского ученого явился уже полным сдергиванием маски исследователя — под ней оказалась спесивая гримаса: «...я полагаю, что даже вопроса о конкуренции моей с Ходасевичем в области изучения Пушкина возникнуть не может», — вот его основной тезис. Действительно, вопроса о конкуренции не было. Чуждый профессиональному ожесточению, Ходасевич смотрел на Пушкина глазами поэта, т.е. с недоступной для Б.Томашевского точки зрения, — потому и столь

значительны сделанные им наблюдений. Poleмика с Б.Томашевским показывает, чего стоило советскому пушкиноведению признание Ходасевича. Иначе обстоит дело с *Некрополем*, «злыми, удивительно меткими и неприятными воспоминаниями» (В.Андреев), лишь глухо упомянутыми в КЛЭ. Признание этой книги означало бы разрушение не только тщательно отредактированных агиографий Горького, Брюсова, Белого и Блока, но и всей с таким трудом воздвигнутой и едва удерживаемой декорации, заслоняющей живую картину «серебряного века». Косвенно о значении *Некрополя* дает представление уже то, что советские литературоведы (Ц.Вольпе, Вл.Орлов и т.п.) щедро заимствуют и фактический материал книги, и целые куски — в форме пересказа или цитаты под ремаркой «один наблюдательный современник пишет»; а также то, что фрагменты *Некрополя* — нечастый случай для мемуарной прозы — расходятся в самиздате. Ни одна из трех книг не получила сколько-нибудь широкого распространения в СССР, не была переиздана здесь.

В 1954, в Нью-Йорке, Н.Н.Берберова издала еще один сборник Ходасевича: *Литературные статьи и воспоминания*. Он содержит работы о русских классиках: Дмитриеве, Вяземском, Дельвиге, Гоголе, — о современниках поэта: от В.Маяковского до Б.Поплавского — и некоторые из его воспоминаний — в основном, о годах военного коммунизма. Значение литературоведческой части этой книги не столь несомненно, как вклад Ходасевича в пушкинистику, хотя и здесь мы находим острые, концентрированные суждения о нашей литературе и глубокое проникновение в ее природу и историю. Зато собранные Н.Н.Берберовой очерки мемуарного характера не уступают лучшим страницам *Некрополя* — и естественно дополняют их. Замечательны и отзывы о литераторах, с которыми судьба столкнула Ходасевича. В статье о Маяковском, например, показана психология вхождения этого псевдофутуриста в пролетарскую культуру, его путь от эпатажа общественного мнения до открытого конформизма. Ходасевич считает, что пресловутый титул *Поэт революции* — маска, скрывающая приспособленца, державшего нос по ветру. Приспособленец не всегда понимает свои истинные мотивы, но глупость — не оправдание для поэта. Маяковский, по мнению Ходасевича,

предал футуризм, взорвал его изнутри, подменив на глазах у своих ненаблюдательных соратников отрицание смысла, составляющее сущность футуризма, — огрублением формы. Другая статья Ходасевича о Маяковском, столь выразительно названная *Декольтированная лошадь*, вконец испортила некогда дружеские отношения его с крупнейшим зарубежным славистом Р.О.Якобсоном, горячим приверженцем Маяковского, «формалистом и неисправимым романтиком» (Н.Н.Берберова). В целом это посмертное издание, при всей его значительности, далеко не исчерпывает написанного Ходасевичем в эмиграции, обходя его небольшие по объему, но важные критические заметки. Не вошла в него и незаконченная автобиографическая повесть *Младенчество*, напечатанная лишь в 1965 и признаваемая одним из лучших образцов русской прозы, созданной в диаспоре.

Стиль прозы Ходасевича восходит непосредственно к пушкинскому: та же суховатая экономично-сдержанная манера, проникнутая ровным и мощным вдохновением; тот же отстраненный, цепкий и пристальный взгляд, не оставляющий места проходным образам и сусальному пафосу; то же умение с аристократическим достоинством отодвинуть на второй план фигуру автора-наблюдателя; то же мужество. Стиль спасает даже те из работ Ходасевича, которые теперь, в свете исследований последнего времени, кажутся неудачными, — например, его статью, посвященную *Слову о полку Игореве*: рассеянные в ней замечания общего характера — о реализме, об эстетической логике, о Державине — придают и ей ценность и интерес бóльшие, нежели просто документу эпохи.

Мы видели, с каким победительным злорадством воспринимали поэтическое молчание Ходасевича его недоброжелатели — Вл.Орлов, Л.Любимов, В.Андреев. Иначе относились к нему друзья. Марина Цветаева в письме к Зинаиде Шаховской от 5 июня 1936 пишет: «На 50-летнем юбилее Ходасевича видела весь Монпарнас... Подарила Ходасевичу хорошую тетрадку "для новых стихов" — может быть — запишет, т.е. сызнова начнет писать, а то годы — ничего, а — жаль...» (З.Шаховская. Отражения. Париж, 1975). Дружба М.Цветаевой с Ходасевичем завязалась еще в Москве, вероятно, в 1918, когда она, после публикации под одной с ним обложкой,

«везде и непрестанно повторяла» его стихотворение *Смоленский рынок*. Имея в своей основе лишь человеческую симпатию, а не эстетическое единомыслие, дружба эта не была ни близкой, ни безмятежной. В своей книге о Цветаевой, изданной в 1966 по-английски*, американский профессор Симон Карлинский пишет:

Ее отношения с Владиславом Ходасевичем, единственным равным ей среди живущих за границей русских поэтов, были сложными — симпатия смешивалась в них с неприязнью. Отношение Ходасевича к ней также было неоднородным, и только в последующее десятилетие (т.е. в 1930-е годы) эти два несхожих поэта, ощущавшие все более глубокую изоляцию в новой литературной среде, нашли общий язык.

Но сам Ходасевич не дал нам ни малейшего повода думать, что трагедию утраты поэтического голоса он переживал острее, чем трагедию человеческой жизни. В следующем стихотворении, написанном в 1924, он спокойно, с улыбкой, предсказывает свое молчание — и связывает его разве лишь с утратой молодости, а с самим молчанием — и это удивительнее всего — связывает новые надежды.

Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Бесстрашно вверх болтливым струнам
Ее святые мятежи.

Будь нетерпим и ненавистен,
Провозглашая и трубя
Завоеванье новых истин, —
Они ведь новы для тебя.

Потом, когда в своем наитьи
Разочаруешься слегка,
Воспой простое чаепитье,
Пыльцу на крыльях мотылька.

* Цитирую по русскому переводу Е.Янушевича: журнал *Часы* (самиздат), №16, Л., 1979.

Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни,
И мир, обдуманый спокойно,
Благослови иль прокляни.

А под конец узнай, как чудно
Все вдруг по-новому понять,
Как упоительно и трудно,
Привыкши к слову — замолчать.

Почти несомненно, что стихотворение Б.Пастернака «Здесь будет все пережитое» (1934) так или иначе связано с этими стихами Ходасевича: об этом говорит не столько даже смысловой повтор — призыв к поэтическому молчанию, сколько повтор интонационный. При всей изумительной гибкости четырехстопного ямба Пастернак выбирает в нем ту единственную ноту, на которой на десять лет раньше прозвучали стихи Ходасевича. Вслушаемся:

Есть в творчестве больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

Обращение к Ходасевичу подтверждается и следующей сентенцией из того же стихотворения Пастернака: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную простоту...». Пастернак, конечно, знал пророчество М.Горького о том, что талант рано или поздно «поставит его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина». Возможно, что стихи Ходасевича, подкрепленные этой репликой, сыграли не последнюю роль в повороте к лексической ясности, так выигрышно отличающей последний период творчества Пастернака.

В 1927 в издательстве «Возрождение» выходит Собрание стихов Ходасевича — последняя, как бы итоговая книга стихов, подготовленная самим поэтом. В нее включены *Путем зерна*, *Тяжелая лира* и новые, написанные в эмиграции, стихи под общим заглавием *Европейская ночь* — всего 112 стихотворений: менее половины из числа созданных Ходасевичем, даже если не брать в расчет стихотворные переводы. Перелисты-

вая последний раздел сборника, *Европейскую ночь*, замыкающую авторское пятикнижие, мы невольно вспоминаем слова Андрея Белого о том, что в стихах Ходасевича нет ни капли влаги. Все влажно-интимное, все расплывчато-неопределенное, все то, что сообщало некогда неотразимую чувственную притягательность поэзии символистов, создавало в ней иллюзию близкого присутствия и доступности мировой тайны, — всё это окончательно изгнано отсюда. Рифмы и звукопись тут бедны, краски блеклы.

В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных
Льдин взгроможденных толчея.

Гласных-согласных в рифме — это ведь почти хрестоматийная нелепость, почти *пальто-полупальто*, рифма, которой маститые наставники дразнят начинающих поэтов. Но — опять вспомним реплику А.Белого* — *почти*. Поэзия, как и жизнь, совершается по определенным правилам, и разрушать их — значит всего лишь создавать новые. Однокоренные слова рифмовал Пушкин. Изошренная рифма ошеломляет только новичков, и малейший элемент натянутости в ней мгновенно обесценивает поэзию. В действительности, из стихов Ходасевича вместе с влагой ушло не искусство, а искусственность, обнажив сокровенную иррациональность поэзии, ее изначальную тайну. То же, что о рифме, можно сказать и о пышной звукописи. В разреженном воздухе послевоенной Европы барокко ничему не соответствовало, было простой ложью. Элементарная в смысле отбора средств поэзия Ходасевича точно передает строй и смысл его клонящейся к закату жизни на фоне этой Европы, рельефно и ярко рисует лирическую индивидуальность поэта:

Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай.
Помедли, зимнее светило,
За черный лес не упадай!

* «Как в "чуть-чуть" начинается тайна искусства, "почти" — суть поэзии Ходасевича...» (1922).

Дать в четырех стихах столь выразительный автопортрет, не прибегая к личному местоимению, — искусство, доступное лишь очень немногим. Цельность и полнота, с которыми предстоит нам Ходасевич в своих последних стихах, поистине монументальны.

«В некоторых его стихах подвергается критике буржуазно-мещанская цивилизация Запада», — говорит о *Европейской ночи* БСЭ. Еще раньше в том же смысле высказывался Горький: «Вне поисков "цветов зла" ум его ленив...». Эти замечания поверхностны и схематичны. Ходасевич был далек от плоской идеи что-либо *критиковать* в своих стихах, не занимался он и выискиванием язв современного ему общества. Но правда и то, что стремительная демократизация европейского мира и, как следствие этого, захлестнувшая его волна всеобщего мещанства — не оставили творческий инстинкт поэта бездейственным. Своеобразная психологическая ситуация 1920-1930-х годов обозначилась тогда у некоторых художников как потребность в ёрничестве, юродстве — этом изнаночном проявлении духовного аристократизма, родственном футуризму. В кинематографе она тотчас нашла своего выразителя в лице Чарли Чаплина. В русской поэзии Петрограда явились обэриуты — А.Введенский и Д.Хармс, в Париже на нее неожиданно отозвался Ходасевич. Шесть последних стихотворений *Европейской ночи* образуют не выделенный общим названием цикл о маленьких, обездоленных людях: «жалость», «нежность» и «ненависть»* мешаются в авторском отношении к ним. Из этой смеси рождаются лирические герои стихотворений *Баллада* (1925) и *Джон Боттом* (1926), поведение которых абсурдно. Абсурдизм Ходасевича несравненно мягче и тактичнее, чем у петербуржцев, — настолько же, насколько мещанство Парижа было галантнее самодовлеющего мещанства России. У обэриутов, с их черным юмором и презрением к красоте, автор сам, в акте творения, юродствует перед читате-

* В наброске, относящемся к 1925-1927, Ходасевич дает ключ к своему пониманию нового мещанства:

Как больно мне от вашей малости,
От шаткости, от безмятежности.
Я проклиная вас — от жалости,
Я ненавижу вас — от нежности.

лем. У Ходасевича — лишь герой стихотворения ведет себя неадекватно обстановке.

.

За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлобный, смирный человек
С опустошенным рукавом?

.

Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:

— Pardon, monsieur, когда в аду
— За жизнь надменную мою
— Я казнь достойную найду,
— А вы с супругою в раю

— Спокойно будете витать,
— Юдоль земную созерцать,
— Напевы дивные внимать,
— Крылами белыми сиять, —

— Тогда с прохладнейших высот
— Мне сбросьте перышко одно:
— Пускай снежинкой упадет
— На грудь спаленную оно.

Стоит безрукий предо мной,
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.

Если для футуристов *épater les bourgeois* (формула, утратившая свою потенциальную энергию уже к началу первого десятилетия XX века, ибо мещанин, вместо того, чтобы быть *épaté*, стал восторженно приветствовать всякое проявление новатор-

ства) означало смотреть на мещанство сверху, то абсурдизм 1920-1930-х явился как взгляд на мещанство изнутри и чуть ли не снизу: новое демократизированное мещанство было тотальным, торжествующим; недоступное эпатажу, чуждое рукоплесканий, апатичное — оно вовсе не замечало художника, вовлекало его в свою социальную утробу. Но природа этих двух течений была, в сущности, одинакова: она — в бессилии художника перед победоносной пошлостью, в искушении ответить ее носителю пародией, утрирующей абсурдность действительности. Ходасевич лишь ненадолго оказался затронутым этим веянием эпохи — и сделал шаг в сторону своих эстетических антиподов, футуристов и обзриутов. В последних четырех стихах *Европейской ночи* он оправдывает свои *цветы зла*:

Нелегкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

Но уступка эта была столь односторонней и невыразительной, что стихи его в художественном отношении только выиграла, приобретя новые семантические обертоны.

Освобождение от метафоричности, от *виноградного мяса* поэзии, Ходасевич рассматривал как свое завоевание. Только этим и можно объяснить то, что за пределами *Европейской ночи* (и вообще Собрания 1927 года) остался целый ряд прекраснейших стихотворений — среди них, например, такие:

Трудолюбивою пчелой
Звения и рокоча, как лира,
Ты, мысль, повисла в зное мира
Над вечной розою — душой.

К ревливой чашечке ее
С пытливой дрожью святотатца
Прильнула — вщупаться, всосаться
В таинственное бытие.

Срываешься вниз головой
В благоухающие бездны —

И вновь выходишь в мир подзвездный,
Запорошенная пылью.

И в свой причудливый киоск
Летишь назад, полухмельная,
Отягощаясь, накапливая
И людям — мед, и Богу — воск.

Эти шестнадцать строк я уверенно отношу к числу высочайших достижений русской лирики. Но их нет в итоговом сборнике. Такого рода пренебрежение к своему несомненному успеху (Ходасевич, при всей его взыскательности, не мог не сознавать, что это успех) кажется неоправданной расточительностью* — но потребность выдержать общую тональность книги оказалась для него настоятельнее.

Некоторые критики и мемуаристы утверждают, что упадок Ходасевича прослеживается уже в *Европейской ночи*.

«Европейская ночь», в которую вошли стихи, написанные Ходасевичем за пять лет (1922-1927), совсем небольшая книжка: в ней всего двадцать девять стихотворений.

В. Андреев. Возвращение в жизнь, 1969.

Есть разные мнения о том, что такое книга стихов. Евгений Боратынский включает в свои *Сумерки* лишь 26 стихотворений, содержащих 570 стихов. В Собрании Ходасевича находим следующую статистику:

Путем зерна — 36 стихотворений, 847 стихов,
Тяжелая лира — 47 стихотворений, 801 стих,
Европейская ночь — 29 стихотворений, 942 стиха.

Видно, что объем книги — совершенно обычный для Ходасевича и даже несколько превышает объем двух предыдущих. Обычен и срок, в который она сложилась: между выпуском *Тяжелой лиры* (1922) и Собрания стихов (1927) прошло около пяти лет, а интервалы между первыми тремя его книгами (1908, 1914, 1920) — шесть лет. Мы видели, *какие* вещи не вошли в Собрание:

* Быть может, поэт и не пренебрег этим стихотворением, а лишь приберег его — для следующей книги, для другой, более восприимчивой к метафорам эпохи.

количественно их не менее десяти. Но и это не все. Шесть новых, написанных за рубежом стихотворений этого периода включены в переработанные варианты *Путем зерна* и *Тяжелой лиры*, сами эти книги подверглись тщательной редакции и исправлениям: всего в них добавлено 11, а исключено 12 стихотворений. Без преувеличения, годы *Европейской ночи* для Ходасевича — это годы «процветающего жезла», даже если говорить только о его поэзии.

Но если стихи первых лет, проведенных поэтом за границей, представлены в Собрании выборочно, то свои ранние стихи, входившие в *Молодость* и *Счастливый домик*, Ходасевич и вовсе отмечает. (Исключение сделано лишь для стихотворения *Акробат*, получившего свою окончательную редакцию в 1921: оно вошло в структуру книги *Путем зерна*.) Между тем, среди них есть замечательные, почти не уступающие поздним, — так же, как и среди угодивших в отсев стихотворений из двух последующих книг. *Воспоминание*, *Рыбак*, *Сердце*, непостижимым образом изгнанные из *Путем зерна*, «Слепая сердца мудрость...», выпавшая из *Тяжелой лиры*, — таковы, что их утрата нанесла бы урон не одному Ходасевичу, но русской музе в целом. Среди причин, вызвавших эти купюры, помимо имевшей для Ходасевича первостепенную важность композиционной стройности циклов, необходимо назвать и общее падение интереса к поэзии в России и эмиграции.

Последние годы Ходасевича были мрачны. Европа, едва оправившись от неслыханной в истории бойни, стремительно приближалась к новой, еще более чудовищной. Навстречу мраку новой России поднимался мрак новой Германии. Картины эмиграции были безрадостны, бесперспективны. Ходасевич, еще в середине 1920-х видевший, вслед за Мицкевичем, в эмигрантах «странников, идущих ко Святой земле», в начале 1930-х не скрывает своего в них разочарования. Живет он почти все время в долг, но при этом, как и прежде, играет. Некоторую материальную помощь оказывает ему сестра, Евгения Нидермиллер. Его собственные заработки малы и даются ему все труднее. «Боже мой, что за счастье — ничего не писать и не думать о ближайшем фельетоне!..» — признается он в письме к Н.Н.Берберовой в августе 1932 — уже после их раз-

луки: Берберова оставила его еще в апреле. Он постоянно недопогает, к прежним болезням добавилась новая, которую пока не могут определить: лечат кишечник. Письма поэта отмечены бесконечной усталостью. Постепенно накапливается у него разочарование и в писателях русской диаспоры. В июне 1937 он пишет Н.Н.Берберовой: «Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старшая, и младшая. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому и Сирину...». В конце января 1939 болезнь выходит наружу, почти лишая его движения, с мучительными болями. Он быстро худеет (к концу — весит около 50 килограммов), подавлен, плохо спит. И все-таки — пишет. Замечательный очерк, посвященный Дому Искусств и Петербургу, был создан едва ли не в самый мучительный период болезни: в апреле 1939, между визитами к врачам и приступами боли, за два месяца до смерти.

Охваченный унижением паче гордости, он утверждал, что ему не нужно будущего и что у него остается впереди одно прибежище — могила на Ваганьковском кладбище, в родной Москве. Но и в этом судьба отказала поэту, разомкнувшемуся со своим народом: он умер в Париже, в больнице для бедных.

Вл. Орлов. Перепутья, 1976.

В этой самодовольным резонерством дышащей сентенции служилого литературоведа правда лишь то, что некогда, в 1922, поэт и в самом деле помышлял о «прибежище» на Ваганьковском кладбище, в соседстве с могилой своей няни Е.А.Кузиной. Но назвать Москву 1939 года родной Ходасевичу — более чем недобросовестность, а частную клинику — больницей для бедных — уже просто ложь. Не разомкнувшийся с народом ученый продолжает:

В судьбе Ходасевича, в самом его облике есть нечто трагическое. Он выбрал себе в удел одиночество в литературе, осмелился пойти уединенным и трудным путем, по-своему, в одиночку, воодушевляясь, ожесточаясь и мучась. Пример Ходасевича поучителен как пример одаренного поэта, пытавшегося противустать (!) потоку жизни и общему движению искусства.

Что и говорить — «пример Ходасевича поучителен». Мировая традиция с благодарностью относится к художникам, выбираю-

щим «одиноким и трудным путем», противостоящим «общему», т.е. массовому, снижающему «движению искусства». Только подлинный индивидуализм, означающий личную ответственность за всё и всех, делает писателя совестью своего народа. Шагающее вперед и в ногу соколиное племя пользуется ответственностью коллективной, при которой никто ни за что не отвечает и все вместе хорошо повинуются начальственным окрикам.

Ходасевич умер в возрасте 53 лет, 14 июня 1939, в шесть часов утра, в *частной клинике* на улице Университэ, спустя тринадцать часов после полуторачасовой операции. Вероятная причина смерти — рак поджелудочной железы. Хирург не успел до него добраться. Незадолго до этого, с 25 мая по 8 июня, Ходасевич лежал на обследовании в городском госпитале Брюссэ. Это муниципальное учреждение Вл. Орлов и называет больницей для бедных*. О.Б.Марголина и Н.Н.Берберова были с поэтом в последние дни его болезни, в последние часы перед операцией. Берберова вспоминает:

Я подошла к нему. Он стал крестить мне лицо и руки, я целовала его сморщенный желтый лоб, он целовал мои руки, заливая их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые, острые плечи.

— Прощай, прощай, — говорил он, — будь счастлива. Господь тебя сохранит.

Операция, по мнению хирурга, опоздала на десять лет и уже не могла спасти Ходасевича. Он умер, не приходя в сознание, уже не страдая.

16 июня, в 1.45, состоялось отпевание поэта в русской католической церкви на улице Франсуа Жерар, где присутствовало несколько сот человек, а затем похороны — на кладбище в предместье Бийянкур, также при большом стечении народа. Гроб несли В.Вейдле, В.Смоленский. Ю.Мандельштам и Нидермиллер, зять Ходасевича.

* Солгав из идеологических соображений, советский ученый попутно и крайне неловко совершил идеологический же просчет: *рядовую* городскую больницу Парижа он назвал больницей для бедных. Задумчивый иностранец, прочтя эти строки, может задаться мыслью: а нет ли и в СССР *больниц для бедных*?

Как и многие поэты прошлого, Ходасевич сам позаботился о своей эпитафии. Она многозначительна в своей лаконичности и простоте:

ПАМЯТНИК

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

«Во мне конец, во мне начало» — это сказано с полной ответственностью. Ходасевич был последним из русских поэтов, сохранивших живую связь с Пушкиным и его эпохой, с петровской Россией. Но он верил, что и «новая Россия» жизнеспособна и некогда будет «великой»; что пушкинские традиции в русской литературе есть ее драгоценнейшее достояние, которое, видоизменившись, должно возродиться. «Надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и — в новой форме — будущим...».

В Советском Союзе смерть Ходасевича прошла незамеченной. Вряд ли и в эмиграции была в должной мере осознана тяжесть потери, понесенной русской культурой, — однако весть о ней все же обошла страницы русской зарубежной печати от Эстонии до Австралии. Теперь, по прошествии десятилетий, напоминание об этой полной трагизма жизни и печальной кончине может послужить нам поводом для скорбных раздумий, а имя поэта — поводом для воодушевления и надежды.

*1981-1983,
Ленинград.*

Дмитрий Северюхин

РОССИИ ПАСЫНКИ

(Инородческая поэзия в переводах В.Ф.Ходасевича)

Ныне почти полностью забытые, поэтические переводы В.Ф.Ходасевича в известном смысле делают судьбу оригинальных стихотворений поэта на его родине. Между тем, эта неотъемлемая часть литературного наследия В.Ф.Ходасевича формировалась в пору наивысшего творческого подъема поэта, увенчавшегося выходом прославивших его книг *Путем зерна* (1920) и *Тяжелая лира* (1922). Зрелый мастер, каким он предстает в этих сборниках, Ходасевич в то же время явился создателем шедевров поэтического перевоплощения, далеко переступивших рамки стихотворных переводов в сегодняшнем понимании этих слов и ставших одним из замечательных достижений отечественной литературы.

Большая часть стихотворений, переведенных В.Ф.Ходасевичем, лежит в области наименее известной русскому читателю т.н. «инородческой» поэзии — поэзии малых народов, населявших старую Россию. Разумеется, Ходасевич не был русским первооткрывателем армянской, латышской или еврейской поэзии: на рубеже XIX и XX веков в этой области, наряду со специалистами по национальным литературам, такими, как Ю.Веселовский (армянская литература) или Вл.Жаботинский и Л.Яффе (еврейская литература), работали многие известные русские поэты. Однако если подвижники переводческой деятельности и инициаторы «инородческих» сборников, во главе с М.Горьким, решали задачу перевода, в первую очередь, в плане приобщения национальных литератур к сокровищнице всемирной культуры, то значение поэтических переводов В.Ф.Ходасевича отнюдь не исчерпывается просветительной или же политической функцией. В то же время, дух филологической игры и страсть к «перестановкам

и сочетаниям», породившие бесчисленную массу переводов К.Бальмонта и В.Брюсова*, были абсолютно чужды В.Ф.Ходасевичу. По всей видимости, обращение поэта к стихотворным переводам диктовалось, с одной стороны, стремлением выйти из круга привычных тем, образов и форм, расширить диапазон звучания собственной лиры, а с другой — явилось естественной попыткой поиска «родства» среди иноязычных поэтов. Так или иначе, тематика и формы переведенных Ходасевичем стихотворений чрезвычайно разнообразны: это народная песня и баллада, гекзаметры и сонеты, сатирическая сказка и стихи для детей, любовная лирика и философские раздумья; некоторые из них, как мы видим, не имеют аналогов в оригинальном творчестве поэта. В то же время каждый перевод В.Ф.Ходасевича являет нам чудо тактичного проникновения и вольного пребывания поэта в инородной поэтической стихии.

Работа над поэтическим переводом в зрелые годы не была для В.Ф.Ходасевича вынужденным занятием: время «переводной кабалы» (выражение Н.Я.Мандельштам), безудержно поглощавшей силы выдающихся поэтов старой школы и превратившей это своеобразное искусство в поденщину, еще не настало; в 1914-1922 годах он сравнительно много пишет и широко публикует свои оригинальные стихи и критику. Однако в молодые годы именно материальные затруднения заставили Ходасевича обратиться к ремеслу переводчика. В 1910-1914, сотрудничая с возглавлявшимся В.М.Антиком кн-вом «Польза», он переводил прозу популярных французских и польских писателей, выпускавшуюся в виде маленьких книжечек. Несмотря на полуироническое отношение самого переводчика к «желтым книжкам "Универсальной Библиотеки"»**, пере-

* Небезынтересно следующее высказывание Ходасевича о Брюсове: «В поэзии он любил те же "перестановки и сочетания". С замечательным упорством и трудолюбием работал он годами над книгой, которая не была — да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики "поэзии всех времен и народов"! В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы — во имя "исчерпания всех возможностей", из благоговения перед перестановками и сочетаниями». (*Некрополь*, с.44).

** *Некрополь*, с.105.

воды эти отличались высоким качеством и впоследствии неоднократно переиздавались. К этому периоду относятся и первые известные нам поэтические переводы В.Ф.Ходасевича: стихотворные фрагменты, вкрапленные в прозу. Речь идет о двух повестях поэта, беллетриста и драматурга Казимира Пшервы Тетмайера *Марина из Грубого* и *Яносик Нендза Литмановский*; эти переводы выдержали несколько изданий в 1910-1918 и затем вновь были переизданы в 1956 и в 1960*. Страницы прозы, основанной на фольклоре родины К.Тетмайера — Подгалья, — чередуются в этих книгах со своеобразными стихами — песнями татрских горцев, которые как в оригинале, так и в переводе В.Ф.Ходасевича имеют самостоятельное значение, образуя единый гармонический цикл. Творчество К.Тетмайера пользовалось в начале века немалой популярностью и оказало определенное влияние на русских символистов. Примечательно, что в числе переводчиков его поэзии были ближайшие друзья молодости Ходасевича — А.Я.Брюсов (Alexander), брат В.Я.Брюсова, и С.В.Киссин (Муни)**. Однако до Ходасевича на русский язык переводились, в основном, созвучные символизму «декадентские» произведения этого «короля польских модернистов»; а в 10-томное собрание сочинений К.Тетмайера, вышедшее в 1907-1911, фольклорные повести пошли в слабом, почти не содержащем стихотворных вставок, переводе.

Среди других переводов, выполненных В.Ф.Ходасевичем для из-ва «Польза», — драма *Иридион* классика польской литературы Сигизмунда Красинского (ранее опубликованная в переводе А.Уманского: «Знание», СПб., 1904), строки из которой впоследствии стали эпиграфом к стихотворению *Золото* (сб. *Путем зерна*). Единственный известный нам стихотворный перевод В.Ф.Ходасевича из С.Красинского — стихотворение «Ужель в последний раз...» — был опубликован в журнале *Северные Записки* в 1913, когда, по сохранившимся свидетельствам, поэт вел переговоры с книгоиздателем К.Ф.Некрасовым — об издании в его переводе полного собрания сочинений

* В советское время обе повести печатались в виде романа под общим названием *Легенда Татр*, — отдельным изданием: М., Гослитиздат, 1960 и в книге: К.Тетмайер. Избранная проза. М., Гослитиздат, 1956. Перевод В.Ф.Ходасевича был для этих изданий отредактирован и, по-видимому, дополнен М.Абкиной.

** См., например, книгу: *Чтец-декламатор*, т.ІІІ, изд.3-е. Киев, 1913.

С.Красинского. Последнее обстоятельство позволяет сделать предположение о существовании других переводов Ходасевича из Красинского, нам неизвестных.

Будучи поляком по происхождению, В.Ф.Ходасевич не только в совершенстве владел польским языком, но и принимал близко к сердцу судьбу польской культуры, интерес к которой у русской читающей публики заметно повысился в годы Первой мировой войны — в связи с развернувшейся борьбой вокруг «польского вопроса». Полные трагизма строки стихотворения Эдварда Слонского *Та, что не погибла* в переводе В.Ф.Ходасевича* — о разоренной войной стране и о поляках, вынужденных стрелять друг в друга, — открывают альманах *Мы помним Польшу*, выпущенный под редакцией поэтессы Марии Моравской из-вом «Прометей» в 1915, — в числе многих выходивших в те годы литературно-художественных сборников, посвященных польской тематике. В начале 1915 Ходасевич перевел еще два стихотворения Э.Слонского: *На пепелищах* и «Все шли из туманной дали...»; второе из них нами не найдено.

В те же годы В.Ф.Ходасевич впервые обращается к переводам из Адама Мицкевича, которого знал и любил с детства. Рассказы Мицкевича в его переводах появляются в периодической печати. Первый стихотворный перевод из Мицкевича — «Смолкли в воздухе ночном...» — появился в газете *Утро России* за 24 февраля 1916, в составе рассказа Мицкевича *Карилла*, никогда впоследствии не переиздававшегося по-русски. Более обстоятельная работа В.Ф.Ходасевича над переводами из А.Мицкевича началась, однако, лишь спустя несколько лет и явилась последним звеном переводческой деятельности поэта в России. В 1919-1922, по заказу московского из-ва «Творчество», Ходасевич работал над подготовкой книги избранных произведений польского поэта. Со свойственной ему обстоятельностью он подвергает критическому рассмотрению все выполненные прежде русские переводы стихотворений Мицкевича и формулирует во вступительной статье к сборнику свой неутешительный вывод: «Прежде всего, многие стихи Миц-

* Другой русский перевод см. в книге: К.Висковатов. Из жемчужин польской поэзии. Пг., 1915.

кевича, подчас замечательные не только своими литературными достоинствами, но и идейно занимающие важное место в творчестве польского поэта, не переведены вовсе... Далее, многое прекрасное в подлиннике, никогда не было переведено сколь-нибудь удовлетворительно. Общий уровень переводов из Мицкевича оказался очень не высок...». Тем не менее, сборник, заказанный издательством, был составлен и включал 56 стихотворений и отрывков в переводах 25 русских поэтов, в том числе 6 стихотворений, переведенных самим составителем. Книга эта не увидела света по причинам, весьма далеким от литературных, а имя Ходасевича не значится даже в самом полном указателе русских переводчиков А.Мицкевича**. Между тем, поэтические достоинства переводов В.Ф.Ходасевича неоспоримы, а переводы стихотворений «Мотать любовь, как нить...» и *Триолет* — до сих пор являются единственными в русской литературе. Следует признать и тот факт, что перевод сонета *Чатырдаг*, выполненный Ходасевичем, превосходит все многочисленные, на протяжении полутора столетий появлявшиеся переводы, включая знаменитый перевод И.Бунина (1902) и новейший перевод В.Левика (1974). Оба упомянутых мастера, увлеченные задачей наиболее точно передать звукопись стиха, не смогли донести до читателя основной образ сонета — образ горы, которая «*Miedzy światem i niebem jak drogman stworzenia...*», т.е. является посредником, толмачом, переводчиком между земным миром и небом. Стих «Бесстрастный драгоман всемирного творенья...» (Бунин), как и стих «Бессмертный драгоман всего миротворенья...» (Левик), — явно нуждаются в дополнительных разъяснениях. Ходасевич, жертвуя в данном случае точностью звучания, идет на упрощение фразы Мицкевича и достигает смысловой ясности оригинала: «Меж небом и землей толмач...». Перевод Ходасевича избегает, к тому же, досадных неточностей, которыми страдают другие переводы: так, если у А.Мицкевича о «дрожащем мусульмане» в третьем лице, то у В.Левика сонет звучит от имени этого

* Полностью эта статья вместе с переводами Ходасевича была напечатана лишь в 1970, в работе С.Бэлзы *К истории русских переводов Мицкевича*. — *Советское славяноведение*. 1970, №6, сс.67-73.

** Адам Мицкевич в русской печати. 1825-1955. Библиографические материалы. М.-Л., АН СССР, 1957.

мусульманина, в устах которого абсурдно обращение к христианскому стражу врат рая Гавриилу*.

Повышенная отзывчивость к окружающей его жизни — столь важное свойство личности поэта — со всей очевидностью раскрывается в переводческой деятельности В.Ф.Ходасевича в период 1914-1918, когда, вопреки распространенному мнению о якобы присущем ему «резком неприятии действительности»**, он участвует в выпуске так называемых «инородческих» литературно-художественных сборников. Эти издания, к работе над которыми М.Горький и В.Брюсов привлекли многих выдающихся мастеров поэтического перевода и таких широко известных поэтов, как А.Блок, И.Бунин, Ф.Сологуб, К.Бальмонт, Вяч.Иванов, — явились, в определенной мере, коллективной реакцией русской литературной элиты на шовинистический угар, сопутствующий войне, и откликом на трагедии малых народов России в годы, когда, по выражению Н.Бердяева, «национальностью подменили Бога».

Первыми в ряду инородческих сборников стали вышедшие в 1916 *Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней*, под ред. и со вступительной статьей В.Брюсова, и *Сборник Армянской литературы*, под ред. М.Горького. Фрагмент из очерка Макинциана***, открывающий вторую из названных книг, как нельзя лучше показывает, сколь своевременно было внимание русской общественности к армянам: «Разыгрывается одна из самых кровавых сцен жестокой истории Армении, и снова на карту поставлен вопрос национального бытия народа, а за густым туманом мирового пожара не видать, не разгадать будущего...». Вклад В.Ф.Ходасевича в предпринятые издания составляют шесть пьес: стихотворение *Старик из Вана* одного из основоположников константинопольской школы в ар-

* Таким образом, в переводе Левика усиливается смысловой диссонанс, отмеченный самим Мицкевичем, который писал в своем комментарии к сонету: «Оставляю имя Гавриила, как общеизвестное, но собственно стражем неба, по восточной мифологии, является Рамет...» (А.Мицкевич. Собр. соч. в 5 тт. М., Гослитиздат, 1948, т.1, с.492).

** См., например, статью Л.Н.Черткова о Ходасевиче в *Краткой Литературной Энциклопедии*, М., 1975, т.8, с.300.

*** Павел Макинциан — известный армянский литератор, автор *Красной книги В.Ч.К.*, расстрелян в 1938.

мянской литературе XIX в. Мкртича Пэшикташляна; два лирических стихотворения классика новоармянской литературы Смбата Шахазиза; стихотворение Ованеса Туманяна «Пускай в неведомое, вдаль...» и его же сказка *Капля меда*, ранее напечатанная в пасхальном номере *Утра России* за 1916; стихотворение одного из инициаторов *Сборника Армянской литературы* Ваана Териана *На родине*. Все эти стихотворения впервые прозвучали на русском языке в переводе Ходасевича, а его переводы стихотворений М.Пэшикташляна и С.Шахазиза до сих пор являются единственными в русской литературе. Сказка О.Туманяна получила в советское время широкую известность в переводе С.Маршака* — несмотря на формальные расхождения этого перевода с оригиналом. Стихотворение «Пускай в неведомое, вдаль...» было впоследствии переведено М.Павловой**. Этот перевод, формально столь же близкий к оригиналу, как и перевод Ходасевича, отличается от последнего отсутствием того незримого элемента, который превращает рифмованный подстрочник в поэтический перевод. Упомянутое стихотворение В.Териана было в 1941 переведено Вс.Рожественским***. Этот перевод, несмотря на свои несомненные достоинства, далеко отстоит от оригинала и не несет в себе того заряда высокой поэтической скорби, который так явственно роднит творчество В.Ф.Ходасевича со стихами цикла *Ночь и воспоминания* (1908-1912) его армянского ровесника.

Армянским стихотворениям В.Ф.Ходасевича повезло несравненно больше, нежели его прочим переводам (и, тем более, оригинальным стихам): все они, несмотря на появление новых переводов, неоднократно переиздавались — в частности, в 1966 и 1973, в составе факсимильно воспроизведенной ереванским из-вом «Айастан» книги *Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней*.

Следующая по очереди инородческая антология — *Сборник Латышской литературы* — вышла в петроградском из-ве «Парус» в конце 1916, под совместной редакцией В.Брюсова и

* См., например, в книге: О.Туманян. Стихотворения и поэмы. Л., 1958, сс.178-193.

** Там же, сс.103-104, под названием *С отчизной*.

*** См., например, в книге: В.Териан. Избранное. Ереван, 1941, с.5.

М.Горького. Она открывается очерком латышской литературы, автор которого, находившийся в лондонской эмиграции известный революционер и публицист И.Э.Янсон-Браун (1872-1917), как бы вторя П.Макинциану, писал: «Теперь латышский край растоптан войной: истреблено не только цветущее материальное благосостояние края, но и приостановлена общественная жизнь края, разбросано и уничтожено все, что с горячей любовью и упорным трудом было создано культурной работой. Будущности латышского народа, как известного культурного единства, грозит серьезная опасность: как бы война ни кончилась, она не может вернуть латышскому народу все его громадные культурные потери...». В.Ф.Ходасевич перевел для книги пять пьес своих латышских современников: *Небытие* Эльзы Плиекшан, публиковавшей свои стихи под псевдонимом Аспазия; *Вечером* основоположника жанра поэтической сказки в Латвии Карла Скальбе; *Два мира* крупнейшего латвийского поэта и беллетриста Вилиса Плудона; а также стихотворения революционеров-политэмигрантов: *Отверженные* Аписедзельса и *Черные цветы* Шалкона. Латышские стихи Ходасевича неравноценны в плане их собственно переводческих качеств. Так, если, переводя стихотворение Аспазии, поэт сумел с удивительной точностью воспроизвести как музыку, так и смысловое содержание оригинала, дав своего рода эталон переводческого мастерства*, — то в его переводе большого стихотворения Плудона обнаруживаются смысловые расхождения с оригиналом. Например, ст.82-84, венчающие это стихотворение, имеют философский оттенок, родственный более поэзии самого переводчика, нежели его латышского собрата. Подстрочный перевод этого фрагмента, рисующего скорбь вдовы рыбака, таков: «и сосны дюн шумят, и морские волны храпят: поют ее жизни угрюмую песню могилы»**. В русской версии, предложенной Ходасевичем, эти стихи приобретают более общий смысл — за счет утраты местоимения *ее*:

*Приводим подстрочный перевод стихотворения *Небытие*: «Ах, сбросить тяжести земли! —/Без памяти, без сущности,/Все забыть, все стереть!/ И нежной, легкой, улыбчивой/Как белая снежинка/Плыть в волнах серебряных Нирваны!»

** По книге: V.Plūdonis. Izlase. Rīga, 1965.

А гулкий шум дерев
И волн суровый рев
Звучат над жизнью песней похоронной.

Семантические погрешности такого рода, вообще говоря, не свойственны Ходасевичу, стоявшему у истоков новой школы поэтического перевода, зато вполне обычны в переводческой практике начала века. Более точные переводы стихотворения *Два мира* были выполнены впоследствии Вл. Невским и Л. Копыловой*. Все прочие латышские переводы В.Ф.Ходасевича — единственные в русской литературе.

Последним по счету инородческим сборником, вышедшим по инициативе В. Брюсова и М. Горького, стал *Сборник Финляндской литературы*. Он появился в издательстве «Парус» вскоре после февральской революции 1917 года. В.Ф.Ходасевич перевел для книги пять стихотворений: *Песню торпаря* и балладу *Синий крест* признанного главы неоромантизма в финской литературе Эйно Лейно; два стихотворения представителей шведского направления в литературе Финляндии — *Усталые деревья* Микаэла Любека и *Мечтатель* Ялмара Проккопе; стихотворение *У костра* будущего академика Вейко Коскенниemi. Ни одно из этих стихотворений на русский язык никогда более не переводилось и, исключая *Песню торпаря*, ни разу не было перепечатано.

Переводы из Э. Лейно являются несомненной поэтической удачей В.Ф.Ходасевича. Можно предположить, что в основе этой удачи лежит духовное родство двух поэтов, с их одинаково трагическим ощущением действительности и скорбью по неосуществившимся гуманистическим идеалам. *Песня торпаря* — это рассказ о гордом отшельнике, навеянный через всю жизнь пронесенной мечтой Э. Лейно об уединенном «домике поэта» (осуществлению этой мечты воспрепятствовали бедность и душевное расстройство — поэт умер в лечебнице, едва накопив денег для покупки участка земли**). Мотив изгнанничества был близок Ходасевичу, и нам не кажется излишней

* См., соответственно, книги: В. Плудон. В солнечные дали. Рига, 1959 и его же Избранное. Рига, 1970.

** Эту биографическую подробность сообщает Л.А.Виролайнен во вступительной статье к книге: Э. Лейно. Избранное. М.-Л., Гослитиздат, 1959.

смелостью предположить, что автор *Счастливого домика*, в невеселом предвидении своего собственного будущего, воспринял его как личный:

Долго стою я, гляжу озабоченно.
Гостя не видно, пустынна обочина...
Нет, не простят: вся деревня обижена
Тем, как счастливая строилась хижина.

Естественным продолжением работы над инородческими сборниками явились для В.Ф.Ходасевича переводы из еврейской поэзии. Начало этой своеобразной странице творчества поэта положило его содружество с Л.Б.Яффе, под совместной редакцией с которым Ходасевич выпустил в 1918 в из-ве «Сафрут» книгу *Еврейская Антология*, выдержавшую несколько переизданий. В нее вошли переводы В.Брюсова, Вяч.Иванова, Ф.Сологуба и других русских поэтов, а также таких знатоков еврейской литературы, как Вл.Жаботинский, С.Маршак, О.Румер и Е.Жиркова. Одно из стихотворений, включенных в *Антологию*, переведено второй женой В.Ф.Ходасевича — А.И.Ходасевич (Чулковой), подписывающей свои сочинения псевдонимом София Бекетова. Самому В.Ф.Ходасевичу помимо общей редакции стихотворных текстов, вошедших в книгу*, принадлежит перевод тринадцати стихотворений семи еврейских поэтов: Давида Фришмана, Саула Черниховского, Залмана Шнеура, Давида Шимановича, Авраама бен-Ицхака, Исаака Кацнельсона и Якова Фихмана. Три стихотворения появились в *Антологии* под одним из известных псевдонимов Ходасевича: Ф.Маслов.

Переводы с иврита увлекли В.Ф.Ходасевича настолько, что вскоре у него возникла потребность издать их отдельной книгой, которая и вышла в 1922 в изд-ве З.И.Гржебина, под названием *Из еврейских поэтов*. В ней мы находим помимо переводов Ходасевича, включенных в *Антологию*, новые выполненные к тому времени переводы: *Предводителю хора*

* Во второй части редакционной статьи *Антологии*, по всей видимости, написанной Ходасевичем, читаем: «Весь труд по с о с т а в л е н и ю сборника, т.е. выбор авторов и отдельных произведений, а также расположение материала выполнен Л.Б.Яффе... В.Ф.Ходасевичу принадлежит редакция переводов как таковых...»

Хаима Нахмана Бялика; *Завет Авраама* и *Вареники* С.Черниковского (два последних стихотворения впервые были опубликованы в *Сборниках Сафрут* кн. I и III, М., «Сафрут», 1918). Изменения, внесенные Ходасевичем в тексты своих старых переводов, свидетельствуют о продолжавшейся работе над еврейской поэзией. В предисловии к сборнику, как бы подводя итог своей переводческой деятельности, Ходасевич отмечал: «Творчество поэтов, пишущих в настоящее время на древне-еврейском языке, оказалось для меня наиболее ценным и близким. Переводам с древне-еврейского я уделил наиболее времени и труда». Это признание заостряет вопрос о значении еврейских переводов в творчестве Ходасевича, к настоящему времени изученный совершенно недостаточно. Так, непосредственное влияние С.Черниковского явно прослеживается в отрывке *На Пасхе*, написанном в 1918 дактилическим гекзаметром — факт, недавно отмеченный Ю.Колкером*, который, кроме того, полагает, что и нерифмованные ямбические стихи В.Ф.Ходасевича из сборников *Путем зерна* и *Тяжелая лира* навеяны музой С.Черниковского. На наш взгляд, интерес Ходасевича к еврейским поэтам не связан с их формальными исканиями. Среди глубинных причин, этот интерес возбудивших, важно отметить следующую. Извечный рок чужеродности, тяготеющий над еврейским племенем, сродни року изгнанничества, знакомому поэтам со времен Архилоха и Овидия. В нашем случае он еще усиливался нерусским происхождением Ходасевича. Переводивший стихи инородцев, Ходасевич и сам, по собственному признанию, был «России пасынком». Свойственное ему постоянное ощущение обособленности, чужеродности «во тьме гробовой, российской», а в дальнейшем и в его полудобровольном изгнании, где оно выразилось в ностальгической музыке стихов *Европейской ночи*, — созвучны настроениям замечательной плеяды еврейских поэтов старой России.

Современники высоко оценили еврейские переводы В.Ф.Ходасевича. Как и *Антология*, книга *Из еврейских поэтов* переиздается почти сразу после первого выпуска и широко рецензируется в периодических изданиях тех лет. Вот, например, что

* Саул Черниковский и Владислав Ходасевич. — Ленинградский еврейский альманах, вып.1, сент.1982, Самиздат, сс.41-45.

писал о ней Д.Выгодский* в 1922: «...Надо отдать справедливость переводчику: он со своей задачей справился блестяще. Совершенные с точки зрения русского читателя, его стихи являют почти идеальное приближение к еврейскому подлиннику, и если рассматривать каждое стихотворение отдельно, то, так сказать, органический дефект переводов оказывается очень удачно замаскированным...». Органический дефект, о котором пишет критик, — перевод с подстрочника. В предисловии к книге Ходасевич писал: «Должен указать, что предлагаемые переложения, по незнанию мною древне-еврейского языка, сделаны не с подлинников, а с буквальных подстрочных переводов... Само собой разумеется, что точность переводов была моей постоянной заботой. Однако, переводя с подстрочника, я все время пользовался латинской транскрипцией еврейского текста. Таким образом, звуковые особенности подлинников, как то метр, построение строф, характер рифм, число строк и проч. мною сохранены. По возможности я старался передать и особенности инструментовки...»

В настоящем издании поэтические переводы впервые собраны вместе. Однако предлагаемая читателю подборка не является полной. Нам не удалось разыскать переводы, упомянутые в собственноручном перечне Ходасевича: *К Украине* М.Старицкого, «И будут в последние дни...» З.Шнеура, «Звучит похоронный...» Аспазии, *Вечерня* Э.Верхарна и английскую детскую песенку «Если б было нам дано...». Мы допускаем, что в дальнейшем могут обнаружиться и другие, вовсе неизвестные нам переводы. Но и в своем нынешнем виде коллекция поэтических переводов В.Ф.Ходасевича убедительно демонстрирует так прочно и несправедливо забытую грань его блестящего дарования и с достаточной полнотой представляет многолетние и столь важные для него самого труды по переложению иноязычных поэтов.

* *Восток*, 1922, №1, сс.115-116.

НЕНАЙДЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Нам известно о трех законченных оригинальных и восьми переводных стихотворениях В.Ф.Ходасевича, а также о трех набросках, оставшихся за пределами нашего Собрания.

1. Цикл *В немецком городке*, написанный в 1913-1914, состоял из трех стихотворений: одно из них, *Акробат*, вошло в *Счастливый домик*, а затем — в *Путем зерна* (см. первый том); другое, *Весна*, впервые опубликованное вместе с *Акробатом* в 1914 [30], помещено нами во второй том (Дополнения); третье не найдено. О его существовании автор упоминает в примечании к *Акробату*. Там же сообщается, что все три стихотворения были написаны для художественного варьете Н.Ф.Балиева «Летучая Мышь», где их читала артистка Е.А.Маршева.

2. Весной 1914 Ходасевич, в соавторстве с режиссером Н.А.Поповым, сочиняет арлекинаду *Выбор Пьеретты*. Пролог к пьесе был написан в стихах и, по-видимому, собственно Ходасевичем (без Попова). Это ненайденное сочинение — один из немногих следов сотрудничества Ходасевича с труппой «Летучей Мыши», для которой он, кроме того, переводил и составлял репертуар. Н.Ф.Балиев предложил ему писать для его театра зимой 1911/12, когда поэт, только что похоронивший мать, а затем отца, находился в состоянии крайнего материального и душевного расстройства. Предложение это позволило Ходасевичу перебраться из Ново-Гиеева, где он жил в имении И.А.Терлецкого, в Москву. Сотрудничество с «Летучей Мышью» продолжилось во всяком случае до середины 1914. Спектакль *Выбор Пьеретты* был поставлен в конце марта или начале апреля в доме А.А.Рейнбота — бывшего московского градоначальника, хозяина золотых приисков, директора Каперской железной дороги и отставного генерал-майора, как раз в эти дни возвращенного на службу.

3-8. В ЦГАЛИ хранится собственноручный перечень стихотворных переводов Ходасевича, охватывающий период с декабря 1912 по 26 (13) февраля 1918 и содержащий 43 наименования: 37 стихотворений вошли во второй том Собрания, шесть нижеперечисленных не найдены:

Э.Слонский. «Все шли из туманной дали...» (перев. 27/XII-1914)

Аспазия. «Звучит похоронный...» (перев.: ноябрь 1915)

З.Шнеур. «И будет в последние дни...» (перев. 4-5/X-1916)

Английская детская песенка «Если б было нам дано...» (перев. 3/XII-1916)

М.П.Старицкий. *К Украине* (перев. 26/XII-1916)

Э.Верхарн. *Вечерня* (перев. 14-16/III-1917)

9-11. На обороте письма от племянницы поэта, В.М.Ходасевич-Дидерихс, полученного В.Ф.Ходасевичем не позднее начала ноября 1920, имеются три наброска стихотворений (возможно, переводных), которые мы даем по первой строке:

(1) «Красавицей нельзя меня назвать...»

(2) «Поют нездешние свирели в облаках...»

(3) «Ну что же, нежный мой Иосиф...»

Извлечь их из архива не удалось.

12. В архиве изд-ва «Всемирная Литература» (ЛГАЛИ, ф.2968) документировано получение Ходасевичем гонорара за перевод одного из лучших юношеских стихотворений гр.Альфреда де Виньи *La Dryade* (а также гонораров за редактирование сочинений Ламартина, Велье и Виньи). Перевод *Дриады* не найден.

13. Стихотворение «Не жди, не уповай, не верь...» Ходасевич упоминает в своем (неизданном) письме к ленинградскому поэту и беллетристу М.А.Фроману (псевдоним; настоящая фамилия Фракман; 1890-1940) от 14 апреля 1926 (из Парижа в Ленинград), в следующем контексте: «Вот Вам "для порядка" список моих стихов, написанных с июня 1922 г. (...) — Как видите, число совпадает с Вашим, но содержание — нет. Напишите, чего не хватает — пришлю. За то, если у Вас есть "И весело, и тяжело", "Не жди, не уповай, не верь", "Доволен я своей судьбой" и "Песня турка" — выбросьте их: это наброски,

неудачные, я их выбросил...». Автограф этого письма, как и источник, из которого можно было бы почерпнуть упомянутое стихотворение, не обнаружен. Мы скопировали письмо со списка II, выполненного с профессиональной тщательностью и вызывающего полное доверие.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ

Книга эта, в отличие от первых четырех книг оригинальных стихотворений В.Ф.Ходасевича, никогда не выходила отдельным изданием. Впервые как самостоятельный цикл она была напечатана в Собрании Стихов 1927 года [9]. В предисловии к этому изданию автор пишет, что в собрание вошли его книги *Путем зерна* и *Тяжелая лира*, «...к которым, под общим заглавием "Европейская ночь", прибавлены стихи, написанные в эмиграции...». Однако по объему *Европейская ночь* даже несколько превосходит два предшествовавших ей сборника и в этом смысле вполне соответствует тому, что Ходасевич обычно понимал под словом книга. К моменту выхода Собрания Стихов [9] Ходасевич уже пять лет находился за границей, из них последние два — в качестве эмигранта. Отзывы о книге, рассеянные в зарубежной русской печати, оказались для нас недоступными. При составлении Примечаний мы опирались, в основном, на советские источники. Книга воспроизводится нами по изданию 1961 года [14].

Петербург
стр.3

Прим. В.Ф.Ходасевича:

12 дек(абря 1926). Chaville.

Источник — [14].

Ходасевич жил в Петербурге с конца октября 1920 по середину июня 1922. Коренной москвич, он обрел в Петербурге свою вторую родину. Здесь в 1921 к нему впервые пришла настоящая известность. В автобиографической заметке 1922 года, в Германии, он пишет: «...больше всего мечтаю снова увидеть Петербург, и тамошних друзей моих...». Если принять условное деление наших поэтов на московскую и петербургскую школы, то Ходасевич принадлежал к петербургской уже в юности, а в конечном счете явился едва ли не самым характерным ее представителем. Это отмечено современниками. В 1922 В.Пяст говорит о «так отлично подошедшем по духу творчества к Петербургу, чуждом природою своею Москве, бывшем ее жителе, Ходасевиче...». Позже это отметила З.Шаховская [114]. — Вл.Орлов (1966, 1976) пишет: «Утверждая, что "музыкальный лад" открылся ему в "сног-

сшибательных ветрах” революции (тех самых, от которых он хотел укрыться), он писал о себе: /цит. ст.17-20/. (Другое дело, что претензии эти были неосновательны: стиль советской поэзии сложился в двадцатые годы совсем на иных путях.)...» [110, 115]. Здесь содержится явное недоразумение: Ходасевич говорит о сносшибательных ветрах *природы*, а не революции. Столь же курьезна и охранительная реплика, заключенная в скобки. Ее близкое подобие находим у В.Андреева [112]; неточно процитировав ст.17-20, он замечает: «(Утверждение, кстати, ни на чем не основанное — никакой “классической розы” ни к советскому, ни к эмигрантскому дичку Ходасевич не привил.)...».

«Жив Бог! Умен, а не заумен...»

стр.4

Прим. В.Ф.Ходасевича:

4 февр(аля) — 13 мая (1923), Chaville.

Источник — [14], откуда перепечатано *Лит.Газетой* в 1967 [163].

Стихотворение впервые опубликовано в *Современных Записках* в 1923. По замечанию проф. С.Карлинского, оно было принято на свой счет Мариной Цветаевой и обидело ее. Неизвестно, кого именно имел в виду Ходасевич в этих стихах. В них выражено общее его отношение к *зауми* — в первую очередь, следовательно, к футуристам. Вряд ли Ходасевичу был известен афоризм И.Бунина «Заумное есть глупость», ставший фактом литературы спустя много лет после смерти поэта, — хотя он и мог передаваться изустно в общей для них литературной среде в России и в эмиграции. — Вл.Орлов [115] в связи с этим стихотворением пишет: «Предпринятые Ходасевичем опыты “проверки” стиха прозой предполагали борьбу за смысл в поэзии... Какое бы то ни было затемнение стихотворной речи, усложнение ее семантики Ходасевич отвергал с порога... (здесь) кроме ненавистных Ходасевичу футуристов и Маяковского, могли подразумеваться и Мандельштам, и Цветаева, и Пастернак...». Далее он цитирует ст.9-21. — Стихотворение это пародируется в советской печати [312].

²⁰⁻²¹ О, если б мой предсмертный стон/Облечь в отчетливую оду... — Вл.Орлов [115]: «Так и получилось, что свой поэтический путь он закончил такой отчетливой одой...». Речь здесь идет об отрывке «Не ямбом ли четырехстопным...» (1938), опубликованном посмертно.

«Весенний лепет не разнежит...»
стр.5

Прим. В.Ф.Ходасевича:
24-27 марта (1923). Очень плохо, переправлено, сколько
мог, в 1927, в Chaville.

Источник — [14].

Стихотворение впервые опубликовано в *Современных Записках*
в 1923. Оно пародируется в советской печати [312]. Поправки, о кото-
рых упоминает Ходасевич, были им внесены при подготовке Собрания
Стихов, летом 1927.

Слепой
стр.6

Прим. В.Ф.Ходасевича:
1922, 8 окт. Берлин — 1923, 10 апреля.

Впервые — [146], где ст.7 читается так:
«Дом, мужик, забор, корова,»

«Вдруг из-за туч озолотило...»
стр.7

Прим. В.Ф.Ходасевича:
19 февр(аля 1923). В очень ясный день, часа в 3.
28 февр(аля). Вернувшись с прогулки перед ужином.
Chaville.

Впервые — [49], в числе четырех стихотворений под общим назва-
нием *Зимние стихи*.

У моря
стр.8-12

Источник — [14].

Первоначальное название цикла — *Каин*. В 1963 он частично перепечатан журналом *Москва* [50].

1. «Лежу, ленивая амеба...»
стр.8

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Misdroy. 15 авг. 922. Утром, в постели, в отчаянии.

Впервые — [144], где ст.13-16 читаются так:

Над раскаленными песками
Белесоватая трава
Торчит колючими пучками,
И не жива, и не мертва.

Мисдрой (Остзеебад Мисдрой) — местечко на Балтийском побережье, между Штральзундом и Штеттином (Щецином).

2. «Сидит в табачных магазинах...»
стр.9

Прим. В.Ф.Ходасевича:

2 сент. 922. Берлин.

Впервые — [144], где ст.19-20 читаются так:

И разом весь ослабеваает,
Как сердце вдруг захолонет.

Это же разночтение находим в одном из ранних автографов стихотворения, во втором альбоме П.Н.Медведева (ОР ГПБ, ф.474). Здесь, как и в журнальной версии, под стихотворением значится: Misdroy, 1922. Имеются незначительные разночтения в знаках препинания.

3. «Пустился в море с рыбаками...»
стр.10

Прим. В.Ф.Ходасевича:

9 дек. 922 — 20 марта 1923, Saarow. 9 дек. — только 2 строфы. Кончил 20 марта, перед ужином, под разговор

Белого с Н.Берберовой в соседней комнате. Было очень хорошо писать.

Источник — [14].

Цикл *У моря* воспроизведен в 1963 журналом *Москва* без этого стихотворения. Сааров — «маленький городок... близ Фюрстенвальде» [12], где Ходасевич жил с октября 1922 по ноябрь 1923, с редкими выездами, в тесном деловом и дружеском контакте с Горьким.

4. «Изломала, одолевает...»
стр.12

Прим. В.Ф.Ходасевича:

10 дек. 22 — 19 марта 1923, Saarow. Кончил тоже на народе: Белый, Шкловский и т.д.

Источник — [14].

Берлинское
стр.13

Прим. В.Ф.Ходасевича:

14-24 сент(ября 1923). Берлин. Это — о кафэ Prager Diele.

Впервые — [149].

В 1963 стихотворение перепечатано журналом *Москва* [50].

В.Андреев (1969) в своих воспоминаниях [112] рисует, в связи с этим стихотворением, портрет Ходасевича той поры: «Однажды, в трамвае, шедшем, звеня и покачиваясь, от Потсдамского вокзала в Шарлоттенбург, я увидел тупой профиль, напоминающий чем-то оскал злой болонки, прямые черные волосы, разделенные пробором и спадающие на глаза, тусклое поблескивающее пенсне, которое Ходасевич держал в руке и покачивал в такт трамвайной трескотне. Незадолго перед тем я прочел его стихи, написанные в сентябре 1923: "Под землей" и "Берлинское". Я привожу одно стихотворение: /цит. полностью *Берлинское*/. Я видел обратную картину: не Ходасевича за столом кафе, а Ходасевича, как бы привинченного к жесткой трамвайной

скамейке, напряженно смотрящего в окно, где сквозь его голову, отраженную в зеркальном стекле, проплывали уличные фонари и витрины магазинов. Силуэт отражения был лишен деталей, и опустошенность рисунка была настолько полной, что действительно я увидел отрубленную голову и почувствовал, что это голова живого мертвеца...»

«С берлинской улицы...»
стр.14

Прим. В.Ф.Ходасевича:

24 февр(аля 1923). Saarow. Начато еще в октябре 922, в Берлине. Было посвящено Белому. М.б. это об его пьянстве. Это у меня связано с определенным местом: угол Geisbergstrasse и Ansbacherstrasse.

Источник — [14].

Стихотворение навеяно ночными прогулками по Берлину с Андреем Белым и Н.Н.Берберовой.

¹⁵ Как ведьмы, по-трое... — «...мы все трое в нем — как три ведьмы в "Макбете"...» (Н.Н.Берберова [113, стр.184]).

An Mariechen
стр.16

Прим. В.Ф.Ходасевича:

1923, 20-21 июля, Берлин. Это дочь хозяина пивной на углу Lutherstrasse и Augsburgstrasse. Там часто бывали с Белым. Mariechen — некрасивая, жалкая, чем-то напоминала Надю Львову. Белый напивался, танцевал с ней. Толстяк, постоянный гость, любовник хозяйки, играл на пьянино. Хозяин, слепой, играл в карты с другими посетителями. «K Fräulein Mariechen» мы никого не водили кроме Чаброва. Однажды там был Каплун, но не знал где находится. Это было место разговоров о «последнем».

Впервые — [148], и почти одновременно — [151].

Горький в недатированном письме к Ходасевичу (получено 3 августа 1923) пишет: «Ваши стихи "Марихен" пронзительно хороши. Сказать о них что-нибудь больше — не умею, скажу только, что они вызывают в душе "холодный свист зимней вьюги" и, в то же время, неотразимо человечны... Крепко жму Вашу руку, превосходного, мощного поэта...» [105, письмо VIII]. — Ф.Вермель (1925) видит в этом стихотворении «присущее» Ходасевичу «глубокомысленное позерство» [314]. — Упомянутая в прим. Ходасевича Надежда Григорьевна Львова (ум.1913) — московская поэтесса. Ей посвящен сборник Брюсова *Стихи Нелли*, вышедший анонимно. Ходасевич пишет: «Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка... Мы с ней сдружились...» [12].

Каплун — меньшевик, публицист и издатель С.Г.Каплун-Сумский (ум.1942-43), владелец берлинского издательства «Эпоха», пользовавшийся поддержкой Горького. «Эпоха» выпускала журнал Горького и Ходасевича *Беседа*, где впервые напечатано это стихотворение. Был женат на двоюродной сестре Урицкого, К.Г.Иструм.

«Было на улице полутемно...»

стр.18

Прим. В.Ф.Ходасевича:

1922, 23 дек. Saarow.

Впервые — [145], где вторая строфа (ст.3-4) читается так:

Вырвался свет, занавеска взвилась,
Быстрая тень по стене пронеслась...

«Нет, не найду сегодня пищи я...»

стр.19

Прим. В.Ф.Ходасевича:

23 марта — 10 июня (1923). Saarow.

Источник — [14].

В.Андреев (1969): «...Ходасевич уезжает из России, и "Евро-

пейская ночь" сгущается над ним... В этом мире все "высвистано, прособачено"...» [112].

Дачное
стр.20

Прим. В.Ф.Ходасевича:

10 июня 1923, Saarow. Отделано 31 авг. 1924, в Causway, в Ирландии, в отеле, у моря.

Источник — [14].

По словам Вл.Орлова (1976), в *Европейской ночи* «запечатлен образ пошатнувшегося капиталистического мира», в котором Ходасевич не видит «почти ничего, кроме жестокости, уродства, обмана, всяческой пошлости...» [115]. — О пребывании поэта в Ирландии: «Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября (1924) мы съехались с Горьким в Сорренто...» (В.Ф.Ходасевич [12]). Есть основания полагать, что в августе и сентябре 1924 Ходасевич гостил у своей сестры Евгении Нидермиллер, поддерживавшей его материально. Вероятно, тогда же, в Ирландии, была написана или задумана статья Ходасевича *Белфаст*, раздосадовавшая Горького (см. его письма к Ходасевичу: XXXI и XXXII [105]) и вызвавшая неудовольствие в советской прессе.

Под землю
стр.21

Прим. В.Ф.Ходасевича:

21 сент<ября 1923>. Берлин. Видел на Victoria-Luise Platz. Проследил старика (впрочем, лет 50 с чем-нибудь) до Kurfürstendamm.

Источник — [14].

Этим стихотворением Ходасевич впервые в русской поэзии и с при-
сущим ему тактом бросает свет на один из мучительных вопросов но-
вого времени, — давая редкий пример экстенсивного проявления
своей музыки, по преимуществу интенсивной.

«Все каменное. В каменный пролет...»
стр.23

Прим. В.Ф.Ходасевича:

23 сент(ября 1923), Берлин.

Источник — [14].

В.Андреев в своих воспоминаниях (1969) приводит это стихотворение целиком, замечая, что Ходасевич был подавлен «тяжестью огромного города». Далее он пишет: «"Ходи по камню до пяти часов" — характерная особенность берлинской жизни того времени: человек, забывший или потерявший ключ от своего дома, ночью никаким образом не мог попасть в свою квартиру — входные двери накрепко запирались, а дворники или швейцары бывали только в самых богатых домах. Я как-то спросил у Ходасевича, что такое "окарино". Он посмотрел на меня с презрением и, блеснув пенсне — его пенсне всегда блестело нестерпимо резко, — сказал: — Итальянская глиняная дудка вроде флейты. Надо знать, — и только-только не добавил "молодой человек"...» [12]. — Слово *окарино* введено в русскую поэзию не Ходасевичем — см., напр., стихотворение И.Северянина «Навевали смуть былого окарины...» (*Nocturn*, 1909) или А.Ахматовой (1912):

Потускнел на небе синий лак,
И слышнее песня окарины.
Это только дудочка из глины,
Не на что ей жаловаться так.

И.Эренбург вспоминает: «Крутом был Берлин, с его длинными, унылыми улицами, с дурным искусством и с прекрасными машинами, с надеждой на революцию и с выстрелами первых фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского: /цит. ст.3-10/. — Понять "мачеху российских городов" было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов российских. Впрочем, Ходасевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии...» [325, стр.412].

«Встаю расслабленный с постели...»
стр.24

Прим. В.Ф.Ходасевича:
5-10 февр(аля 1923).

Впервые — [49].

21-24 О, если бы вы знали сами... — Н.Н.Берберова, непосредственно наблюдавшая Ходасевича в эти годы, отмечает у него случаи сверхчувственного знания: «Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии, и правда: сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля — на другом конце земного шара, вчера он говорил мне об этом...» [113, стр.394].

Хранилище
стр.25

Прим. В.Ф.Ходасевича:
23 июля (1924), Париж. Последние стихи, посланные Гершензону, из Ирландии. Я знал, что ему понравятся.

Впервые — [153].

«Интриги бирж, потуги наций...»
стр.26

Прим. В.Ф.Ходасевича:
19-20 марта, Венеция. С трудом написал. Начал у Флориа-на, кончил дома. Плоховато.

Впервые — [154].

Прокурации — жилища высших сановников Венецианской республики постройки XV-XVI веков. Урсула — католическая святая, по преданию дочь английского короля, убитая гуннами. В ее честь назван женский монашеский Орден Урсулинок, возникший в XVI веке.

Соррентинские фотографии
стр.27

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Первые 17 стихов — в Saarow'e, в начале 1925 (5 марта). Потом — в Chaville, в феврале 1926. Кончил 27 февр(аля 1926), чтобы читать у Цетлиных (обещал). Писал деловито, каждый день, иногда уезжая для этого в Париж, в кафе Lavenue. Иногда писал с увлечением. По звуку это мои любимые стихи. «Изнутри» — нет, не то. Все так и было, как рассказано.

Источник — [14].

Один из первых автографов стихотворения — в двух неопубликованных письмах Ходасевича к М.А.Фроману. В первом из них, недатированном, Ходасевич пишет: «Если хотите новых моих стихов, то — вот. Посылаю Вам пока первую треть лирического стихотворения, которое на днях написал. Получив от Вас известие, пришлю окончание, а также еще кое-какие мелочи. Одна просьба — до получения конца, этих стихов никому не показывайте...»; затем следует ст.1-68, без разночтений. Второе письмо, с пометой «14 апр.926», содержит ст.69-182, датированные «1926, февр. Chaville»; им предпослана ремарка: «...в конце моего отрывка, который у Вас имеется, надо поставить звездочку. Потом так: /ст.69-182/». Разночтений с [14] нет. — По замечанию В.Андреева (1969), это единственное стихотворение *Европейской ночи*, в котором «...видение окружающего мира прозрачно и ясно, хотя и в нем не обошлось без похорон. В остальных — мрак, сквозь который проступают тени всевозможной нечисти...» [112]. — В.Ф.Ходасевич жил под Сорренто, на вилле, арендованной Горьким, с начала октября 1924 по 18 апреля 1925. Другие обитатели виллы были: баронесса М.И.Будберг (Бенкендорф), секретарь и друг Горького; художник И.Н.Ракицкий, второй муж племянницы поэта В.М.Ходасевич, бывавшей наездами; Н.Н.Берберова; Максим, сын Горького, и Тимоша, его жена.

Мотоциклетка (ст.69 и 131) принадлежала Максиму. «Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто — пить кофе...» (В.Ф.Ходасевич [12]). — В прим. Ходасевича упомянут Михаил Осипович Цетлин (1882-1945) — литератор, писавший под псев-

донимом Амари, литературный редактор *Современных Записок*, один из издателей *Нового Журнала* и других русскоязычных зарубежных изданий. Цетлины имели литературно-политический салон в Париже.

160 На восьмигранном острие... — На шпиле Петропавловской крепости в Петербурге.

Из дневника
стр.33

Прим. В.Ф.Ходасевича:

1-2 сент. 1925. Почти все написал одним духом, вечером, в Meudon.

Источник — [14].

Перед зеркалом
стр.34

Прим. В.Ф.Ходасевича:

18-23 июля (1924), Париж.

Источник — [14].

В качестве эпиграфа взята первая строка *Inferno* Данте Алигьери. Стихи перепечатаны журналом *Москва* в 1963, без эпиграфа [50]. В.Андреев (1969) приводит это стихотворение целиком, называя его «беспошадным по отношению к себе» [112].

1-5 Я, я, я. Что за дикое слово... — В.В.Иванов (1978) видит в этой строфе иллюстрацию того положения, что «лирическая поэзия сосредоточена на выражении личности поэта в минуту самого акта поэтической речи»: «в этих стихах поэт до боли остро ощущает, что я принадлежит только *сейчас*, только моменту речи. С прошедшим временем связаны другие я...» [331, стр.126].

6-7 Разве мальчик, в Останкине летом/Танцевавший... — Увлечение Ходасевича танцами относится к 1890-1891. Оно началось после первого увиденного им балета *Конек-горбунок* [113].

9-10 Желторотым внушает поэтам/Отвращение, злобу и страх... — В эмиграции, в отличие от большинства сложившихся писателей,

Ходасевич уделял много внимания работе с молодежью. Н.Н.Берберова (1954) пишет: «В газету "Возрождение", как и в журнал "Современные записки", Ходасевич привлек целую плеяду молодых эмигрантских поэтов и писателей... Вокруг него, как поэта и критика, сгруппировалось все, что было наиболее талантливым среди "нового поколения" и что оказалось впоследствии наиболее жизнеспособным в условиях эмиграции. Эта жизнеспособность отличает сейчас окружение Ходасевича от тех, кто группировался вокруг Марины Цветаевой и "Цеха поэтов"...» [13]. По свидетельству В.Андреева (1969), один из самых одаренных молодых поэтов эмиграции Борис Поплавский, «ненадолго приезжавший (в 1923) из Парижа в Берлин, поразил В.Шкловского, сказав, что больше всех современных поэтов любит В.Ходасевича...» [112]. Здесь же, обыгрывая ст.10 и 19 данного стихотворения, В.Андреев пишет: «...он мне внушал не столько "отвращение и страх", сколько сочувствие и жалость... он заплутался в пустыне... (поэтическое) слово больше ему не покорно и отказывается нагромождаться в новые ужасы...».

²¹⁻²⁵ Да, меня не пантера прыжками... — В 1924, когда эти стихи написаны, Ходасевич еще не был эмигрантом. Тем не менее, именно их обычно использует спекулятивная критика для демонстрации безвыходной судьбы эмигранта. Так, Вл.Орлов (1976) пишет: «Горестное существование эмигранта подкосило Ходасевича. Газетная работа спасала от полной нищеты, но не давала возможности заняться своим делом, делом писателя. В июне 1932 (!) года он признался в одном из доверительных писем: "Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаянья была вызвана прощанием с Пушкиным. Теперь и на этом, как на стихах, я поставил крест. Теперь у меня нет ничего". /цит. ст.21-25/.» — Цитата из стихов 1924 поясняет «доверительную» реплику 1932, адресованную в пространство. Цинизм подобного рода оплошностей поразителен.

Окно во двор
стр.35

Прим. В.Ф.Ходасевича:

16-21 мая (1924), Париж. Мы жили на Boulevard Raspail, 207, на 5 этаже, ужасно. Писал по утрам в Ротонде.

Впервые — [151].

Стихотворение перепечатано в 1963 журналом *Москва* [50]. — По замечанию В.Андреева (1969), стихотворение это «кончается, казалось бы, совсем простыми строчками, от которых, однако, проходит мороз по коже: /цит. ст.29-32/...». И далее: «Из мира, обращенного "Окнами во двор", — ...нет выхода...» [112]. Вл.Орлов (1976) называет стихотворение превосходным и добавляет: «перед лицом такой беспросветной жизни сарказм и ирония Ходасевича обретают уже новый прицел <старым было "враждебное отношение к революции">. В нем заговорил голос совести, проснулось сочувствие к запуганным и обездоленным людям...» [115]. — Сочувствие к обездоленным — одна из важных тем Ходасевича начиная со *Счастливого домика*. Фраза «В нем заговорил голос совести» столь выразительно рисует нам облик советского критика, что ни в каких пояснениях не нуждается. — О периоде, к которому относится стихотворение, Н.Н.Берберова сообщает: «Это первое наше пребывание в Париже, в 1924 году, перед тем как вернуться еще на одну зиму в Сорренто к Горькому, оставило во мне чувство бездомности: нерешительность Ходасевича остаться здесь, поставить обе ноги на почву, которая считается твердой, как будто даже укрепились. Боязнь решений мучила его. /.../ Ходасевич в это время уже знал, что ... не только возврата быть не может, но что скоро нельзя будет даже и печататься в русских изданиях...» [113, стр.251]. — *Окна во двор* открывают не выделенный автором цикл из шести стихотворений о маленьких людях, венчающий книгу.

Бедные рифмы
стр.37

Прим. В.Ф.Ходасевича:

2 октября (1926), в Париже, в Closerie des Lilas, потом на Pigalle, с невероятными усилиями. Утром надо было «до зарезу» дать в первый номер «Нового Дома». Это было воскресенье, омерзительное.

Источник — [14].

«Сквозь ненастный зимний денек...»

стр.38

Прим. В.Ф.Ходасевича:

В январе (1927), утром, в темноте, в кафэ, на Place Daumesnil.

Источник — [14].

Стихотворение перепечатано в 1963 журналом *Москва* [50]. Оно является как бы прообразом стихотворения О.Мандельштама «Мы с тобой на кухне посидим», его потусторонним двойником: тот же вокзал, те же безысходность и отрешенность. Возможно, герои его — репатрианты. Репатриация не прекращалась все предвоенные годы, продолжилась и после войны. О дальнейшей судьбе репатриантов в среде эмиграции знали так мало, что возможности возвращения не исключали для себя и те, для кого оно означало немедленную гибель, — в числе прочих — и Ходасевич. Так, в его письме к Н.Н.Берберовой от 21 июня 1937 читаем: «...Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее "духовных вождах", за немногим исключением) я уже не скрываю; действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал приблизительно недели за три. Из этого "представители элиты" сделали мой скорый отъезд. Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал — не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же — не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен "в душе", что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то должны отнестись положительно)...» [113, стр.421-422].

Баллада

стр.39

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Начал в июне (1925), в кафэ возле Ecole Militaire, вечером. Все вдруг «увидел», но написал только первые 4 строфы. Кончил в Медоне, 17 авг(уста 1925). Был очень хороший вечер, хотелось писать, как редко.

Источник — [14].

Стихи перепечатаны в 1963 журналом *Москва* [50]. — В этом стихотворении отразилась своеобразная психологическая ситуация 20-х годов. Волна мещанства захлестнула Европу по обе стороны границы сразу после Первой мировой войны. Как следствие, у многих художников явилась потребность в ерничестве, юродстве — этом своеобразном преломлении духовного аристократизма. Она тотчас нашла выражение в кинематографе: в ней объяснение пандемотической популярности Чарли Чаплина, Шарло Ходасевича (ст.8). И она же сходным образом отозвалась в русской поэзии Парижа (Ходасевич: *Баллада, Джон Боттом*) и Петербурга (обэриуты: А.Введенский, Д.Хармс). Если *épater les bourgeois* (формула, утратившая смысл уже к началу второго десятилетия XX века) означало смотреть на мещанство сверху, то ерничество двадцатых годов (особенно в России, с его черным юмором и презрением к красоте) явилось как взгляд на мещанство изнутри и чуть ли не снизу, — ибо это было мещанство торжествующее. В Париже, если говорить о поэзии, эта удивительная тенденция проявляется гораздо мягче: мещанин Ходасевича — всего лишь маленький, обиженный судьбою и потому вызывающий сочувствие человек, а не мешочник, сквалыжник или социалист; и юродствует перед ним герой стихотворения, а не сам автор.

Джон Боттом
стр.41

Прим. В.Ф.Ходасевича:

9 марта — 19 мая (1926). План — еще в Chaville, одновременно с «Соррентинскими фот.». Впрочем задумано еще в 1923, в Saagow'e.

Источник — [14].

Стихотворение перепечатано в 1963 журналом *Москва* [50]. В нем, как и в *Балладе* (см. прим. к предыдущему стихотворению) прослеживается элемент ерничества 20-х годов: оно так же стоит на грани серьезного и пародии, его движущей силой так же является сочувствие к обездоленным. По форме это английская народная баллада.

Звезды
стр.48

Прим. В.Ф.Ходасевича:

23 сент<ября 1925>, Париж: начато. Был в театрике на rue de la Gaité. Кончил в Chaville 21 февраля <1926>. Очень хорошие стихи.

Источник — [14].

Стихи произвели сильное впечатление на современников. Известен, например, список этого стихотворения, сделанный рукою М.Волошина (РО ГБЛ). Вот что пишет о *Звездах* В.Андреев (1969): «Ходасевич, вспоминая, что, по библейскому преданию, звезды были созданы на четвертый день сотворения мира, восклицает с необычайной силой: /цит. ст.41-42/. Каждую строчку этого стихотворения несет ритмическая волна, которой трудно противиться. "Звезды" — одно из лучших стихотворений Ходасевича, о котором он сам, критик чрезвычайно строгий не только к другим, но и к себе самому, отмечает, что "это очень хорошие стихи". И действительно, стихотворение сделано настолько крепко, что даже литературная реминисценция (у Тютчева — "Небесный свод, горящий славой звездной", у Ходасевича — "Твой мир, горящий звездной славой") перестает быть повторением, несколько переиначенным, чужих слов и становится оригинальной метафорой. Еще одно доказательство того, до чего условны самые простейшие правила стихосложения, если можно, не ссылаясь на первоисточник, повторить знаменитую метафору..., сто лет числившуюся за Тютчевым, и сделать ее своей!..» [112]. (В.Андреев будто и не знает, что внутреннее, не объявленное кавычками или курсивом цитирование *известных* слов поэта спокон веку входит в России в число «самых простейших правил стихосложения», прозы и публицистики.) — И.Михайлов (1982): «Есть поэты, отличающиеся поистине удивительной выразительностью эпитета. Из поэтов начала века особенно выделяется в этом отношении Владислав Ходасевич. Свежий, омытый, очищенный от шелухи привычных представлений, один эпитет у него как бы накатывается на другой, нагоняет его, создавая вместе с другими смещение ярчайшей цветовой радуги. Каждое определение здесь столь же весомо, как соседнее, и обладает столь же убийственной силой: /цит. ст.15-18/...» [334, стр. 196-197].

³⁹ И заходя в дыру все ту же... — С точки зрения установившихся теперь в русско-советской поэзии критериев необходимо признать, что этот стих содержит хрестоматийную оплошность: при произнесении, *на слух*, — последние два слова сливаются в одно, совершенно меняя смысл реплики. Этот промах невозможно оправдать с точки зрения эстрадной, т.е. только звучащей поэзии. Однако для Ходасевича, как и для Пушкина («Слыхали ль вы за речкой глас ночной...»), звучание стиха неотделимо от его графического исполнения, записи, — культура, в настоящее время почти утраченная. И он смело позволяет себе этот ход, не жертвуя мыслью в угоду звуку.

ДОПОЛНЕНИЯ

Стихи разных лет

Раздел составлен из стихов, охватывающих практически весь период поэтического творчества В.Ф.Ходасевича, с 1905 по 1938. Стихотворения расположены в хронологическом порядке. В смысле хронологии и характера источников они могут быть разделены на две группы. В первую (1905-1923) войдут стихотворения, самим автором исключенные из второй редакции его сборников; затем стихотворения и фрагменты, извлеченные из отечественной периодики и архивов, а также зарубежные архивные публикации последних лет; наконец, стихи, воспроизведенные мемуаристами. Стихи первой группы, как правило, датируются нами условно годом первой публикации; дополнительные данные оговорены в примечаниях. Основу второй группы (1923-1938) составляет публикация Н.Н.Берберовой в [14], охватывающая стихи зарубежного периода. К ней нами добавлено стихотворение «В последний раз зову тебя: явьсь...», найденное в частном архиве и условно датируемое нами концом 1930-х годов. Прочие стихи второй группы датированы публикатором. Не все стихи, о существовании которых нам известно, мы сумели найти. Четыре публикуемых пьесы взяты из копии частного собрания [15], представляющего собой един-

ственную в самиздате попытку систематизации поэзии Ходасевича; места их публикации или автографы не обнаружены. Не являясь исчерпывающей и безукоризненной, данная подборка существенно дополняет поэтическое наследие В.Ф.Ходасевича.

Эпиграмма
(«Венчал Валерий Владислава...»)
стр.53

Впервые — [328], в тексте воспоминаний М.Шагинян, которая пишет: «(Ходасевич) ходил к нам довольно часто... рассказывал про свою великолепную свадьбу с Мариной, где посаженным отцом был сам Брюсов, а шафером "примазался" издатель "Грифа" Соколов-Кречетов, и он, Ходасевич, тут же, на свадьбе сложил на него эпиграмму: /цит. ст.1-4/. — Намек на Нину Петровскую, жену "Грифа" и "спутницу" Брюсова...». — Ходасевич обвенчался с Мариной Эрастовной Рындиной (о ней см. прим. к книге *Молодость*) 24 апреля 1905; это позволяет датировать сохраненную М.Шагинян эпиграмму — вероятно, самое раннее из дошедших до нас стихотворений Ходасевича. Мы воспроизводим эпиграмму в транскрипции М.Шагинян. — О Н.И.Петровской (1884-1928) и С.А.Соколове-Кречетове (1879-1936) см. прим. к стихотворениям *Sanctus Amor* и *Ночи* (оба — *Молодость*).

«Если сердце захочет плакать...»
стр.54

Впервые — [72].

Автограф этого и двух последующих стихотворений — в письме Ходасевича к Г.Л.Малицкому. Письмо написано в имении Лидино близ станции Бологое и отправлено в Москву 16(28) мая 1905, в день девятнадцатилетия поэта и спустя три недели после его свадьбы с М.Э.Рындиной. Лидино принадлежало отчиму М.Э.Рындиной, полковнику Э.И.Рындину.

У людей
стр.55

Впервые — [72].

Автограф — в письме к Г.Л.Малицкому от 16(28) мая 1905 (см. прим. к предыдущему стихотворению).

Счастье
стр.56

Впервые — [72].

Автограф — в письме к Г.Л.Малицкому от 16(28) мая 1905 (см. прим. к стр.54).

Зимние сумерки
стр.57

Впервые — [23], стр.144.

Осенние сумерки
стр.58

Впервые — [23], стр.145.

«Схватил я дымный факел мой...»
стр.59

Впервые — [23], стр.146.

Дома
стр.60

Впервые — [123].

Список ИФ [15] дает другую версию этого стихотворения, вероятно, более позднюю и опирающуюся на неизвестную нам публикацию или автограф:

От скуки скромно вывожу крючочки
По гладкой, белой, по пустой бумаге,
Круги, спирали, росчерки, зигзаги,
Потом бегут рифмованные строчки.

Пишу стихи. Они слегка унылы.
 Едва кольнув, слова покорно меркнут.
 В уединении навек отвергнут
 Жестокий взор, когда-то сердцу милый.

А если снова под густой вуалью
 Она придет и в двери постучится, —
 Как стыдно будет спящим притвориться
 И мирных дней не уязвить печалью.

Она у двери постоит немного,
 Нетерпеливо прозвенит браслетом,
 Потом уйдет — и что сказать об этом?
 Дни побегут, как ровная дорога.

Стихи, давно забытые, исправлю,
 Всю жизнь мою я по часам размерю,
 И никакой надежде не поверю,
 И бытия земного не прославлю.

Дата в [15] отсутствует, однако по месту расположения в этом, хронологически выстроенном, списке стихотворение может быть отнесено к концу 1910-х годов. Мы сохраняем под ним дату появления первой версии.

Мышь
 стр.61

Впервые — [123].

Новый Год
 стр.62

Впервые — [25].

Стихотворение входило в первое издание *Счастливого домика* [2], в раздел *Лары*, где затем (во втором и третьем изданиях) уступило свое место стихотворению *Акробат*.

[Посвящение]
(«Муза, плачь от восторга!..»)
стр.63

Впервые — [204], в рассказе В.Ф.Ходасевича *Поэт*, герой которого предпосылает эти стихи своей поэме в качестве посвящения. В ст.4 мы оставляем старое написание последнего слова: *ея* — чтобы исключить вульгарное звучание стиха, возникающее при появлении рифмы *твое-ее*, и распада его вследствие этой рифмы на два трех-стопных полустиха.

В немецком городке
Весна
стр.64

Впервые — [30], где это стихотворение напечатано первым из двух стихотворений под общим названием *В немецком городке*. Мы сохраняем за ним, помимо основного названия *Весна*, также и общее название цикла, необходимое для понимания стихов. Вторым в цикле [30] напечатано стихотворение *Акробат*, входившее затем в книги Ходасевича. Третье стихотворение цикла отсутствует в [30], между тем автор упоминает о его существовании (в прим. к стих. *Акробат*, см. первый том наст. издания); его нам обнаружить не удалось. Все три стихотворения были написаны Ходасевичем специально для «художественного варьете» Н.Ф.Балиева «Летучая Мышь»; там их читала артистка Елена Маршева. Ей посвящены *оба* опубликованных в [30] стихотворения.

Авиатору
стр.65

Впервые — [126] (пасхальный номер *Утра России*, 6 апреля 1914). — Воздухоплавание было в те годы в центре общественного внимания. *Утро России* и другие газеты из номера в номер отводят ему специальную рубрику. Сообщается, что 2 марта в Киеве поручик Нестеров совершил первую в России мертвую петлю, а затем первый беспосадочный перелет Киев-Одесса; что 7 марта погиб штабс-

капитан Андреади, а 22/9 марта, *во время митинга*, разбился швейцарец Ф.Боррер. В Москве, на Ходынском поле, в самый канун Пасхи 1914 демонстрировал мертвые петли и другие фигуры высшего пилотажа авиатор А.М.Габер-Влынский. Полеты собирали более ста тысяч зрителей. — Стихотворение воспроизведено нами по первому (1920) изданию *Путем зерна* [3], где оно датировано 1914 годом. В [126] имеется ряд разночтений.

² Над извивами северных рек... — «Над изгибами северных рек».

⁴ Небожитель — герой — человек... — «Небожитель — титан — человек!».

⁸ Облака — облака — облака... — «Облака, облака, облака.».

⁹ И смотря на тебя недоверчиво... — «И, смотря на себя недоверчиво,».

¹² Но припомни — подумай — постой... — «Но опомнись, припомни, постой!».

²⁰ Где народ — и оркестр — и буфет... — «Где народ, и оркестр, и буфет.».

Незначительные отличия в пунктуации имеются также в ст.16 и 17.

Из мышинных стихов

стр.66

Впервые — [31].

В списке ИФ [15] этот текст представлен как два самостоятельных стихотворения: ст.1-13 — первое, и ст.14-26 — второе, оба без названия. В [31] между ст.13 и 14 нет разделительного знака и название отнесено ко всему тексту. Стихом 14 начинается новая (9-я) страница журнала.

«"Вот в этом палаццо жила Дездемона"..."

стр.67

Впервые — [129].

Стихотворение связано с итальянской поездкой Ходасевича 1911 года.

[Надпись на пасхальном яйце]
(«На новом радостном пути...»)
стр.68

Впервые — [128].

Центральным бюро Московской городской управы, в целях сбора средств для оказания помощи жертвам войны, была организована выставка-продажа художественных пасхальных яиц, приуроченная к пасхальной неделе 1915. «Были куплены простые деревянные некрашенные яйца и разосланы по Москве художникам, литераторам, артистам и обществен. деятелям с просьбой что-нибудь начертать, нарисовать, вложить и прислать на выставку... /.../ Культурная Москва отзывалась так сочувственно, так трогательно на этот Пасхальный призыв и прислала много художественных вещей и красивых мыслей в стихах и прозе, что Комиссия нашла ценным дать в приложении к брошюре образчики прозы и поэзии..., в которых образно отразилось настроение людей в переживаемый исторический момент...» ([128], стр.174). Среди прочих здесь помещено и публикуемое нами стихотворение Ходасевича. Его можно датировать мартом-апрелем 1915.

12 Поляк, не унижай еврея... — Русские газеты начала XX века пестрят сообщениями о росте антисемитизма в Польше. К началу 1913 в рядах антисемитов оказался и ветеран демократического движения Польши А.Свентоховский, писавший: «За последние 50 лет у нас прибыло около миллиона евреев, составляют у нас теперь наивысшую процентную цифру из всех стран мира, которые захватили в свои руки все отрасли промышленности и торговли, составили в городах 85% населения, создали жаргонную литературу, театр и печать, которая так разрослась, что до недавнего времени один только орган ее превышал числом подписчиков все польские газеты, вместе взятые, организовали антипольский Бунд, антипольскую партию сионистов, антипольскую группу националистов, огласили свои равные права на польскую землю, и, наконец, во время последних выборов (в IV Государственную Думу от Варшавы благодаря еврейским голосам прошел рабочий, социалист Ягелло) вызвали на бой все польское общество презрительным разрешением выборной борьбы» (по статье: А.Погодин. Антисемитизм в Польше. — *Утро России* №10, 12 января 1913, стр.1).

На седьмом этаже
(Подражание Брюсову)
стр.69

Впервые — [33].

Подзаголовок маскирует пародийную интонацию этого стихотворения. В год его напечатанья в неопубликованном письме к А.И.Тинякову, отправленном между 24 апреля и 4 мая 1915, Ходасевич пишет: «О Брюсове я с Вами не совсем согласен. Он не бездарность. Он талант, и большой. Но он — *маленький человек*, мещанин, — я это всегда говорил. Потому-то, при блистательном "как" его "что" — ничтожно...» (ОР ГПБ, ф.774, №45).

На Пасхе
(Отрывок из повести)
стр.70

Впервые — [133], затем [72].

Стихотворение написано под непосредственным влиянием лирико-иронических гекзаметров Саула Черниховского, которого Ходасевич начал переводить в конце 1916. В сентябре-октябре 1917, т.е. всего за полгода до опубликования этих стихов, Ходасевич перевел его поэму *В знойный день*, также написанную гекзаметром. С влиянием Черниховского мы связываем и появление семи больших стихотворений третьей и четвертой книг Ходасевича, написанных разностопным нерифмованным ямбом, — а также самую идею создания большой эпической вещи, окончательно отброшенную им, вероятно, лишь в начале 1922 (см. фрагмент «Вот повесть. Мне она предстала...»). Отрывок *На Пасхе* более всего перекликается со стихотворением *Музыка* (1920), причем внутреннее сходство скреплено общими элементами формы: заимствованным у Державина эпитетом **сребро-розовый** (здесь ст.1, в *Музыке* ст.6) и внесмысловыми звуковыми подражаниями (здесь: бум, бум, бум; там: тук! тук! тук!), столь редкими в русской поэзии, исключая детскую. Такого рода звукописью насыщено стихотворение Д.Фришмана *Для Мессии*, переведенное Ходасевичем в ноябре 1917 (см. Переводы). Отрывок *На Пасхе* написан не позднее 3 мая (20 апреля) 1918.

¹¹ Траву сухую сожги, весне помогая и смерти... — В [133]: «Траву сухую сожгли, весне помогая и смерти...». Стих исправлен нами: императив в ст.4 и 12 делает невозможной совершенную форму глагола сожгли в ст.11.

Стансы
(«Во дни народных потрясений...»)
стр.72

Источник — [15]. Датируем по Вл.Орлову [115].

⁵ «Доволен малым будь!» Аминь... — Довольство малым — излюбленный мотив Горация, восходящий к стоицизму и эпикурейству: см., например, *Сатиры* II 2. Стансы написаны Ходасевичем в голодные дни, о которых он вспоминает в [62] (см. также первый том настоящего издания). Если сравнить положение Горация в его Сабинском имении в 30 году до Р.Х. (второй сборник сатир) и Ходасевича в 1919, то следует признать, что поэт, решивший довольствоваться малым, вынужден довольствоваться все меньшим.

⁹⁻¹⁰ Глупец глумленьем и плевком... — Слово глупец с обезоруживающей непосредственностью принял на свой счет советский литературовед Вл.Орлов. В своем труде [115] он цитирует вторую и четвертую строфы этого стихотворения, пропуская, даже без отточия, третью (ст.9-12), а цитате предпосылает следующие, крайне неосторожные слова: «До самой революции Ходасевич не выделялся из многолюдной толпы тогдашних стихотворцев... Тут пришел конец высокомерному и наигранному бесстрастию новейшего Баратынского, хотя внешним образом он все еще продолжал кокетничать своим отчуждением от большой, исторической жизни, причем в столь обывательском духе, что выглядело это пародийно и даже, при всем уме Ходасевича, просто глуповато...».

¹⁷⁻¹⁸ И шепчет гордо и невинно/Мне про стихи мои мечта... — Ср. у Ф.Сологуба: «И тихо шепчет мне мечта...» (*На Волге*, 1915). Сологуб — один из самых близких Ходасевичу старших современников. «Очень люблю его, и его стихи...», — пишет Ходасевич 1 августа 1922 к Ю.Н.Верховскому [72].

²⁰ Их «золотая середина»... — «Золотая середина» — цитата из Горация: *aurea mediocritas* (*Оды* II 10).

«Не люблю стихи, которые...»
стр.73

Источник — [15]. Место публикации не установлено.

«Четыре звездочки взошли на небосвод...»
стр.74

Впервые — [72], где сообщается: «Написано, вероятно, в связи с подготовкой М.Гершензоном тома "Русских Пропилей", посвященного Герцену и Огареву. Печатается впервые, как и следующее стихотворение <Памятник>. Оба любезно предоставлены проф. Хьюзом (Berkeley)...». — В.Ф.Ходасевич участвовал в подготовке четвертого тома *Русских Пропилей*: в предисловии М.Гершензон благодарит его «за добрую помощь». Письма, содержащего вынесенные в эпиграф строки, в этом томе нет; нет его и в книге *Архив Огаревых* (М., 1930), продолжающей публикацию Гершензона. Однако тема «звездочек» варьируется, например, в письме Н.А.Тучковой (Огаревой), отправленном весной 1849 из Петербурга, притом — как уже не новая: «...вы слишком между собою симпатичны, мои три звездочки, чтоб я могла когда-нибудь охладеть к одной из вас...» (*Русские Пропилеи*, т.4, стр.89). — Стихотворение датировано публикатором.

Памятник
(«Павлович! С посошком бродячею каликой...»)
стр.75

Впервые — [72], где стихотворение датировано апрелем 1921.

1 Павлович! С посошком бродячею каликой... — Обращение к поэтессе Надежде Александровне Павлович (1895-1967). О ее дружбе с Ходасевичем ничего не известно. Н.А.Павлович вспоминает о Ходасевиче в таких словах:

И Ходасевич, едкий, терпкий,
Со скуки забредя в тот зал,
Острот небрежных фейерверком
Кружок соседей ослеплял.

⁵ Что если гору их на площади Урицкой... — Т.е. на Дворцовой площади, с 1918 носившей имя известного политического лидера. Моисей Соломонович Урицкий (1873-1918) — меньшевик, затем (после февраля 1917) большевик, председатель Петроградской ЧК, известный своей жестокостью; застрелен социал-революционером, потом Л.А.Каннегисером. Историческое имя возвращено Дворцовой площади в 1945.

⁷ То выглянув в окно, уж не найдет Белицкий... — Ефим Яковлевич Белицкий, врач-психиатр, писатель, владелец петербургского издательства «Эпоха», где вышли две книги Ходасевича ([5] и [6]); впоследствии — сотрудник Петросовета и издательский работник. Его жена, Мария Гитмановна Иструм, приходилась двоюродной сестрой М.С.Урицкому. Жил Белицкий вблизи Дворцовой площади, по адресу: Мойка 11 кв.9.

[Отрывки и наброски (1920-1922)]
стр.76

Мы объединяем общим названием семь фрагментов, извлеченных нами из самых разнородных источников. Второй, третий и четвертый из них публикуются впервые.

[1]
«Пыль, грохот, зной. По рыхлому асфальту...»
стр.76

Впервые — [164].

Публикатор относит этот отрывок к лету 1920.

² Сквозь запахи гнилого мяса, масла... — По мнению публикатора, речь здесь идет о Смоленском рынке, на Арбате, поблизости от которого Ходасевич жил во время революции и гражданской войны.

²⁻³ ...масла/Прогорклго и овощей лежалых... — Этот фрагмент повторен в другом незаконченном стихотворении: «Нет ничего прекрасней и привольней...» (см. стр.90).

[2]

«Живем в ладу. Ни зависти, ни злобы...»

стр.76

Этот впервые публикуемый набросок сделан на обороте письма от В.М.Ходасевич-Дидерихс, племянницы поэта, где она, в частности, пишет: «Очень взволновались твоим приступом. /.../ Переезжайте сюда к нам — право, лучше будет...». Письмо отправлено из Петрограда в Москву не позднее начала ноября 1920: Ходасевич последовал совету племянницы 17 ноября. Автограф — в ЦГАЛИ.

[3]

«Лес символов! Качели соответствий...»

стр.77

Источник — бродячий список Г, воспроизводящий черновик с набросками этого и еще двух стихотворений: незаконченного «Горю. От моего страдания...» и законченного «Нынче день такой забавный...» (*Из окна*, 1, — см. первый том). Последнее в черновике датировано 23 июня 1921, на основании чего датируем условно и этот фрагмент. Публикуется впервые.

1 Лес символов! Качели соответствий... — Ключевые слова символизма, часто возводимого к знаменитому сонету Ш.Бодлера *Соответствия* как к первоисточку. Лес символов (Б.Лившиц), или *чаща символов* (В.Левик) — фрагмент ст.3 *Соответствий*. Качели — вероятно, отсылка к другому программному стихотворению символизма, *Чортовым качелям* Ф.Сологуба. Впрочем, в 1926 Ходасевич еще раз упоминает *качели соответствий* как установившееся словосочетание: «В "лесу символов" мы терялись, на "качелях соответствий" нас укачивало...» (*Муни*, см. [12, стр.103]).

[4]

«Горю. От моего страдания...»

стр.77

Источник — бродячий список Г (см. прим. к предыдущему стихотворению). Датируем условно. Публикуется впервые.

[5. Частушка]
(«Ходит пес...»)
стр.77

Источник — [13, стр.395].

В автобиографической заметке *Торговля*, вошедшей в [13], Ходасевич рассказывает, как 23 июня 1921 в Петрограде, на Сенном рынке, он торговал пайковыми селедками и как на обратном пути с рынка сочинил эту *частушку*. Ритм частушки воспроизводит вихляние зада проститутки, увиденной им на Невском. В [13] восьмистишие не имеет заглавия, однако в [14] сам поэт назвал его *частушкой о матросе и б...* — в прим. к стихотворению «Нынче день такой забавный...» (*Из окна*, см. первый том), где она приведена полностью. Таким образом, *частушка* была по крайней мере дважды записана рукой Ходасевича, и оба раза — в сопровождении пояснительного текста. Она, кроме того, дважды опубликована самим поэтом ([13] — не первое место напечатания *Торговли*), на основании чего и включена нами в Собрание Стихов. Ее архитекtonика воспроизведена по [13], а не по [14].

[6]
«Я родился в Москве. Я дыма...»
стр.78

Впервые — автобиография Н.Н.Берберовой [113], где этому фрагменту предпослано следующее: «В товарном вагоне, в котором нас перевозили через <латвийскую> границу в Себеже, Ходасевич сказал мне, что у него есть неоконченное стихотворение и там такие строки: /цит. ст.1-12/...» (стр.172). Стихотворение, таким образом, записано Берберовой со слуха и, следовательно, дано в ее транскрипции. Оно не только не закончено, но и не отделано. Условно датируем его началом 1922.

7 Но восемь томиков, не больше... — Пушкин, чуть ли не единственное имущество, вывезенное Ходасевичем в эмиграцию.

[7]

«Вот повесть. Мне она предстала...»
стр.78

Впервые — [113, стр.172], где этот фрагмент назван *началом поэмы*, «которую он (Ходасевич) никак не может дописать». Условно датируем началом 1922.

«Черные тучи проносятся мимо...»
стр.79

Впервые — [145]. Условно датируем годом публикации.

[Отрывок]

(«Доволен я своей судьбой...»)
стр.80

Источник — список ИФ [15]. Место публикации или автограф не обнаружены. Название *Отрывок* взято из [15] и, по-видимому, не принадлежит Ходасевичу. В неопубликованном письме к М.А.Фроману от 14 апреля 1926 (из Парижа в Ленинград) Ходасевич пишет: «...если у Вас есть ..., "Доволен я своей судьбой"... — выбросьте их: это наброски, неудачные, я их выбросил...». Датируем условно, по месту расположения в списке ИФ.

«Сквозь облака фабричной гари...»
стр.81

Источник — [14]; впервые (?) — [49], в числе четырех стихотворений под общим названием *Зимние стихи*. Этим стихотворением в [14] открываются дополнения, сделанные Н.Н.Берберовой к Собранию стихов (1927): 27 стихотворений и набросков (1923-1938). Публикатор расположил их в хронологическом порядке, отнеся, однако, в конец подборки не вполне точно датируемые *К Лиле* и *Памятник* («Во мне конец, во мне начало...»), а в Приложение III — шуточное

послание к Горлиным; последнее мы возвращаем в хронологический ряд, а между первыми двумя добавляем стихотворение «В последний раз зову тебя: явись...», также неопределенно датированное нами концом 1930-х. В остальном принятый в [14] порядок дополнений сохранен. В основу примечаний к ним положены примечания Н.Н.Берберовой [14]. — К этому стихотворению Н.Н.Берберова дает два разночтения: «На моем экземпляре (страница из журнала) имеются два варианта, вписанные рукой Ходасевича: ...» [14]. Следуя публикатору, мы не вносим их в основной текст, а приводим в примечаниях (см. ниже: ст.9 и 13).

9 Должно быть, не борьбою партий... — «Быть может, не борьбою партий...»

11-12 На европейской ветхой карте/Все вновь перечеркнет раздор... — Мы решаемся думать, что в этих стихах содержится политическое прозрение. Ожидание новой европейской войны не могло в 1923 быть сколько-нибудь общим. Историк Первой мировой войны академик Е.Тарле во второй половине 1920-х утверждал, что с Германией как с великой державой покончено навсегда. Ходасевич и в последующие годы не отказывается от политических прогнозов. Так, в письме к Н.Н.Берберовой от 18.02.1930, в Ниццу, он пишет: «Коммунисты, социалисты, рад.-соц. и радикалы соединились так, как я предсказывал. Ты надо мной смеялась. Все "поражены неожиданностью", а я не поражен...» [113, стр.397].

«Трудолюбивою пчелой...»
стр.82

Источник — [14]; впервые (?) — [49] (*Зимние стихи*). Ходасевич не включил это стихотворение в свою последнюю книгу [9]. Н.Н.Берберова сообщает, что оно «написано в Саарове, под Берлином». В Саарове Ходасевич жил с октября 1922 по ноябрь 1923, по соседству с М.Горьким и в тесном контакте с ним: они вместе издавали в это время журнал *Беседа*.

Песня турка
стр.83

Источник — [14], впервые — [155] и почти одновременно — [156].

В примечании Н.Н.Берберовой сказано: «Напечатано в "Беседе" №7. Берлин, 1924. Ходасевич считал стихотворение слабым...» [14]. В действительности в 1924 вышли только 4-й и 5-й номера "Беседы", а №6/7 (сдвоенный, последний) вышел в 1925. В неопубликованном письме к М.А.Фроману от 14.04.1926 Ходасевич называет *Песню турка* неудачным наброском и просит его выбросить это стихотворение из имевшейся у него подборки стихов поэта. Он не включил эти стихи в свою последнюю книгу [9].

Соррентинские заметки
стр.84-85

Источник — [14].

Н.Н.Берберова: «Напечатаны в "Последних Новостях", Париж, 1924 г. Написаны в Сорренто...» [14]. — *Последние Новости* — газета П.Н.Милюкова, в которой долгое время сотрудничала Берберова. Пытался в ней работать и Ходасевич, однако «Милюков сказал ему однажды..., что он газете совершенно не нужен...» [113, стр.254]. Сорренто — город на берегу Неаполитанского залива, в окрестностях которого, на вилле, арендованной М.Горьким, Ходасевич жил с октября 1924 по 18 апреля 1925. — Ни одно из трех стихотворений цикла не вошло в последнюю прижизненную книгу стихов Ходасевича [9].

Романс
стр.86

Впервые — [150], где стихотворение снабжено авторским примечанием и датой, воспроизведенными нами в основном тексте. Н.Н.Берберова [14] указывает, что *Романс* был также напечатан в *Последних Новостях* №1231 за 1924, в Париже. В письме к Ходасевичу от 10.08.1924 М.Горький хвалит *Романс*, но передает мнение П.П.Муратова, считавшего, что не было никакой необходимости завершать этот набросок Пушкина [105, письмо XXV]. Сам Ходасевич высказался о подобного рода реставрациях в 1918 [272]: «Нет ничего соблазнительнее для художника (и для ученого, если он не лишен дарования артистического), как попытаться завершить неоконченный или

только частично сохранившийся труд гения. Помимо того, что такие попытки могут иметь самостоятельную художественную ценность, они любопытны и в других смыслах. Во-первых, на них можно смотреть, как на результат всестороннего и глубокого изучения, которому предварительно был подвергнут данный фрагмент или все творчество его автора. В этом случае весь такой труд становится как бы *монографией в образах*, а каждая деталь его — отдельным тезисом этой монографии. Такой труд всегда поучителен, как для его автора, так и для тех, кто подвергнет обсуждению его достоинства и недостатки. — Во-вторых, если за подобное завершение берется художник, примечательный сам по себе, то какие важные черты в нем могут открыться или яснее, чем прежде, выступить, благодаря столь тесному контакту с гением! Какое широкое поле для наблюдений над обоими! — Не удивительно, что попытки таких воссозданий осуществлялись неоднократно. Так, например, ... /.../ дважды окончен был Пушкинский же отрывок о дожде и догарессе: сначала А.Н.Майковым, потом — С.Головачевским...» (стр.33).

1-5 «В голубом Эфира поле/...Догаресса молодая»... — Современное пушкиноведенье (напр., Полное собрание сочинений А.С.Пушкина в десяти томах. Изд. 4-е. Л., «Наука», 1977, т.III, стр.360) дает другую версию этого пушкинского фрагмента:

Ночь тиха, в небесном поле
Светит Веспер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Воздух полн дыханьем лавра.
Дремлют флаги бучентавра.
Море темное молчит.
.....

— и относит его к другому периоду: 1827-1836. Дож — вероятно, Марино Фальеро (XIV).

25 С Лидо теплый ветер дует... — Лидо — одна из двух гаваней в Венеции; то же имя носит и остров, являющийся как бы предместьем Венеции.

«Пока душа в порыве юном...»
стр.88

Источник — [14], впервые (?) — [156]. В [9] отсутствует.

¹⁷ А под конец узнай, как чудно... — «Но под конец узнай, как чудно...» (Н.Н.Берберова: «На моем экземпляре в первой строке последней строфы "А" переправлено на "Но"...» [14]).

²⁰ Привыкши к слову — замолчать... — Следующие строки Б.Пастернака (1934, «Здесь будет все пережитое», *Второе рождение*):

Есть в творчестве больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой, —

интонационно столь близки и по смыслу столь тесно связаны с этим стихом и всем стихотворением, что кажутся нам непосредственным откликом на него.

[Отрывки и наброски (1925-1927)]
стр.89

Впервые — [14].

Публикатор этих фрагментов Н.Н.Берберова сопровождает их замечанием: «Незаконченные отрывки и наброски написаны в первые годы жизни в Париже. Напечатаны не были». Мы сохраняем принадлежащий ей порядок расположения этих пяти незаконченных стихотворений. — В.Андреев (1969): «За последние двенадцать лет своей жизни он (Ходасевич) написал с десятков не лучших своих стихотворений да оставил несколько набросков, которые уже совсем не похожи на его великолепные и страшные стихи...» [112]. Н.Н.Берберова: «...в них, несмотря на отрывочность, есть элементы подлинной поэзии...» (Предисловие к [14]).

[1]
«Великая вокруг меня пустыня...»
стр.89

С этим отрывком Н.Н.Берберова не вполне понятным образом

связывает замечание Ходасевича о К.К.Вагинове: «У меня есть незаконченный отрывок стихов (1926 ? года), где он вспоминает Петербург и говорит, что ему пишут, что Костя Вагинов, по слухам, пишет хорошие стихи (конец отрывка "Великая вокруг меня пустыня")...» [113, стр.642]. — Фрагмент этого стихотворения — от слов «я засов тяжелый...» и далее ст.15-16 — неточно цитирует Вл.Орлов (1976), предпосылая цитате следующее: «Ему не нравится революция и все, что она принесла с собой в мир...» [115].

5 Кинематограф свой не учиняли... — Н.Н.Берберова дает в [14] вариант этого стиха: «Кинематограф свой не разводили...»

[2]

«Кто счастлив верною женой...»

стр.89

3 Кто прав последней правотой... — Этот мировоззренческий стусок, важнейшая для характеристики жизни и творчества Ходасевича формула, образует любопытную параллель со стихами двух других больших поэтов, современников Ходасевича: «Я скажу тебе с последней прямотой...» (О.Мандельштам) и «Знаю знанием последним,/Что бессильна эта тьма...» (Ф.Сологуб).

[3]

«Как больно мне от вашей малости...»

стр.90

В.Андреев (1969) цитирует в своих воспоминаниях ст.1-4 этого наброска, сопровождая их репликой: «Создается впечатление, что Ходасевич сам не верит в свою нежность, и стихотворение замерзает на несвойственном поэту чувстве...» [112]. Вряд ли это замечание корректно.

[4]

«Нет ничего прекрасней и привольней...»

стр.90

Мэстре (ст.11) — город на Апеннинском полуострове, распо-

ложенный непосредственно против Венеции и связанный с ней железнодорожным мостом. Понтебба (ст.19; в [14] — Поттебба: опечатка) — железнодорожная станция в итальянских Альпах, в 10 км от современной границы с Австрией.

Ночь
стр.92

Источник — [14], впервые (?) — [158].
Н.Н.Берберова: «Написано в 1927 г., в Париже» [14].

Граммофон
стр.93

Источник — [14], впервые (?) — [158].
Н.Н.Берберова: «Написано в 1927 г., в Париже» [14].

Дактили
стр.94

Источник — [14], впервые (?) — [159].
Н.Н.Берберова: «Написано в 1928 г. в Париже. Фактически точный рассказ об отце» [14].

¹⁸ Тех пятерых прокормил — только меня не успел... — Некоторые из современников называют Ходасевича периода его обучения в университете (1904-1911) *белоподкладчиком*, т.е. человеком обеспеченным. Мы более склонны верить авторскому свидетельству. Летом 1907 Ходасевич разыскивался за невзнос квартирной платы, причем пристав 2-го участка Пречистенской части Москвы даже посылал о нем запросы в другие города. Трижды (весной 1908, осенью 1910 и весной 1911) он увольнялся из университета за неуплату семестрального взноса в пользу преподавателей в размере 25 рублей. Для вступления его в брак с М.Э.Рындиной университетским начальством было затребовано, а поэтом — получено письменное обязательство от его брата, присяжного поверенного М.Ф.Ходасевича «оказывать брату своему, студенту Императорского Московского уни-

верситета Юридического факультета, 2 семестра, Владиславу Ходасевичу материальную помощь во все время пребывания его студентом...» (дано 17/III-1905). Возможно, впрочем, и другое: Ходасевич с юности пристрастился к картам и — тоже по свидетельству современников — проигрывал больше, чем зарабатывал литературным трудом.

35-36 ...шестипалым размером/И шестипалой строфой сын поминает отца... — Третью шестерку, число строф, поэт не называет намеренно, пряча от читателя страшный намек, заложенный в самой структуре стихотворения: 666, апокалиптическое Число Зверя, является с последним его стихом — чтобы еще усилить контраст между «демонской силой творца» и праведностью нетворца. Этот образ логически замыкает стихотворение, в композиционном отношении — одно из совершеннейших в русской лирике XX века.

Похороны стр.96

Источник — [14], впервые (?) — [160].

Н.Н.Берберова: «Было задумано как *tour de force*, как "сонет в четырнадцать слогов"...» [14].

«Нет у меня для вас ни слова...» стр.97

Источник — [14], впервые (?) — [160].

В примечаниях к [14] дано под названием *Скала*; в основном тексте названия нет. Н.Н.Берберова добавляет: «Написано в 1928 г. после долгого разговора о символизме и символистах...» [14]. Одним из немногих, с кем у Ходасевича случались долгие разговоры о поэзии, был в эти годы В.Набоков. — «...в квартире Ходасевича... в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком, происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы "Дара", в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева...» [113, стр.369].

4 Друзья погибших лет... — В автографе, хранящемся у Н.Н.Берберовой: «Друзья минувших лет!» [14].

«Полузабытая отрада...»
стр.98

Источник — [14], впервые (?) — [160], где, по сообщению Н.Н.Берберовой, «напечатано под названием "Веселье"...» [14].

«Когда меня пред Божий суд...»
стр.99

Источник — [14], впервые (?) — [161], «под названием "Я"...» [14]; следуя Н.Н.Берберовой (см. прим. к двум предыдущим стихотворениям), мы снимаем это название как служебное, приспособленное для журнальных целей. — На это стихотворение имеется отклик в советской критике. К.Зелинский пишет в своем обзоре эмигрантской поэзии (1933): «Что же делают "маститые"? Да ничего — плачут. Тоже плачут друг у дружки на плече, как и молодежь. В той же юбилейной книжке "Современных записок" помещено стихотворение Владислава Ходасевича, написанное на манер "Мцыри" и посвященное той же животрепещущей для эмигрантов теме (какое единство тематики!): "что будет, когда я умру": /цит.ст.1-2; пересказ ст.3-22; неточная цит.ст.23-26/...» [318]. — Стихотворение это «задумано было еще в середине 20-х гг.», «много раз исправлялось», «один из последних черновых списков» дает следующие разночтения [14]:

- 2 На черных дрогах повезут... — «На страшных дрогах повезут,».
6 И страх завистливый родит... — «И зависть странную родит.».
15 Но свет (иль сумрак?) тайный т о т ... — «Но свет иль сумрак дивный тот».
21 Ни беспощадного огня... — «Ни потаенного огня,».

На смерть кота Мурра
стр.101

Источник — [14].

Н.Н.Берберова: «Напечатано в "Опытах", Нью-Йорк (посмертно). Ходасевич недооценил этих стихов при жизни, он считал, что они написаны "на случай". В 1931 году умер черный кот Мурр и тогда же были написаны эти стихи...» [14]. З.Шаховская называет Ходасе-

вича «большим любителем кошек» [114]. В письме от 18.02.1930 к Н.Н.Берберовой Ходасевич пишет: «...я хочу знать, что и как, где кот бывал, что ел, а что только нюхал...»; в письме от 30.10.1930 к ней же просит промывать коту уши [113, стр.398].

«Нет, не шотландской королевой...»
стр.102

Источник — [14].

Н.Н.Берберова: «Посвящено киноактрисе Катрин Хэпберн, игравшей "Марию Стюарт" в 1936 году. Написано тогда же. Напечатано в журнале "Встреча" (посмертно), Париж». — К.Хэпберн внешне была очень похожа на Н.Н.Берберову [113, стр.494] — следовательно, эти стихи обращены скорее к писательнице, чем к актрисе.

[Приношение Горлиным]
стр.103

Источник — [14], где стихотворение озаглавлено *Приношение Р. и М.Горлиным*. Название, по-видимому, не принадлежит Ходасевичу. В предисловии к [14] Н.Берберова пишет: «...я нашла среди своих бумаг юмористическое послание Ходасевича Раисе и Михаилу Горлиным, близким его друзьям, поэтам, погибшим впоследствии в германских лагерях. Оно интересно тем, что показывает нам иронию Ходасевича — не только "жестокую" и "злую", о которой столько ходит легенд, но и легкую, полную непосредственного юмора, да еще обращенную на самого себя. Это "Послание" выделено мною в Приложение к книге...». — Мы возвращаем стихотворение в хронологический ряд Дополнений. Михаил Горлин (1909-1943) — поэт и ученый славист; Раиса Горлина (урожд.Блох; 1899-1943) — поэтесса, литературовед, сестра издателя «Петрополиса» Я.Н.Блоха [113].

¹⁰ ...Фельзена читал... — Ю.Фельзен — парижский эмигрант, беллетрист, автор романа *Перемены* (1938), представитель так называемого *незамеченного поколения*.

⁶⁹⁻⁷⁰ Так скорпион своим же ядом/Себя разит в кольцо огня... — Почти текстуальный повтор ст.7-8 из стихотворения «Слепая сердца мудрость! Что ты значишь...» (см. первый том).

«Сквозь уютное солнце апреля...»
стр.106

Источник — [14], впервые — [162].

Н.Н.Берберова: «Написано в 1937 г. Ходасевич не напечатал эти стихи при жизни, т.к. считал, что в них чувствуется какое-то запоздалое настроение "Тяжелой лиры" и они не гармонируют с тем, что он пишет в данное время...» [14].

«Не ямбом ли четырехстопным...»
стр.107

Источник — [14], впервые — [162].

В предисловии к [14] Н.Н.Берберова пишет: «Я также решаюсь напечатать среди законченных стихотворений несколько незаконченных отрывков: один из них, о четырехстопном ямбе, представляет собою одно из замечательнейших стихотворений Ходасевича...». В примечании к этим стихам она добавляет: «Писалось в 1938 году, некончено, не отделано. Черновик, представляющий исключительный интерес, у меня. По нему видно, как Ходасевич работал. Среди зачеркнутых строк и брошенных строф, попадаются такие строчки:...» /цитаты, данные в [14] в строку, мы разворачиваем по стихам/:

Воистину, в потопе нашем
Он уцелел, как древний Ной

И над ним
Смеется сын смешком плохим
Эй, мальчики, посторонитесь!
... И в нем
Я вам бью челом

И содрогается земля
Под озверелою квадригой

Дотоле будет жить Россия
Доколе конь Петров стоит

Хоть и на последнем месте
Мной незаслуженная честь

Фрагмент этого стихотворения приводит в своих воспоминаниях Л. Любимов: «Этот щуплый раздражительный человек с исхудалым желто-серым лицом жил горделивой мыслью, что он последний большой русский поэт. Вспоминал родоначальника русской поэзии Ломоносова в таких действительно прекрасных стихах: /цит. ст.9-20/. — И вот Ходасевич считал, что без него русская поэзия умерла бы и всего этого не было бы...» [107, стр.165]. Последняя фраза — явная передержка советского мемуариста; первая же, в собственном смысле слова, вполне верна: Ходасевич с полным правом считал себя последним большим *русским* поэтом Петербургской (т.е. Петровской и Пушкинской) эпохи русской истории, прерванной в 1917.

11 Но первый звук Хотинской оды... — Имеется в виду *Ода блаженной памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года* М.В.Ломоносова (1739): первая из его од, написанная четырехстопным ямбом.

18 Как оный славный В о д о п а д ... — *Водопад* (1791-1794) — одна из самых знаменитых од Г.Р.Державина, также написанная четырехстопным ямбом.

23 Тем сокровенней лад певучий... — В [14]: «тем сокровенней лад певучей...». Исправлено нами.

30 В нем спит спондей, поет пэон... — *Спондей* — в классическом стихосложении — стопа из двух долгих слогов; в русской просодии ей соответствует стопа из двух ударных слогов, напр., первая стопа в четырехстопном ямбическом стихе «Швед, русский — колет, рубит, режет...»; *пэон* (пеон, пеан) — в классической метрике — стопа из одного долгого и трех кратких слогов, в русской — из одного ударного и трех безударных, напр.: «Убив на поединке друга...» (тоже четырехстопный ямб). В русском стихе оба метра практически не отличимы от обычных ямбов и хореев.

К Лиле
стр.109

Источник — [14].

Н.Н.Берберова: «Сначала называлось "Перевод с латинского", потом "С латинского". Ввиду очень личного характера стихов, Ходасевич хотел придать им вид перевода из другого автора. На моей копии есть даже подпись: "Перев. А.Лучинин". Напечатано в "Воз-

рождении”, Париж. Написано в середине 30-х гг. ...» [14]. — Несколько завуалированный смысл этого замечания состоит в том, что стихи обращены к Берберовой. Если это верно, то — в середине тридцатых — подобная декларация вечной любви должна была означать нечто не вполне обыкновенное: Ходасевич в 1932 женится на Ольге Марголиной (впоследствии погибшей в одном из нацистских концентрационных лагерей), Берберова в эти же годы — замужем за Н.В.Макеевым. Об отношении Ходасевича к Берберовой после разрыва дает представление его письмо к ней (весна 1933): «Милый мой, ничто и никак не может изменить того большого и важного, что есть у меня в отношении тебя. Как было, так и будет: ты слишком хорошо знаешь, как я поступал с людьми, которые дурно к тебе относились или пытались забить клин между нами. Так это и останется, и все люди, которые хотят быть хороши со мной, должны быть хороши и доброжелательны в отношении тебя...» [113, стр.419]. — *Возрождение* — русская газета в Париже: ежедневная в 1925-1936, еженедельная в 1936-1940; в 1949-1954 — журнал, выходивший раз в два месяца, с 1955 — ежемесячно. Первым редактором был П.Б.Струве. Ходасевич работал в *Возрождении* с 1927 по 1939.

11 Над крепкой высью Пелиона... — *Пелион* — гора в восточной части Фессалии; с ней связаны сказания о борьбе Зевса с гигантами, которые, желая взобраться на небо, пытались взгромоздить друг на друга Оссу, Олимп и Пелион; о кентавре Хироне; о постройке Арго и другие.

«В последний раз зову тебя: явись...»
стр.110

Стихотворение сообщено нам Г.Ковалевым. Место публикации или автограф не обнаружены, однако принадлежность его Ходасевичу кажется несомненной. Условно относим его к 1930-м годам.

Памятник
 («Во мне конец, во мне начало...»)
стр.111

Источник — [14], впервые — [162].

Н.Н.Берберова: «Написано в 30-х годах» [14].

2 Мной совершенное так мало... — Помимо злости, Ходасевичу приписывают и непомерное самодовольство. Так, Л.Любимов вспоминает: «Как-то он объяснял мне, кого мы должны считать самым выдающимся человеком: "Что выше всего? Поэзия. Какая самая замечательная поэзия наших времен? Русская. А кто сейчас самый большой русский поэт? Я. Вывод сделайте сами". Хотя он и говорил это с улыбкой, но он не шутил...» [107, стр.165]. Этот выпад, так озадачивший мемуариста, с готовностью повторяет литературовед Вл.Орлов: «В Ходасевиче больше всего поражала его "желчная самоуверенность". /Цит. Л.Любимова/. — И это говорил поэт, оставшийся без родины, без читателя, кое-как перебивавшийся на чужбине и уже не ждавший от жизни никаких подарков...» [115, стр.145]. — Оба советских писателя страдают врожденной (или внедренной) близорукостью: в иерархии высказываний поэта решающее, *последнее* слово говорится в его стихах.

ПЕРЕВОДЫ

В.Ф.Ходасевич переводил стихи польских, армянских, латышских, финских и еврейских поэтов; имеются также сведения о единичных переводах с английского, французского и украинского. Настоящая подборка, в которой стихотворные переводы Ходасевича впервые собраны вместе, является достаточно полной: лишь 7 переводов, о существовании которых упоминают архивы, нам не удалось найти.

ИЗ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ стр.115-136

АДАМ МИЦКЕВИЧ (1798-1855), «Пушкин польской литературы», по определению Ходасевича, первым предуказавший ей «пути национального развития». Шесть из семи обнаруженных нами переводов опубликованы в 1970, в исследовании С.Бэлзы [183]. До этого са-

самый факт их существования тщательно замалчивался (см. статью Д.Северюхина *России пасынки*, стр.351-362 т.II настоящего Собрания). Они должны были войти в том избранных стихов Мицкевича, над которым Ходасевич работал в 1919-1922 по заданию издательства «Творчество». К началу 1922 сборник этот был в основном готов, но так и остался неизданным — в связи с прекращением деятельности издательства и отъездом Ходасевича за границу. Сохранилась вступительная статья к нему, также полностью опубликованная Бэлзой. Седьмое стихотворение данной подборки не переиздавалось с 1916. Все пьесы расположены нами по хронологии их создания Ходасевичем, т.е. в порядке возникновения русских версий оригиналов. Этот порядок установлен по собственноручному перечню стихотворных переводов, составленному Ходасевичем в первой половине 1918 и в настоящее время хранящемуся в ЦГАЛИ. *Песня Кариллы*, не названная в перечне, заняла в хронологическом ряду место, следующее из времени ее публикации.

Чатырдаг
стр.115

Перевод выполнен в октябре-декабре 1915, впервые опубликован в [183], переиздан в [184]. Оригинал входит в число восемнадцати Крымских сонетов А.Мицкевича, написанных им в 1825. Перевод Ходасевича превосходит, в смысле семантической точности, все многочисленные переводы этого сонета, не исключая переводов И.Бунина и В.Левика.

Триолет
стр.115

Перевод выполнен в декабре 1915, впервые опубликован в [183]. До сих пор является единственным в русской поэзии.

«Мотать любовь, как нить, что шелкопряд мотает...»
стр.116

Перевод выполнен в декабре 1915, впервые опубликован в [183].

Является скорее вольным переложением, чем собственно переводом: оригинал содержит лишь 12 стихов и в смысловом отношении отличается от версии Ходасевича, до сих пор остающейся единственной в русской поэзии.

Князю Голицыну
стр.116

Перевод выполнен в декабре 1915, впервые опубликован в [183]. Известен также и другой перевод этого стихотворения, принадлежащий М.Живову (см. А.Мицкевич. Собр. соч. в 5 томах. М., ОГИЗ, 1948, т.I, стр.178).

Дяды (Отрывок)
Хор юношей — девушке
стр.116

Перевод выполнен 13 января 1916, впервые опубликован в [183].

[Песня Кариллы]
(«Смолкли в воздухе ночном...»)
стр.117

Дата написания не установлена. Вместе с переводом рассказа А.Мицкевича *Карилла*, частью которого он является, перевод этот был опубликован Ходасевичем в газете *Утро России* за 24 февраля 1916 [208]. Как и перевод самого рассказа, остается пока единственным в русской литературе.

Буря
стр.118

Перевод выполнен 4 мая 1917, впервые опубликован в [183], затем перепечатан в [184]. Вместе с *Чатырдагом Буря* входит в число восемнадцати Крымских сонетов (1825) А.Мицкевича. Имеются многочисленные русские переводы сонета, среди них — П.А.Вяземского, И.И.Козлова, В.Левика.

СИГИЗМУНД КРАСИНСКИЙ (в современной транскрипции Зыгмут Красиньский; 1812-1859), граф, — третий, вслед за А.Мицкевичем и Ю.Словацким, гений польского «поэтического триумvirата» (В.Ф.Ходасевич), поэт, беллетрист, драматург, теолог; наиболее яркий выразитель мессианистической грезы польского романтизма. Конечный вывод его религиозно-философских исканий можно определить как веру в то, что без религиозного возрождения, путем насилия и внешнего строительства, человечество не осуществит на земле идеала счастья и справедливости. Ходасевич перевел и в 1910 издал отдельной книгой драматическую поэму в прозе Красинского *Иридион* (1836). В предисловии к ней он писал: «Попытки примирения христианства с местью за страдания угнетенных народов — таков, в самых общих чертах, основной мотив его поэзии, прекрасной, возвышенной и лишь в недавнее время, вместе с "реставрацией" Словацкого, привлекавшей к себе должное внимание...». Почти несомненно, что существовали и другие переводы Ходасевича из Красинского, нам вовсе неизвестные. В апреле 1912 Ходасевич вел переговоры с издателем К.Ф.Некрасовым о напечатании собрания сочинений Красинского в его переводах. Сохранились два неизданных письма Некрасова, помеченных 2.04.1912 и 20.04.1912. Из первого, между прочим, можно заключить, что Ходасевич уже закончил перевод романа Красинского *Агай-Хан*: К.Ф.Некрасов «рад познакомиться и издать» его. Издание это не было осуществлено.

Мы оставляем прежнее, принятое Ходасевичем и его современниками, написание имени и фамилии польского поэта. Этому правилу мы следуем и в отношении других авторов, переведенных Ходасевичем.

«Ужель в последний раз я был тогда с тобою...»

стр.120

Перевод выполнен в декабре 1912, появился в августовской книжке *Северных Записок* за 1913 [167] и с тех пор не переиздавался. Другие переводы этого стихотворения на русский язык не публиковались.

КАЗИМИР (Казимеж) ПШЕРВА ТЕТМАЙЕР (1865-1940) — поэт и беллетрист, один из лидеров литературного объединения польских модернистов *Молодая Польша*. На рубеже XX века и в первые два его десятилетия, вместе с С.Пшибышевским, чью прозу также переводил Ходасевич, пользовался широкой популярностью не только у себя на родине, но и в России. Его романы *Ангел смерти* (1898), *Гибель* (1905), *Конец эпопеи* (1917) и драмы *Завиша Черный* (1901) и *Революция* (1905) выходили в русских переводах сразу после появления оригиналов. Предлагаемая нами подборка составлена из стихотворных вкраплений в текст двух повестей Тетмайера: *Марина из Грубого* и *Яносик Нендза Литмановский*, из которых вторая в сюжетном отношении продолжает первую. Ходасевич перевел и издал их соответственно в 1910 [186] и в 1912 [190], после чего до 1918 они еще несколько раз переиздавались. После смерти Ходасевича появились советские переиздания повестей [200] и [201], под редакцией М.Абкиной и под общим названием *Легенда Тамр*. Повести основаны на фольклоре Подгалья, родины Тетмайера. Фольклор этот насыщен своеобразными разбойничьими песнями, восхищавшими автора и ставшими, в его обработке, важным структурным элементом повестей. Даже будучи выделены из охватывающего их текста, они образуют замкнутый цикл, замечательный своей цельностью и поэтичностью. Прижизненные русские переводчики Тетмайера часто пренебрегали этими стихами, произвольно сокращая их, а иногда и полностью выбрасывая. Таковы переводы В.Высоцкого в десяти томном собрании сочинений Тетмайера, вышедшем в 1907-1911 в издательстве В.М.Саблина, и анонимного переводчика, выпустившего повести в 1921 и 1928 годах в издательстве ЗИФ — как роман, под названием *Горные орлы*. Вероятно, к некоторым сокращениям прибег и Ходасевич. В его версии отсутствуют баллада «Ворота подожгли...» и последние 6 стихов песни «Эх, как с гор мы спустимся в долины...», имеющиеся в издании М.Абкиной [201].

Настоящая подборка составлена по первым изданиям повестей [186] и [190]. Ее открывают два куртуазных стихотворения, которые мы отделили от разбойничьих песен; эти последние идут за ними в порядке своего появления в книгах. Несколько коротких и малозначительных фрагментов нами опущены.

[Хор мальчиков у покоя новобрачных]
стр.122

Впервые — [201], стр.112-113.

[Придворная песенка]
стр.123

Впервые — [186], стр.68. В тексте имеется ремарка: «Это старая придворная песенка, сложенная еще при Сигизмунде Старом» (там же, стр.69).

[Песни разбойников Татр]
стр.123

В подлиннике все песни написаны на подгальском диалекте. Источник и место первой публикации — [186] и [190], где они расположены следующим образом:

[186]:	[190]:
1 — стр.27	11 — стр.10
2 — стр.44	12 — стр.85
3 — стр.53	13 — стр.108, 119
4 — стр.60-61	14 — стр.148, 149, 150, 154, 156
5 — стр.118	15 — стр.169-170
6 — стр.81, 169	16 — стр.171
7 — стр.199-200	17 — стр.177
8 — стр.207-208	18 — стр.240
9 — стр. 234	19 — стр.252-253
10 — стр.236	

[1]
(«Эх, как с гор мы спустимся в долины...»)
стр.123

В издании М.Абкиной [201], стр.43, вслед за ст.8 идут еще шесть стихов, отсутствующих в переводе Ходасевича [186]:

Гетман наш Замойский, пан вельможный наш,
За ружье спасибо, порох ты нам дашь.
А я буду, хлопец, эх, маршировать.
Все весною будут поле здесь пахать...
Золотые кудри мне придется снять.
Под росистым буком больше не гулять.

[4]

(«Скоро ты, Яносик, белыми руками...»)
стр.124

Яносик Ежи — полулегендарный герой народов Татр, предводитель разбойничьего отряда, казненный в 1713. С ним связаны многие из песен Подгалья, обработанных К.Тетмайером. Он также послужил прообразом героя повестей Тетмайера, разбойника, носящего то же имя.

[11]

(«Добрый молодец, разбойничек...»)
стр.128

В повести каждые два стиха этой песни сопровождаются пояснительной авторской ремаркой:

ст.1-2 — «Значит — лес просвечивает».

ст.3-4 — «Значит — зима его выгонит из лесу».

ст.5-6 — «Значит — поймают его в поредевшем лесу».

[12]

(«Идет-бредет Саблик по узкой дорожке...»)
стр.128

Саблик — один из героев К.Тетмайера. В повести он исполняет эту песню в лесу, аккомпанируя себе на гуслях, над трупом только что убитого им медведя.

ЭДВАРД СЛОНСКИЙ (Слоньский; 1872-1926) — поэт и беллетрист. В собственноручном перечне стихотворных переводов, составленном В.Ф.Ходасевичем в первой половине 1918 и хранящемся в ЦГАЛИ, упомянуты три стихотворения Э.Слонского, переведенные им в период с октября 1914 по январь 1915. Одно из них — «Все шли из туманной дали...», законченное 27 декабря 1914, — нами не обнаружено.

«Та, что не погибла...»
стр.134

Перевод выполнен 9 октября 1914, впервые опубликован в [168], затем — в [170]; воспроизводим по [171]. С 1915 не переиздавался. Оригинал — из одноименного сборника Слонского *Ta, co nie zginela*, 1915. Почти одновременно с переводом Ходасевича опубликован перевод этого стихотворения, выполненный К.Висковатовым: *Из жемчужин польской поэзии*. Пг., 1915, стр.57-59. Зная о работе Ходасевича над переводами из Слонского, С.В.Киссин посылает ему в марте 1915 из Варшавы, тогдашнего тыла русской армии, открытку с польским текстом первой части этого стихотворения.

На пепелищах
стр.135

Перевод выполнен в январе 1915, впервые опубликован в [169]. С тех пор не переиздавался.

ИЗ АРМЯНСКИХ ПОЭТОВ
стр.137-147

МКРТИЧ ПЭШИКТАШЛЯН (Пешикташлян; 1828-1868) — поэт и драматург, один из основоположников константинопольской школы в ново-армянской литературе. Его творчество знаменует в ней переход от классицизма к романтизму. Воспитание получил в Италии, в паду-

анском центре по изучению армянской культуры — обители мхитаристов. В.Брюсов отмечает влияние Г.Гейне и А.Мюссе на поэзию Пэшикташляна [173, стр.68].

Старик из Вана
стр.137

Перевод выполнен 16 марта 1916, впервые опубликован в [173]. Другие русские переводы этого стихотворения не публиковались. **Ван (Ваан)** — озеро, в народных песнях часто именуемое морем. **Айоц Дзор** — букв.: армянское ущелье — местность близ Вана.

СМБАТ ШАХ-АЗИЗ (Шахазиз; 1841-1907) — поэт и публицист, автор трех стихотворных сборников и многочисленных критических статей. Окончил Лазаревский институт в Москве, после чего до самой смерти преподавал армянский язык. Стихи писал лишь в молодости; они очень быстро получили всеобщее признание, вошли в школьные программы и стали песнями, а их автор при жизни был назван в числе классиков ново-армянской литературы. На русском языке стихи Шах-Азиза печатались лишь однажды: в 1905, под редакцией и в переводах Ю.Веселовского, которому принадлежат и первые русские статьи о поэте.

«Кругом весна. Бреду. Навстречу мне...»
стр.139
Сонет
стр.139

Оба перевода выполнены в октябре 1916, впервые опубликованы в [173]. До сих пор остаются единственными в русской литературе.

ОВАННЭС ТУМАНИАН (Ованес Туманян; 1869-1923) — поэт, публицист и общественный деятель. На русском языке существует о нем обширная литература. О его стихах, многократно выходивших

по-русски отдельными изданиями, В.Брюсов сказал, что они — «... сама Армения, древняя и новая, воскрешенная и запечатленная в стихах большим мастером» [173, стр.79]. В.Ф.Ходасевич был в числе первых переводчиков Туманиана, наряду с К.Бальмонтом, В.Брюсовым и Вяч.Ивановым.

«Пускай в неведомое, вдаль, свой взор вперяю я...»
стр.141

Перевод выполнен 29 декабря 1915, впервые опубликован в [174], переиздан в сборнике *О Родине* (М., Гослитиздат, 1944. 240 с., стр.167-168) и вошел в трехтомное Собрание сочинений О.Туманяна (1969, Ереван, т.I, стр.94). Другой перевод этого стихотворения принадлежит М.Павловой; он опубликован в книге: О.Туманян. Стихотворения и поэмы. Л., 1958 (стр.103), — под названием *С отчизной*. В собственноручном перечне стихотворных переводов Ходасевича, хранящемся в ЦГАЛИ, это стихотворение дано под названием *Родине*.

Капля меда
Сказка
стр.142

Перевод датирован 25-29 февраля 1916, впервые опубликован в газете *Утро России* [172], затем вошел в [173] под названием *Одна капля меда* (в оглавлении: *Капля меда*). В советское время сказка получила широкую известность в переводе С.Маршака, неоднократно переиздававшемся.

БААН ТЕРИАН (Терьян; 1885-1920) — поэт, публицист, общественный и государственный деятель. В.Брюсов писал о нем: «Ученик символистов, Терьян сделал попытку усвоить армянской поэзии все, что было достигнуто европейской поэзией (особенно, — русской и французской) за самые последние десятилетия...» [173, стр.86-87]. После большевистской революции 1917 В.Териан избирается в состав

ВЦИК, работает в Народном комиссариате по делам национальностей, во главе которого стоял И.Сталин, участвует в заключении Брестского мира. По-русски его стихи неоднократно выходили отдельными изданиями; ему посвящены многочисленные статьи и монографии.

На родине
стр.147

Перевод датирован декабрем 1915, впервые опубликован в [174]. В 1941 появился другой перевод этого стихотворения, выполненный Вс.Рождественским (В.Терьян. Избранное. Ереван, 1941, стр.56).

ИЗ ЛАТЫШСКИХ ПОЭТОВ стр.148-154

ПЛУДОН (Плудонис, В.Плудон — псевдоним; 1874-1940) — поэт, теоретик языка и литературовед; настоящее имя Вилис Лейниекс. И.Янсон называет его поэтом, «обладающим редкой музыкальностью и виртуозностью» [175, стр.27]. Плудону отводят выдающуюся роль в развитии латышской поэзии, особенно эпической. Ему принадлежат переводы на латышский баллад Лермонтова, Гете, Лонгфелло, Гейне.

Два мира
(Купальный сезон)
стр.148

Дата перевода: 1-12 января 1916, впервые — [175]. Оригинал (1899) относят к числу высочайших достижений латышской поэзии. Известны еще два русских перевода этого стихотворения: В.Невского (В.Плудон. *В солнечные дали*. Избранное. Рига, 1959) и Л.Копыловой (В.Плудон. Избранное. Стихи, баллады, поэмы. Рига, 1970). — В [175] ст.59 заканчивается запятой, которую мы снимаем как явную опечатку.

77 Тот, в глотку смерти брошенный волне... — Этот стих исправлен нами в соответствии с требованиями композиции. В [175] он читается так: «Тот, в глотку смерти брошенный волной...».

КАРЛ (Карлис) СКАЛЬБЕ (1879-1945) — поэт, беллетрист и журналист, автор одиннадцати стихотворных сборников, основоположник жанра литературной сказки в Латвии. По свидетельству И.Янсона, «у Скальбе много интимного чувства природы, он прекрасно знаком с мотивами и языком народных песен и сказаний...» [175, стр.25]. Во время революции 1905 Скальбе основал антиправительственный журнал, за что впоследствии подвергался репрессиям. В дальнейшем он отходит от революционной деятельности и сотрудничает в демократических изданиях независимой Латвии. В 1938-1939 в Риге вышло десяти томное собрание сочинений поэта. Умер он в Швеции, куда вынужден был эмигрировать в 1944. Отдельного издания стихов К.Скальбе на русском языке не существует.

Вечером
стр.151

Дата перевода: октябрь 1915, впервые — [175]. Другие русские переводы этого стихотворения не публиковались.

АСПАЗИЯ (псевдоним; 1868-1943) — поэтесса и драматург; настоящее имя: Эльза Плиекшан (урожд. Розенберг). «Лирические стихотворения Аспазии принадлежат к лучшим в латышской литературе: такого яростного вихря чувств и смелого проявления своего "я", такого блеска, пурпура и золота не знала наша лирика до Аспазии» (И.Янсон [175, стр.23]). Ранние стихи Аспазии отмечены революционными настроениями, навсегда исчезающими после русской революции 1905. С 1905, вместе со своим мужем Я.Райнисом (Я.Плиекшаном), поэтесса находится в эмиграции, в Швейцарии; в 1920 возвращается на родину. Ее стихи никогда не выходили по-русски отдельным изданием.

Небытие стр.152

Дата перевода: ноябрь 1915, впервые — [175]. Оригинал — из сборника Аспазии *Сумерки души* (1904). Другие русские переводы этого стихотворения не публиковались.

АПЕСДЭЛЬС (псевдоним; 1880-1932) — поэт, автор восьми стихотворных сборников, революционер; настоящее имя: Август Аписитис. Для его творчества характерны отвлеченные философские раздумья и гражданский пафос. В молодости Аписитис был захвачен политической борьбой тех лет, сближается с социал-революционерами и анархистами. За участие в русской революции 1905 он был приговорен к 10 годам каторги с последующей ссылкой в Сибирь. По-русски книги Апесдэльса не выходили.

Отверженные стр.153

Дата перевода: 13 апреля 1916, впервые — [175], с подзаголовком: *Из сборника «Утомление»*. Другие русские переводы этого стихотворения не публиковались.

ШАЛКОН (псевдоним; 1882-1957) — представитель т.н. *пролетарской поэзии*, революционер; настоящее имя: Кристан Дирикис. Член РСДРП с 1904, Дирикис активно участвовал в революционной деятельности, неоднократно подвергался репрессиям и свои первые стихи опубликовал в нелегальной печати. После большевистской революции 1917 остался в России и вплоть до выхода на пенсию в 1939 занимал ответственные партийные посты.

Черные цветы стр.154

Дата перевода: 23 марта 1916, впервые — [175]. Других русских переводов этого стихотворения не обнаружено.

ИЗ ФИНСКИХ ПОЭТОВ

ЭЙНО ЛЕЙНО (псевдоним; 1878-1926) — поэт, драматург, беллетрист, публицист, литературный и театральный критик; настоящее имя Армас Эйно Леопольд Ленбаум. Автор двадцати стихотворных сборников. Об одном из них, содержащем балладу *Синий крест*, впоследствии переведенную Ходасевичем, В.Таркиайнен писал: «...по оригинальности приемов и декоративной яркости образов эти стихотворения можно смело поставить рядом с лучшими легендами и балладами мировой литературы...» [176, стр.83]. После отделения Финляндии активно включился в общественную жизнь, призывая к установлению мирным путем справедливого и всенародного государства. Политические иллюзии и громадный авторитет поэта были использованы недобросовестными политиками. Последние годы жизни, уже тяжело больной, впавший в душевное расстройство, он провел в лечебницах и санаториях.

Песня торпаря
стр.155

Дата перевода 16/IV-1916; впервые — [176], затем дважды переиздан в книгах: Э.Лейно. Избранное. М.-Л., 1959, стр.55-56; и *Поэзия Финляндии*. М., 1962, стр.217. Оригинал — из сборника *Ночная пряжа* (1897). В собственноручном перечне стихотворных переводов Ходасевича (ЦГАЛИ) упомянут под названием *Песня лесного торпаря*. Торпарь — финск. toгppari, от toгppa, избушка, — бедняк, не имеющий собственной земли. Другие русские переводы этого стихотворения не публиковались.

Синий крест
стр.156

Дата перевода: 19-20/IV-1916; впервые — [176]. Оригинал — из сборника *Легенды* (1903), признанного лучшим поэтическим созданием Э.Лейно. Другие русские переводы этого стихотворения не публиковались.

МИКАЭЛЬ ЛЮБЕК (1864-1926) — поэт, беллетрист и драматург, представитель реализма в шведской группе писателей Финляндии. Он «снискал себе славу как стилист и художник формы... Его произведения — плод развитого ума; они несколько бледны и сухи, но тщательно отработаны и закончены...» (В.Таркиайнен [176]). Книги М.Любека по-русски не издавались.

Усталые деревья
стр.161

Дата перевода: 29/II-1916; впервые — [176], другие русские переводы не публиковались.

ЯЛМАР ПРОКОПЕ (1868-1927) — поэт, у которого «находит свое выражение игривая веселость и серьезный идейный пафос, который по временам затрагивает общественные вопросы... В его лирике больше сочности и полноты, чем у кого-либо другого из современных шведских писателей Финляндии...» (В.Таркиайнен [176, стр.87]). После выхода сборника [176] стихи Прокопе по-русски не издавались.

Мечтатель
стр.162

Дата перевода: Коктебель. 17/VI-1916, впервые — [176].

ВЕЙККО АНТЕРО КОСКЕННИЕМИ (1885-1962) — поэт, беллетрист, литературовед; с 1921 — ректор университета в Турку; академик. «Его поэзия не кипит жизнью, она любит тихие настроения ночи и одиночества, мысли о вечности, в которых часто можно заметить примесь некоторой книжности...» (В.Таркиайнен [176, стр.85]). Э.Карху отмечает излишне аскетический, религиозно окрашенный «этический ригоризм» Коскенниemi (*Поэзия Финляндии*, М., 1980. 358 с.).

У костра
стр.164

Дата перевода: 8-11/IV-1916, впервые — [176].

ИЗ Р.Л.СТИВЕНСОНА

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН (1850-1894) — английский беллетрист и поэт, автор приключенческих романов и стихов для детей. Оба переведенных Ходасевичем стихотворения появились в оригинале в 1885, в книге Стивенсона *Child's Garden of Verses*. В 1920 эта книга была переведена на русский язык и появилась под названием *Детский цветник стихов* [179]. В нее, кроме переводов Ходасевича, вошли переводы К.Бальмонта, В.Брюсова, Ю.Балтрушайтиса, О.Румера и Я.Мексина. Стихи, переведенные Ходасевичем, были впоследствии переведены Игн.Ивановским (Р.Л.Стивенсон. *Путешествие*. Стихи для детей. Лениздат, 1958. 43 с.).

Луна
стр.165

Переведено не ранее конца февраля 1918, впервые — [179].

Вычитанные страны
стр.165

Переведено не ранее конца февраля 1918, впервые — [179], затем — [180], [182].

4 Но не шумят и не шалят... — В альманахе [180], изданном в 1923, этот стих читается так: «Но не шалят и не шумят...». Это разночтение не могло явиться следствием поправки, внесенной переводчиком: он находился за границей. Мы оставляем версию 1920 года [197], повторенную затем в 1967 [182].

ИЗ ЕВРЕЙСКИХ ПОЭТОВ

стр.167-267

Нами воспроизводится книга В.Ф.Ходасевича *Из еврейских поэтов* [4], впервые напечатанная в 1922, с авторским предисловием и примечаниями (они помещены в конце раздела), дополненная переводом стихотворения *Родина* И.Кацнельсона из *Еврейской Антологии* [22], не вошедшим в [4], а также переводом поэмы *Свадьба Эльки* С.Черниховского из журнала *Беседа*, №4-5 за 1924, издававшегося Горьким и Ходасевичем [181]. Еврейские переводы Ходасевича были встречены современниками с большим вниманием и интересом. Знаток поэзии на иврите Д.Выгодский писал (1922): «...надо отдать справедливость переводчику: он со своей задачей справился блестяще. Совершенные с точки зрения русского читателя, его стихи являют и почти идеальное приближение к еврейскому подлиннику, и если рассматривать каждое стихотворение отдельно, то, так сказать, органический дефект переводов (перевод с подстрочника) оказывается очень удачно замаскированным. — Другое дело, если посмотреть на книгу в целом. Тут сразу бросается в глаза случайность ее состава. /.../ Ходасевич, превосходно справившийся со своей задачей, к сожалению, должен был ее сузить... Книга его, выполненная с исключительным мастерством, знакомит русского читателя с некоторыми образцами уже отчасти известной ему поэзии, но... быть путеводителем по ней она не может...» [291]. Другой критик, Д.Лутохин, отмечает (1922): «В еврейских мелодиях, переложенных на русский язык Ходасевичем, читателя пленяет какая-то особая значительность, "национальный пафос"... "Инструментовка" стиха прекрасна, язык благороден и красочен... для русского читателя сборник чрезвычайно любопытен, как хотя бы отчасти раскрывающий своеобразие лирики великого племени, сохранившего свое лицо, несмотря на гонение, несмотря на развившуюся способность к ассимиляции и мимикрии...» [301]. — Как ясно из вводной статьи *От переводчика*, Ходасевич намеревался «предпослать каждому автору небольшие сообщения био-библиографического характера». Помня об этом намерении и о повышенном интересе Ходасевича к еврейской поэзии, мы постарались дать обстоятельные справки о переведенных им поэтах. Выходцы из тогдашней России, еврейские поэты В.Ф.Ходасевича основательно забыты своей фактической родиной, не признающей двойного гражданства; сведения о них пришлось собирать по крупицам.

ХАИМ НАХМАН БЯЛИК (1873-1934) — поэт, беллетрист, публицист и общественный деятель, крупнейший представитель литературы на иврите, «национальный поэт в полном и высшем смысле этого слова», по определению Владимира Жаботинского (Х.Н.Бялик. Песни и поэмы. Пер. Вл.Жаботинского. 3-е доп. изд. СПб., 1914, стр.19). М.Горький писал о нем (1916): «Как все русские, я плохо знаю литературу евреев, но поскольку я знаю ее, мне кажется, что народ Израиля еще не имел, — по крайней мере на протяжении XIX века, — не создавал поэта такой мощности и красоты... » (По изд.: Х.И.Бялик. Стихи и поэмы. Тель-Авив, «Двир», 1964, стр.XIII). И далее: «Сквозь вихрь гнева, скорби и тоски пробивается ярким лучом любовь поэта к жизни, к земле и его крепкая вера в духовные силы еврейства... Эта вера Бялика не вызывает сомнения у меня — народ Израиля — крепкий духом народ, — вот он дал миру еще одного великого поэта...» (там же, стр. XV), Х.Н.Бялик родился на Волыни, образование получил в ешиботе, высшей школе талмудических наук. Стихи на иврите начал писать в юности, первая стихотворная публикация относится к 1891. Около четырех лет прожил в Польше, где в 1902 выпустил первый сборник своих стихов. По завершении образования долгие годы преподавал в Одессе. Был избран выборщиком в Государственную Думу 3-го созыва. Выступал с докладами по еврейской культуре, явился организатором ряда издательств в России и Палестине. В качестве делегата участвовал в сионистских конгрессах. В 1922, по особому разрешению В.И.Ленина, испрошенному ходатайством М.Горького, был выпущен из России с группой еврейских писателей, выехал в Берлин, где прожил четыре года, а затем поселился в Палестине. Участвовал во всех крупных культурных начинаниях возрождавшегося Израиля — от Иерусалимского университета до Художественного музея в Тель-Авиве. Умер в Вене, после тяжелой операции. День его смерти, 21 тамуза (17 июня) стал в Палестине днем национального траура. По-русски стихи Бялика выходили отдельными изданиями дважды: в 1910-1918 (СПб, пер. Вл.Жаботинского) и в 1964 (Тель-Авив, «Двир»). В 1922 Д.Выгодский писал, что Бялик «известен уже русскому читателю, но известен в переводах много худших, чем мог бы дать Ходасевич...» [291].

Предводителю хора
стр.169

Впервые — [4]. Переведено не ранее 27/14 февраля 1918 и не позднее 11 августа 1921. По свидетельству Д.Выгодского (1922), «...одно стихотворение Бялика, в котором, кстати сказать, пропущена целая строфа, не дает представления о поэте...»

1 Мупим и Хупим... — Внуки партиарха Иакова, сыновья родоначальника одного из колен Израилевых, Вениамина (Быт.46, 21).

2 Миллай и Гиллай... — «Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия... И из сыновей священнических с трубами: Захария... И братья его: ...Мил'лай, Гил'лай... с музыкальными орудиями Давида, человека Божия...» (Неем. 12, 31-36).

ДАВИД (Саулович) ФРИШМАН (1864-1922) — критик, поэт, беллетрист, журналист, переводчик. Еврейская энциклопедия (т.15, стр.454) говорит о «превосходной, чеканной форме» его стихов, которая «еще более отчетливо выделяет тончайшие оттенки прихотливой скептической мысли поэта», называет его одним из лучших стилистов еврейской литературы тех дней. Родился в г.Сгиржезгеже близ Лодзи; слушал лекции по философии, филологии и истории веры в Бреслау (теперь Вроцлав). Печататься начал с тринадцати лет. Писал не только на иврите, но и на идиш. Был ближайшим участником первой ежедневной еврейской газеты *Hajot (День)*, выходившей в Петербурге с 1882, где публиковал рассказы, эссе, фельетоны. В 1913, к пятидесятилетию писателя, было издано собрание его сочинений в 16 томах. Перед Первой мировой войной жил в Одессе, затем в 1918 переехал в Москву, где возглавил только что возникшее издательство И.Штыбеля, ставившее своей целью дать переводы на иврит всех классиков мировой литературы. Одновременно для Штыбеля и «Всемирной Литературы» он переводил в эти годы Пушкина, Ибсена, Ницше, Гете (*Фауст* вышел у Штыбеля до 1921). В 1922 вместе с возглавлявшимся им издательством, выехал из России. Умер в Берлине. Отдельными книгами по-русски не издавался.

Ночью
стр.172

Дата перевода: 24/XI-1917, впервые — [22], затем [4].

Для Мессии
стр.172

Дата перевода: 14-18/XI-1917, впервые — [22], затем [4].

САУЛ (Гутманович) ЧЕРНИХОВСКИЙ (1873-1943) — поэт, переводчик, публицист, один из основоположников современной поэзии на иврите. Еврейская энциклопедия (т.15, стр.858) характеризует его музу как «светлую и радостную», «принесшую в еврейскую литературу свежий аромат южных степей и лугов, радостный здоровый смех и опьяняющее чувство избытка непочатых сил и сладости бытия». Он «много способствовал обогащению еврейского стиха разнообразием ритма и форм и с успехом разрешил труднейшие задачи еврейской метрики (гекзаметр, пентаметр и т.д.)...» (там же). С.Черниковский родился в Таврической губернии, занимался в коммерческом училище в Одессе, затем в Гейдельбергском и Лозаннском университетах. В 1906 стал доктором медицины. С 1907 работал земским врачом на юге России, в Харьковской и Таврической губерниях. В годы Первой мировой войны служил врачом в русской армии, затем переселился в Петербург, где сблизился с революционными кругами и, по некоторым свидетельствам, принимал участие в русской революции. Дебютировал как поэт в 1892, первый сборник стихов выпустил в 1899, второй — в 1901. Внес большой вклад в развитие языка вообще, посвятив специальную работу вопросам номенклатуры флоры и фауны на иврите. Перевел: Анакреона и обе эпопеи Гомера (издательство И.Штыбеля, до 1921); Мольера, Гете, *Калевалу*, *Песнь о Гайавате*. В 1922, выехав из Петербурга в Берлин, навсегда покинул Россию. С 1931 окончательно поселился в Палестине. В последние годы жизни поэмами *Мученики Дортмунда* и *Баллады Вормса* откликнулся на начало массовых уничтожений евреев. В.Ф.Ходасевич, по существу, открыл Черниковского русскому читателю. Переводы из Черниковского

по объему составляют 2/3 книги [4]: 1188 стихов из общего числа в 1811. Последовательность примечаний переводчика в [4] показывает, что при издании книги *Из еврейских поэтов* был нарушен принятый им порядок расположения пьес: мы восстанавливаем его, меняя местами поэмы *Завет Авраама* и *В знойный день*. Никто из иноязычных поэтов не повлиял на Ходасевича больше Черниховского: он сохраняет к нему интерес и подолжает переводить его даже в эмиграции. Последний из известных нам переводов, *Свадьба Эльки*, был опубликован в 1924, в №№4 и 5 журнала *Беседа*; (мы помещаем его непосредственно за переводами из Черниховского в [4], включив примечания Ходасевича в корпус его примечаний к [4] — Ред.). Саул Черниховский сам искал сотрудничества с Ходасевичем. В ЦГАЛИ хранится автограф его письма, помеченного датой: Берлин, 16/VI-23, в котором он посылает Ходасевичу на перевод два стихотворения и просит выслать уже готовый перевод — для иллюстрации его Л.О.Пастернаком. По всей видимости, поэты были хорошо знакомы.

В знойный день стр.177

Дата оригинала: 1905, дата перевода: сентябрь-октябрь 1917, впервые — [22], затем [4]. Д.Выгодский [291] замечает об этой и двух последующих поэмах: «...иронические гексаметры его бытовых идиллий, едва ли не лучшее достижение его...».

13 ...и прячутся; их и не сыщешь... — Стих исправлен нами по [22]. В [4]: «...и прячутся; их не сыщешь».

14 ...осколки разбрызганных светов... — В [22]: «...осколки лучей раздробленных...».

20 Зернами ржи усатой... — В [22]: «Зернами ржи золотой...».

22 ...со светами встретились светы... — В [22]: «...и с искрами встретились искры...».

39 ...Иохим... — В [22], в ст.39 и далее: Юхым.

92 ...Иохим капканчик поставил на землю... — В [22]: «...Юхым мышеловку поставил на землю...».

102 Велвелэ... — В [22] всюду: Велвеле.

Завет Авраама
стр.185

Впервые — [177], затем — [4]. В собственноручном перечне стихотворных переводов Ходасевича, хранящемся в ЦГАЛИ, датирована лишь вторая часть поэмы, *Обрезание*: М. 26/X — 9/XI.1916. В целом перевод закончен не ранее 27/14 февраля 1918, вероятнее всего — вскоре после этой даты. — З.Шаховская вспоминает: «Как-то, остановившись в Пен-Клубе в Париже, встретила я там Саула Черниковского и прочла ему переводы Ходасевича (он, может быть, их и знал, но забыл) еврейских поэтов, сделанные по подстрочникам, между 1915 и 1918 годами. Черниковский, прослушав свою поэму "Завет Авраама", вскричал: "Это же совсем замечательно!"...» [114].

Вареники
стр.199

Впервые — [178], затем — [4]. Перевод выполнен не ранее 27/14 февраля 1918, но во всяком случае в 1918.

Песнь Астарте и Белу
стр.207

Дата оригинала: 1909, дата перевода: 20/X — 10/XI-1917. Впервые — [22], затем — [4].

Смерть Тамуза
стр.209

Дата оригинала: 1910, дата перевода: 4-7/X.1917. Впервые — [22], затем — [4].

Лесные чары
стр.211

Дата оригинала: 1910, дата перевода: 1918, I. Впервые — [22], затем — [4].

16 ...не видит глаз ничей... — В [22]: «...не видит взор ничей;».

20 ...ласточки жилище... — В [22]: «...белочки жилище...».

Свадьба Эльки
стр.214

Впервые — [181].

ЯКОВ ФИХМАН (1881-1958) — поэт, беллетрист, журналист, критик. Родился в Бессарабии. Четырнадцать лет оставил дом и пришел в Одессу. Стихи начал печатать в 1901. В 1911 выпустил свою первую книгу стихов. Преподавал в Учительском институте в Одессе и на еврейских курсах в Варшаве. С 1912 живет в Палестине, где занимается преподавательской и редакторской работой. (Из некоторых источников можно заключить, что он возвращался в Одессу в 1914, но затем вновь уехал в Палестину.) Среди многочисленных книг поэта — сборник стихов для детей, детская хрестоматия, хрестоматия лирики на идиш. Последний сборник оригинальных стихотворений выпустил в 1951. Принимал активное участие в литературной и общественной жизни Палестины, а затем Израиля, участвовал в создании Израильского комитета борьбы за мир. По-русски отдельными книгами не издавался.

«Хожу я к тебе ежедневно...»
стр.244

Дата оригинала: 1908, дата перевода: 6/X.917, впервые — [22], затем — [4].

Моя страна
стр.244

Дата перевода: 1918, II, 23/13 (?). Впервые — [22], затем — [4], где в оглавлении переводчиком назван Вл.Ходасевич, а в основном тексте (стр.117) под переводом стоит подпись: Ф.Маслов — это

псевдоним Ходасевича, известный и по другим изданиям. — Перевод этот — последний по времени (сорок третий по счету) из упомянутых в собственноручном перечне стихотворных переводов Ходасевича, хранящемся в ЦГАЛИ.

ЗАЛМАН (Исаакович) ШНЕУР (1889-1959) — поэт, беллетрист, журналист; «другой <после Бялика и Черниковского> столп современной еврейской поэзии», по определению Д.Выгодского [291]. Краткая литературная энциклопедия сообщает: «Его стихи проникнуты нац. самосознанием и в то же время пафосом общечеловеческой свободы; они богаты красочными пейзажами и многообразием форм...» (т.8, стр.752). Происходил из хасидов. В юности покинул дом и пришел в Одессу, где в его судьбе принял большое участие Бялик. Много странствовал, жил в Вильно, затем в Берне; в Париже получил философское образование. Писать начал в 1900; в 1906 выпустил первый сборник стихов, принесший ему известность. С 1913 жил в Берлине, принимал участие в газете *Ha Dor*, выходившей под редакцией Д.Фришмана. В 1914 выпустил в издательстве «Мория» собрание своих стихов под названием *Песни и поэмы*. Писал также стихи для детей, повести, рассказы и романы (на идиш). Современникам запомнились два его очерка октябрьских погромов в России (1905). Накануне Второй мировой войны уехал в США, затем неоднократно посещал Палестину и в 1951 поселился в Израиле (Рамат Ган). Умер в Нью-Йорке. По-русски отдельными книгами не издавался.

Под звуки мандолины
стр.246

Дата перевода: 1918, II. Впервые — [22], под псевдонимом Ф.Маслов, затем — [4]. — Д.Выгодский (1922) замечает: «Отрывки из его поэмы "Под звуки мандолины"... не дают представления о композиционном задании автора. К тому же эта поэма не является ни лучшей, ни характернейшей для автора...» [291].

¹¹ ...Симона бар-Жиоры... — В [22]: «...Симона бар-Гиоры...».

⁴³ Но в семьдесят раз дух мой отомстил... — Стих исправлен нами по [22], исходя из семантики фрагмента. В [4]: «В семьдесят раз мой дух не отомстил.».

59 Как тонкий аромат этрога... — Этрог — цитрусовый, похожий на лимон, плод с коричневой шишечкой, один из традиционных символов осеннего праздника Суккот (Куши).

115 ...рабы своих воспоминаний... — В [22]: «...рабы воспоминаний».

225 Презренье господина, что своим же... — В [22] усилительная частица же на конце стиха отсутствует.

257 К желтеющим волнам пустынного песка... — Исправлено по [22]. В [4]: «К желтеющим пескам пустынного песка...».

В [22] имеются также незначительные разночтения в пунктуации.

ДАВИД (Нисонович) ШИМАНОВИЧ (1886-1956) — поэт, беллетрист, переводчик. «Основные мотивы его творчества — чувство одиночества, стремление уйти от сутолоки жизни и упиваться величавой красотой застывшей в безмолвии пустыни и вечно мятущейся грозной морской стихии...» (Евр. энциклопедия, т.16, стр.32). Родился в Бобруйске. В 1901 около года прожил в Палестине. Первые стихи опубликовал в 1904. В 1910 окончил Берлинский университет и переехал в Москву. В том же 1910 выпустил первый сборник своих стихов, в 1911 — второй. Перевел на иврит поэмы Пушкина и Лермонтова, сочинения Ибсена и Метерлинка. В 1921 окончательно переселился в Палестину. Имеется восьмитомное собрание его стихов, изданное в Израиле. По-русски отдельно не издавался.

Последний самарянин
стр.255

Дата оригинала: 1906, перевод выполнен в 1918, но не ранее 27/14 февраля. Впервые — [22], затем — [4].

На реке Квор
стр.256

Дата оригинала: 1913: перевод выполнен в 1918, но не ранее 27/14 февраля. Впервые — [22], затем — [4].

2 В Ниссон переходил Адор... — В [22]: «Ниссон переходил в Адор». Та же инверсия и в ст.16.

АВРААМ бен ИЦХАК (1883-1950) (?). Это имя не значится в Еврейской энциклопедии (1913). В издании [22] в 1918 об авторе сказано: «...печатается в журнале Гашилоах и некоторых палестинских изданиях...». Израильская энциклопедия сообщает (1966), что поэт родился в Перемышле (Галиция) и умер в Израиле, и дает приведенные нами даты. У нас, однако, нет полной уверенности, что здесь речь идет об авторе стихотворения *Элул в аллее*: Д.Выгодский (1922) в рецензии на книгу Ходасевича [4] называет А. бен Ицхака «молодым и уже умершим поэтом...» [291].

Элул в аллее
стр.259

Дата перевода: 10/Х.917. Впервые — [22], затем — [4].

ИСААК КАНЦЕЛЬСОН (1886-1944) — поэт и драматург, сын известного поэта Я.Б.Кацнельсона. По свидетельству Еврейской энциклопедии (1913), в его стихах «среди бодрых и жизнерадостных мотивов уже заметны тоскливые ноты...» (т.9, стр.395). Родился в Минской губернии. В 1909 выпустил первый сборник стихов, принесший ему известность. Писал также драмы на идиш. Вторая мировая война застала его в Польше. Был одной из центральных фигур Варшавского гетто. Погиб в Освенциме. В Израиле выпущена марка с его портретом. По-русски отдельно не издавался.

Родина
стр.260

Дата перевода: 1918, I. Впервые — [22], где, как и перевод из З.Шнеура, это стихотворение подписано псевдонимом Ф.Маслов. Перевод не вошел в [4] по причинам, вероятно, чисто техническим: сборник готовился в деревне (см. статью *От переводчика*, стр.177-178). Его принадлежность Ходасевичу не вызывает сомнений: он упомянут и датирован в собственноручном перечне стихотворных переводов Хо-

дасевича (ЦГАЛИ); подписан одним из известных (например, по *Северному Вестнику*) псевдонимов поэта, который, кроме того, раскрывается в этом же сборнике [22]; наконец, выполнен в манере, вполне для него характерной.

ЛИТЕРАТУРА

Сочинения и публикации В.Ф.Ходасевича

Стихотворные публикации: в периодике и сборниках

117. /Стихи/. — *Перевал*, 1907, №4, с.37-38.
118. Зарница. — *В мире искусств*, Киев, 1907, №9-10, с.8.
119. /Стихи/. — *Перевал*, 1907, №11, с.45.
120. Passivum. — *Руль*, 1908, №19, 31 янв., с.3.
121. Воспоминание. — *Руль*, 1908, №21, 2 февр., с.2.
122. Звезда. — *Руль*, 1908, №30, 14 февр., с.2.
123. /Стихи/. — *Руль*, 1908, №90, 26 апр., с.3.
124. /Стихи/. — *Руль*, 1908, №128, 25 авг., с.2.
125. Дождь. — *Руль*, 1908, №132, 15 сент., с.2.
126. /Стихи/. — *Чтец-декламатор*. Т.III. Новая поэзия. Изд.2. Киев, 1909. 564 + XII с. (с.342, 417). — Доп. изд.: Изд.III, Киев, 1913. 624 + XIV с. (с.43, 251, 254).
127. Авиатору. — *Утро России*, 1914, №79-80, 6 апр., с.2.
128. /Стихи/. — Общественная работа в глубоком тылу. Отчет о деятельности центрального бюро при Московской городской управе, с июля 1914 г. по апрель 1915 г. М., 1915. 251 с.
129. /Стихи/. — *Арион*. Кн.І. М.-Киев, 1915, с.29.
130. /Стихи/. — *Утро России*, 1916, №43, 10 февр., с.5.
131. /Стихи/. — *Северные Записки*, 1916, №11, с.28-29.
132. /Стихи/. — *Жизнь*, 1918, №2, 24(11) апр., с.3.
133. На Пасхе. — *Жизнь*, 1918, №10, 4 мая (21 апр.), с.4.
134. Встреча. — *Понедельник*, 1918, №12, 20 мая, с.3.
135. /Стихи/. — *Москва*, 1918, №1, с.6.
136. 2-го ноября. — *Возрождение*, 1918, №7, 9 июня (27 мая), с.5.
137. /Стихи/. — *Москва*, 1919, №2, с.6.
138. Газетчик. — *Москва*, 1919, №3, с.9.
139. Вариация. — *Москва*, 1920, №4, с.9.
140. Дом. — *Творчество*, 1920, №5-6 (май-июнь), с.1-2.
141. Лида. — *Петербург*, 1921, №1, декабрь, с.8.
142. Баллада. — *Петербург*, 1922, №2, январь, с.1.
143. Два стихотворения. — *Москва*, 1922, №6, с.14.
144. /Стихи/. — *Россия*, 1922, №3 (октябрь), с.29.

145. /Стихи/. — *Россия*, 1923, №6 (февраль), с.9.
146. Слепой. — *Петроград*, 1923, №2 (15 мая), с.13.
147. /Стихи/. — *Россия*, 1923, №9 (май/июнь), с.4.
148. An Mariechen. — *Беседа*, 1923, №3. NDV.
149. /Стихи/. — *Россия*, 1924, №1(10) (февраль), с.80-81.
150. Романс. — *Россия*, 1924, №2(11) (март), с.147.
151. /Стихи/. — *Русский Современник*, 1924, №4, с.39-42.
152. Романс. — *Последние Новости*, Париж, 1924, №1231. NDV.
153. Хранилище. — *Ленинград*, 1924, №22(37) (1 дек.), с.5.
154. /Стихи/. — *Россия*, 1925, №4(13) (январь), с.203.
155. Песня турка. — *Ленинград*, 1925, №7(46) (7 марта), с.6.
156. /Стихи/. — *Беседа*, 1925, №6-7. NDV.
157. /Стихи/. — Антология русской поэзии XX века. Сост. И.Ежов и Е.Шамурин. М., «Новая Москва», 1925, с.255-262. (588).
158. /Стихи/. — *Современные Записки*, 1928, XXXIV. NDV.
159. Дактили. — *Современные Записки*, 1928, XXXV. NDV.
160. /Стихи/. — *Современные Записки*, 1928, XXXVII. NDV.
161. /Стихи/. — *Современные записки*, 1932, L. NDV.
162. /Стихи/. — *Современные записки*, 1939, LXIX. NDV.
163. /Стихи/. — *Литературная газета*, 1967, №12, 22 марта, с.7.
164. /Стихи/. — *Cherez*, 1977, №1 (Spring), с.57.
165. /Стихи/. — Русская поэзия советской эпохи. Сборник художественных текстов. Под ред. М.Варга. Будапешт, 1979, 952 с. (с.115-125).
166. /Стихи/. — Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма. Под редакцией, с предисловием и примечаниями Юрия Иваска и Х.В.Тьялсмы. Wilhelm Fink Verlag, Мюнхен, 1972.

Стихотворные переводы в периодике и сборниках

167. (Из С.Красинского). — *Северные Записки*, 1913, №8, с.5.
168. (Из Э.Слонского). — *Утро России*, 1914, №248, 12 окт., с.1.
169. (Из Э.Слонского). — *Русская Иллюстрация*, 1915, №2 (15 февр.), с.1.
170. (Из Э.Слонского). — *В эти дни*. Литературно-художественный альманах. М., 1915. 192 с.
171. (Из Э.Слонского). — *Мы помним Польшу*. Литературно-художественный сборник. Пг., 1915. 192 с. (с.7-9).

172. (Из О.Туманиана). — *Утро России*, 1916, №101, 10 апр., с.4.
173. (Из армянских поэтов). — *Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней*. Под ред. В.Брюсова. М., Московский армянский комитет, 1916, 524 с. — То же: факсимильные переиздания: 1966 и 1973.
174. (Из армянских поэтов). — *Сборник Армянской литературы*. Под ред. М.Горького. Пг., «Парус» А.Н.Тихонова, 1916. CIV + 316 с.
175. (Из латышских поэтов). — *Сборник Латышской литературы*. Под ред. В.Брюсова и М.Горького. Пг., «Парус» А.Н.Тихонова, 1917. 396 с.
176. (Из финских поэтов). — *Сборник Финляндской литературы*. Под ред. В.Брюсова и М.Горького. Пг., «Парус» А.Н.Тихонова, 1917. 490 с.
177. (Из С.Черниховского). — *Сборники «Сафрут»*. Кн.І. Под ред. Л.Б.Яффе. М., 1918. NDV.
178. (Из С.Черниховского). — *Сборники «Сафрут»*. Кн.ІІІ. Под ред. Л.Б.Яффе. М., 1918. 190 с. (с.76-82).
179. (Из Р.Л.Стивенсона). — Р.Л.Стивенсон. *Детский цветник стихов*. М., ГИЗ, 1920. 28 с.
180. (Из Р.Л.Стивенсона). — *Крылья*. Детский альманах. Кн.І. Под ред. А.Насимович. М.-Пг., ГИЗ, 1923. 143 с. (с.127-128).
181. (Из С.Черниховского). — *Беседа*, 1924, №4 и 5. NDV.
182. (Из Р.Л.Стивенсона). — Р.Л.Стивенсон. *Собрание сочинений*. Т.5. М., 1967, с.497. — То же: переиздание 1981.
183. (Из А.Мицкевича). — С.К.Бэлза. *К истории русских переводов Мицкевича*. — *Советское славяноведение*, 1970, №6, с.67-73.
184. (Из А.Мицкевича). — А.Мицкевич. *Сонеты*. Л., 1976, с.214-215.

Книги: прозаические переводы и редакторские публикации

185. К.Тетмайер. Орлицы. Татрские рассказы. Пер. с польского Вл.Ходасевича. М., «Польза», В.Антик и К°, [1910]. 78 с.
186. К.Тетмайер. Марина из Грубого. Татрская повесть. Пер. с польского Вл.Ходасевича. М., «Польза», В.Антик и К°, [1910]. 248 с.
187. М.Гавалевич и П.Стахович. Польские народные легенды о Богородице. Пер. с польского Вл.Ходасевича. М., 1911. 134 с.

188. В.Реймонт. Мужики. Современная повесть. (I. Осень, II. Зима, III. Весна, IV. Лето). Пер. с польского Вл.Ходасевича. М., «Польза», В.Антик и К°, 1910-1912.
189. И.Ф.Богданович. Душенька. С предисловием автора и вступительной заметкой Вл.Ходасевича. М., «Польза» В.Антик и К°, [1912]. 100 с.
190. К.Тетмайер. Яносик Нендза Литмановский. Татрская повесть. (Окончание «Марины из Грубого»). Пер. с польского Вл.Ходасевича. М., «Польза», В.Антик и К°, 1912. 296 с.
191. Г.де Мопассан. Семья. Рассказы. Пер. с французского Вл.Ходасевича. М., «Польза», В.Антик и К°, 1913. 104 с.
192. К.Макушинский. Мефистофель. Рассказы. Пер. с польского Вл.Ходасевича. М., «Польза», В.Антик и К°, 1913. 94 с.
193. Г.Сенкевич. Семья Полонезских. Роман. Пер. с польского Вл.Ходасевича. М., 1914. NDV.
194. В.П.Титов. Уединенный домик на Васильевском. Повесть. Вступ. статья Вл.Ходасевича. М., Акц. Об-во «Универсальная библиотека», 1915. 74 с.
195. Ст.Пшибышевский. Дети века. Авторизованный перевод с рукописи Вл.Ходасевича. М., «Универсальная библиотека», [1915]. NDV.
196. К.Тиллье. Дядя мой, Венянин. Роман. Пер. с французского Вл.Ходасевича. М., «Северные дни», 1917. 212 с.
197. В.Гофман. Собрание сочинений. Вступ. статья Вл.Ходасевича. М., Изд. В.В.Пашуканиса, 1917. Т. I.
198. Гр.Е.Ростопчина. Избранные стихотворения. Ред. и вступит. статья Вл.Ходасевича. М., 1918.
199. П.Меримэ. Театр Клары Газуль, испанской комедиантки. Пер. Вл.Ходасевича. Под ред. В.А.Азова. Пб.-М., «Всемирная Литература», 1923. 253 с.
200. К.Тетмайер. Избранная проза. Пер. В.Ходасевича, М., ГИХЛ, 1956.
201. К.Тетмайер. Легенда Татр. Пер. В.Ходасевича, М., ГИХЛ, 1960.

Проза оригинальная и переводная в периодике

202. В.Ходасевич. Слова (Из цикла «Смерть».) — *Руль*, 1908, №116, 2 июня, с.2.
203. В.Ходасевич. Иоганн Вейсс и его подруга. (Сентиментальная сказка). — *Утро России*, 1911, №286, 13 дек., с.2.

204. В.Ходасевич. Поэт. (Сентиментальные сказки.) — *Утро России*, 1912, №71, 25 марта, с.4-5.
205. В.Ходасевич. Победа рыцаря Бальдуина. — *Утро России*, 1912, №196, 25 авг., с.2.
206. В.Реймонт. Ave, patria, morituri te salutant. Пер. с польского Вл.Ходасевича. — *Новая Жизнь*, 1915, №4 (апрель), с.76-78.
207. А.Мицкевич. Живилия. Рассказ из истории Литвы. Пер. Вл.Ходасевича. — *Утро России*, 1916, №27, 27 января, с.4.
208. А.Мицкевич. Карилла. Литовская повесть. Пер. Вл.Ходасевича. — *Утро России*, 1916, №55, среда 24 февр., с.4-5.
209. П.Мериме. Федериго. Рассказ. — *Утро России*, 1916, №101, 10 апреля, с.4-5.
210. П.Мериме. Жемчужина Толедо. (Подражание испанскому). Пер. Вл.Ходасевича. — *Утро России*, 1916, №162, 11 июня, с.5.

Статьи и рецензии

211. М.Метерлинк. Чудо Святого Антония. Пер. Э.Маттерна и В.Бинштока. Изд. журнала «Правда». М., 1905. — *Искусство*, 1905, №3, с.74-75.
212. К.Д.Бальмонт. Литургия красоты. Стихийные гимны. К-во «Гриф». М., 1905. 234 стр. — *Искусство*, 1905, №5, 6, 7; с.164-165.
213. Осип Дымов. Солнцеворот. Издание Содружества. СПб., 1905. Стр.170. — *Искусство*, 1905, №5, 6, 7; с.169.
214. Тан. Стихотворения. 2-ое дополненное издание. СПб., 1905. — *Искусство*, 1905, №5, 6, 7; с.169-170. (Подписано: Сигурд).
215. Нижегородский сборник. Т-во «Знание». СПб., 1905. 350 стр. — *Искусство*, 1905, №5, 6, 7; с.171-172.
216. Арнольд Ариэль. Мрак. Драматическая греза. М., 1905, — *Искусство*, 1905, №8, с.78-79.
217. А.В.Переводчиков. Стихотворения. Саратов, 1905. — А.Райский. Новые звуки. Стихотворения. Батум, 1905. — *Искусство*, 1905, №8, с.81. (подписано: Сигурд).
218. И.Ф.Анненский. «Книга отражений». СПб., 1906. — 30-

- лотое Руно, 1906, III, с.137-138. (Подписано: Сигурд).
219. VIII сборник т-ва «Знание». СПб., 1906. — IX сборник т-ва «Знание». СПб., 1906. — *Золотое Руно*, 1906. (Подписано: Сигурд).
 220. X сборник т-ва «Знание». СПб., 1906. — XI сборник т-ва «Знание». СПб., 1906. — *Перевал*, 1906, №1, с.50-52.
 221. А.Федоров. Сонеты. Изд. «Шиповник», 1907, — *Перевал*, 1907, №3, с.54-55.
 222. Вацлав Берент. «Гнилушки». Пер. В.Высоцкого. Обложка А.Кандинского. Изд. В.М.Саблина. М., 1907. — *Перевал*, 1907, №8-9, с.99. (Подписано: Сигурд).
 223. Девы в платьях. — *Руль*, 1908, №16, 27 янв., с.2.
 224. Юрий Верховский. Идиллии и Элегии. Изд. «Оры». С.-Пб., 1910. — *Утро России*, 1911, №34, 12 февр. с.6.
 225. А.Тиняков (Одинокый). *Navis Nigra*. Стихи. К-во «Гриф», 1912. — *Утро России*, 1912, №271, 24 ноября, с.6.
 226. Новые стихи. (В.Шершеневич, М.Шагинян, С.Соловьев, И.Северянин). — *Голос Москвы*, 1913, №55, 7(20) марта, с.1. (Подписано: В.Х-чъ).
 227. И.Северянин. Громокипящий кубок. Поэзы. Пред. Ф.Сологуба. К-во «Гриф». М., 1913. — *Утро России*, 1913, №63, 16 марта, с.6.
 228. Новые стихи. Поэты «Альционы». — *Голос Москвы*, 1913, №127, 4 июня. (Подписано: В.Х-чъ).
 229. «Juvenilia» Брюсова. — *София*, 1914, №2 (февраль), с.64-67.
 230. Борис Садовской. «Самовар». Стихи. Кн-во «Альциона». М., 1914. — *Новь*, 1914, №52, 15 марта, с.6.
 231. Анна Ахматова. Четки. Стихи. Из-во «Гиперборей». СПб., 1914. — *Новь*, 1914, №69, 5 апреля, с.5.
 232. Поэту или читателю? (Н.И.Шульговский. Теория и практика поэтического творчества. Технические начала стихосложения. Изд. Т-ва М.О.Вольф. СПб., 1914.) — *София*, 1914, №4 (апрель), с.87-89.
 233. Игорь Северянин и футуризм. — *Русские Ведомости*, 1914, №98, 29 апреля, с.3; №100, 1 мая, с.2.
 234. Избранные стихи русских поэтов. Серия сборников по периодам. — *Русские Ведомости*, 1914, №110, 14 мая, с.6.
 235. София Нечаева. Нежность. Стихи. М., 1914. — *Русские Ведомости*, 1914, №115, 21 мая, с.6-7.
 236. К.Бальмонт. Белый Зодчий. Таинство четырех светильников. Стихи. Из-во «Сирин». СПб., 1914. — *Русские Ведомости*, 1914, №121, 28 мая, с.5.

237. М.Сандомирский. Марина Мнишек. Стихи. К-во «Жатва». М., 1914. — Б.Кушнер. Семафоры. Стихи. М., 1914. — *Русские Ведомости*, 1914, №127, 4 июня, с.5.
238. Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вяч.Иванова со вступительным очерком его же. Изд. М. и С.Сабашниковых. М., 1914. — *Русские Ведомости*, 1914, №145, 25 июня, с.5.
239. Первый шаг Пушкина. (1814 — 4-го июля — 1914). — *Русские Ведомости*, 1914, №153, 4 июля, с.1.
240. Ф.Сологуб. Очарования земли. Стихи. 1913. (Собрание соч., том XVIII). Изд. «Сирин». СПб., 1914. — *Русские Ведомости*, 1914, №284, 10 дек., с.6.
241. Французские лирики XVIII в. Сборник переводов, составленный И.М.Брюсовой. Под ред. и с предисл. В.Брюсова. М., 1914. — *Русские Ведомости*, 1914, №290, 17 дек., с.6. (Подписано: В.Х-чъ).
242. Ю.Юркун. Шведские перчатки. Роман в 3 частях. С пред. М.Кузмина. П., 1914. — *Северные Записки*, 1914, декабрь, с.177-178.
243. Е.Гуро. Небесные верблюжата. М., 1914. — *Русские Ведомости*, 1915, №10, 14 янв., с.6.
244. Эллис. Арго. Две книги стихов и поэма. Изд-во «Муссагет». М., 1914. — Б.Садовской. Самовар. Изд. «Альциона». М., 1914. — Он же. Косые лучи. Пять поэм. Изд. В.Португалова. М., 1914. — *Русские Ведомости*, 1915, №16, 21 янв., с.6.
245. А.Журин. Радостный круг. Вторая книга стихов. Изд-во «Новая Жизнь». М., 1915. — Н.Бернер. Одиннадцать. К-во «Жатва». М., 1915. — *Русские Ведомости*, 1915, №57, 11 марта, с.6.
246. Петербургские повести Пушкина. — *Аполлон*, 1915, №3.
247. Pietro Sessa. Пушкин. Избранные стихотворения в итальянском переводе. М., 1915. — *Русские Ведомости*, 1915, №114, 20 мая, с.5.
248. А.С.Пушкин. Песнь о Вещем Олеге. Копия рукописи поэта, с объяснениями И.К.Линдемана. М., 1915. — *Русские Ведомости*, 1915, №120, 27 мая, с.5.
249. Обманутые надежды. (О стихах И.Северянина). — *Русские Ведомости*, 1915, №213, 18 сент., с.5.
250. О новых стихах. I. (О.Мандельштам... Б.Садовской... В.Шершеневич...). — *Утро России*, 1916, №30, 30 января, с.5.

251. «Работница» С.Найденова. (Малый театр). — *Утро России*, 1916, №36, 5 февр., с.5.
252. «Проклятый принц» А.Ремизова. (Театр им.В.Ф.Комиссаржевской). — *Утро России*, 1916, №41, 10 февр., с.5.
253. Книга о Фете. /В.С.Федина. «А.А.Фет (Шеншин). Материалы к характеристике». Птр. 1915. Стр.146./ — *Утро России*, 1916, №51, 20 февр., с.5.
254. Сербский эпос. Пер. Н.М.Гальковского. М., 1916. Изд. М. и С.Сабашниковых. Стр.ХХIV+377. — *Утро России*, 1916, №58, 27 февр., с.5.
255. «Шарманка Сатаны» Тэффи. (Малый театр). — *Утро России*, 1916, №63, 3 марта, с.5. (Подписано: Сигурд).
256. О новых стихах. II. (К.Большаков... Г.Адамович... К.Липскеров... Н.Рыковский...). — *Утро России*, 1916, №65, 5 марта, с.7.
257. «Фантазий» Ю.Словацкого. (Польский театр). — *Утро России*, 1916, №83, 23 марта, с.6.
258. В.С.Федина. А.А.Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Птр. 1915. Стр.146. — *Известия Литературно-Художественного Кружка*. Вып. XIII (март 1916), с.52.
259. О новых стихах. III. (К.Бальмонт... Г.Иванов... П.Н.Петровский... Н.Ашукин...). — *Утро России*, 1916, №127, 7 мая, с.5.
260. О новых стихах. IV. (В.Брюсов...). — *Утро России*, 1916, №141, 21 мая, с.5.
261. Ж. де Безье. О трех рыцарях и рубахе. Пер. И.Эренбурга. Изд. «Зерна». М., МСМХVI. Стр.7. — *Утро России*, 1916, №155, 4 июня, с.5.
262. В.Брюсов. Избранные стихи. 1897-1915. «Универсальная библиотека», М. — Ф.Сологуб. Земля родная. Выбранные стихи. «Универсальная библиотека», М. — *Утро России*, 1916, №176, 25 июня, с.5.
263. Державин. (К 100-летию со дня смерти). — *Северные Записки*, 1916, октябрь (№10), с.83-90.
264. Графиня Е.Ростопчина. Ее жизнь и лирика. — *Русская Мысль*, XI, отд. II, с.35-53.
265. Поп. (И.С.Тургенев. Поп. Поэма. С предисл. и прим. Н.Л.Бродского. Изд. Л.Э.Бухгейм. М., 1917.) — *Новая Жизнь*, 1917, №23, 14(27) янв., с.5.
266. Безглавый Пушкин. Диалог. — *Народоправство*, 1917, №2, с.10-11. NDV.
267. Стихи на сцене. — *Известия Литературно-Художественного Кружка*. Вып. XVII-XVIII (февраль-сентябрь 1917), с.3-7.

268. Библиографические заметки. /.../ П.Бунаков..., Г.Вяткин... (стихи). — *Русские Ведомости*, 1917, №244, 25 окт. (7 ноября), с.2. (Подписано: Х.).
269. Библиографические заметки. /.../ А.де-Ренье. Комендант. Роман. ... О.Дымов. Рассказы... — *Русские Ведомости*, 1918, №15, 24 янв. (6 февр.), с.2. (Подписано: W.).
270. Библиографические заметки. «Сборник пролетарских писателей». (Подп.: Сигурд.). — И.Эренбург. Молитва о России. Стихи..., Н.Поплавская. Стихи зеленой дамы... (Подп.: W.). — П.Краснов. Печальная радость. Стихи... (Без подп.). — *Русские Ведомости*, 1918, №26, 20 (7) февр., с.2.
271. О «Гаврилиаде» («Гаврилиада». Полный текст. Вст. статья В.Брюсова. К-во «Альциона». М., 1918. Стр.106.) — *Понедельник*, 1918, №9, 16 апр., с.3.
272. Египетские ночи. — *Ипокрена*, 1918, II/III, с.33-40.
273. Плохие стихи. (Дали жизни. Лит. альманах. Рязань. 1918... — Н.Власов-Окский... — Факелы. Лит.-худ.альм. Тверь... — О.Леонидов...). — *Понедельник*, 1918, №14, 3 июня, с.4. (Подписано: Елена Арбатова).
274. Открываю гения. — *Понедельник*, 1918, №16, 17 июля, с.3. (Подписано: Елена Арбатова).
275. Стихотворная техника Герасимова. — *Горн*, 1919, II-III, с.56-57. <Статья произвольным образом сокращена редакцией>.
276. А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений. /.../ Под ред. ... В.Брюсова. Том первый, ч.1. Лирика. ГИЗ. М., 1920. Стр. XLVI+428. — *Творчество*, 1920, №2-4 (февраль-апрель), с.36-37.
277. Поэтическое хозяйство Пушкина. — *Беседа*, 1923, №2 и 3. NDV.
278. Амур и Гименей. — *Русский Современник*, 1924, №2, с.216-228.
279. Аблеуховы-Летаевы-Коробкины. — *Современные Записки*, 1927, XXXI. NDV.

Библиография

280. Б. Г. «Корабли». Сборник стихов и прозы. М. 1907. — *Певал*, 1907, №5, с.52-53.
281. А. Т и м о ф е е в. Литературные портреты. II. В.Ходасевич. — *Руль*, 1908, №87, 23 апр., с.2.
282. С. К р е ч е т о в. Среди книг. (Критические заметки). — *Утро России*, 1914, №44, 22 февр., с.2.
283. Н. Г и л я р о в с к а я. «Счастливый домик». — *Голос Москвы*, 1914, №50, 1 марта, с.6.
284. М. Ш а г и н я н. «Счастливый домик». — *Приазовский край*, 1914, №71, 16 марта, с.4.
285. Б. Г р и ф ц о в. Владислав Ходасевич. Русская лирика. Сборник стихов. — *Русская мысль*, 1915, №12, отд. III, с.3. NDV.
286. И. Д ж о н с о н. Новое о Пушкине. — *Утро России*, 1916, №2, 2 янв., с.4.
287. М. Вечер поэтов. — *Утро России*, 1916, №75, 15 марта, с.7.
288. В. Б. /.../ Владислав Ходасевич. Путем зерна. К-во «Творчество». М., 1920. Стр.48. — *Художественное Слово*. Временник литературного отдела Н.К.П. Кн.1. М., 1920, с.57.
289. И. О к с е н о в. Журналы. — *Художественное Слово*. Временник литературного отдела Н.К.П. Кн.2. М., 1920, с.66-67.
290. М. Ш а г и н я н. Вл.Ходасевич. «Путем зерна». Третья книга стихов. II-е доп. изд. Петр., 1921. — *Петербург*, 1922, №2, январь, с.16-17.
291. Д. В ы г о д с к и й. В.Ходасевич. Из еврейских поэтов. Изд. З.И.Гржебина, П.-Берлин, 1922, — *Восток*, 1922, №1, с.115-116.
292. С. Г о р о д е ц к и й. Зелень под плесенью. (Литературный Петербург). — *Известия ВЦИК*, 1922, №42 (1481), 22 февраля, с.3.
293. И. А. О к с е н о в. «Северные дни». II. М., 1922. Стр.160. — *Печать и Революция*, 1922, кн. 2 (5), с.356-357.
294. Э. П. Б и к. «Петербург», двухнед. литерат.-популярно-научн. иллюстрированный журнал. Пгр., №1, дек. 1921. №2, янв. 1922. Стр.46 и 36. Ред. — В.Шклов-

- ский. — *Печать и Революция*, 1922, кн. 2 (5), с.385.
295. А. Г о р н ф е л ь д. Из еврейских поэтов (Владислав Ходасевич). — *Еврейский Вестник*, 1922, №2, с.31, NDV.
 296. А. Г и з е т т и. Владислав Ходасевич. Статьи о русской поэзии, Изд. «Эпоха». П., 1922. Стр.122. — *Литературные Записки*, СПб, 1922, №3, с.18.
 297. Д. Г о р б о в. «Шиповник». Сборники литературы и искусства. «1. М., 1922, изд. «Шиповник». — *Печать и Революция*, 1922, кн. 7, с.307-308.
 298. О. М а н д е л ь ш т а м. Литературная Москва. — *Россия*, 1922, №1 (август), с.28-29.
 299. С. Б о б р о в. Заимствования и влияния. (Попытка методологизации вопроса.) — *Печать и Революция*, 1922, кн. 8, с.72-92 (с.83).
 300. В. П я с т. Поэзия в Петербурге. — *Москва*, 1922, №7, с.14-15.
 301. Д. Л у т о х и н. Владислав Ходасевич. Из еврейских поэтов. — *Утренники*. Кн.1. Под ред. Д.А.Лутохина. Пб., М.С.Кауфман, 1922. 136 с. (с.114).
 302. С. У с т о е в. Влад.Ходасевич. «Тяжелая лира», 4-я книга стихов. Госиздат. М., 1922. — *Правда*, 1922, 21 дек. с.5.
 303. О. М а н д е л ь ш т а м. Буря и натиск. — *Русское искусство*, 1923, №1, с.75-82. — То же в кн.: О.Мандельштам. О поэзии. Сборник статей. Л., Academia, 1938.
 304. Ф. Тяжелая лира. Вл.Ходасевич. 4-я книга стихов. Госизд., 1922 г. — *Зори*. Литературный еженедельник, 1923, №1, с.7.
 305. А. Б е л ы й. Тяжелая Лира и русская лирика. — *Современные Записки*, 1923, XV. NDV.
 306. М. С л о н и м. Литературные отклики. — *Воля России*, Прага, 1923, кн.6-7. NDV.
 307. Г. С т р у в е. Письма о русской поэзии. — *Русская Мысль*, 1923, кн.1-2. NDV.
 308. Б. Т о м а ш е в с к и й. Владислав Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. Кн. 1. Изд. «Мысль», Л., 1924. 156 с. — *Русский Современник*, 1924, №3, с.262-263.
 309. Б. Т о м а ш е в с к и й. [Письмо в редакцию (ответ на письмо В.Ходасевича)]. — *Русский Современник*, 1924, №4, с.282-283.
 310. Э. М и н д л и н. Все в один короб. «Беседа». Журнал литературы и науки, №1-3. Изд. «Эпоха». Берлин, 1923.

- *Зори*. Литературный еженедельник, 1924, №4, с.12-13.
311. П. Я. З а в о л о к и н. Собрание автобиографий. — *Зори*. Литературный еженедельник, 1924, №6, с.9-10.
 312. Б. В. В. Богоискатели за границей. — *Зори*. Литературный еженедельник, 1924, №7, с.16.
 313. С. Р о д о в, А. Г р и г о р ь е в. [По поводу статьи Ходасевича в *Днях*]. — *Октябрь*, 1925, №2, с.166-171.
 314. Ф. В е р м е л ь. Поэзия наших дней. — *Чет и нечет*. Альманах поэзии и критики. Авторское издание. М., 1925, 46 с. (с.32).
 315. Н. А с е е в. На чорта нам стихи? — *Октябрь*, 1927, №1, с.142-154.
 316. В. В е й д л е. Поэзия Ходасевича. — *Современные Записки*, 1928, XXXIV. NDV.
 317. Е. Л у н д б е р г. Записки писателя. 1917-1920. Л., Из-во писателей в Ленинграде, 1930. 306 с. (с.166-167).
 318. К. З е л и н с к и й. Рубаки на Сене. Поэзия белой эмиграции. — *За рубежом*, 1933, №4(6), с.10-11.
 319. А. Б е л ы й. Из книги «Начало века». — *Новый Мир*, 1933, №7-8, с.274.
 320. В. Д е с н и ц к и й. Пушкин и мы. В кн.: — Сочинения А.С.Пушкина. Л., «Художеств. Литература», 1938. LXIV+1015 с. (с.IV).
 321. В. С и р и н. О Ходасевиче. — *Современные Записки*, 1939, LXIX. NDV.
 322. Н. Б е р б е р о в а. Памяти Ходасевича. — *Современные Записки*, 1939, LXIX. NDV.
 323. Н. П а в л о в и ч. Воспоминание об Александре Блоке. Поэма. (XI. Маскарад на Миллионной.) — В кн.: Н.Павлович. Думы и воспоминания. М., «Советский Писатель», 1962. 95 с. (с.35).
 324. Ю. Т е р а п и а н о. Опыт свободы. Из книги «Встречи», часть 2-я. — *Русская Мысль* (Париж), 1965, №2332, 10 июля, с.6-7.
 325. И. Г. Э р е н б у р г. Люди, годы, жизнь. Кн.III. — Собр. соч. В 9т. Т.8. М., 1966, 614 с. (с.410, 412).
 326. Н. А с е е в. Советская поэзия за 6 лет. (1924). — *Вопросы литературы*, 1967, №10, с.179-184 (с.182).
 327. Л. Б о р и с о в. За круглым столом. Воспоминания. Лен-издат, 1971, 160 с. (с.140-143).
 328. М. Ш а г и н я н. Человек и время. Воспоминания, ч.III. Дом Феррари. — *Новый Мир*, 1973, №5, с.160-186

То же: М., «Художеств. Литература», 1980. 716 с (с.249-251).

- 329. А. Ц в е т а е в а. Воспоминания. Изд.2-е, доп. М., «Советский Писатель», 1974. 474 с.
- 330. Н. В. Ф р и д м а н. Из воспоминаний о Багрицком. (Личность и мастерство). I. — *Русская Литература*, 1976, №2, с.151-163 (с.162).
- 331. В. В. И в а н о в. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., *Сов. радио*, 1978. 185 с. (с.126).
- 332. К. А. К у п р и н а. Куприн — мой отец. 2-е доп. и испр. изд., М., «Художеств. Литература», 1979. с.155-156.
- 333. Литературное наследство. Том 92. А.Блок. Новые материалы и исследования, кн.3. М., «Наука», 1982. 856 с. (по указателю).
- 334. И. М и х а й л о в. Поэзия и неожиданность. — *Литературная Учеба*, 1982, №4, с.194-201 (с.197).

От составителя

Поэтическое наследие В.Ф.Ходасевича невелико по объему. Ходасевич писал стихи «с голоса», следуя внутренней интонации, и никогда не унижался до холодного *сочинительства*. Он знал истинную цену вдохновению, поэтому его стихи свободны от модернистской расслабленности и сомнамбулизма. Все это делает для ценителей поэзии драгоценными не только законченные его стихотворения, но и беглые фрагменты, и мы поставили себе целью собрать их со всей мыслимой на сегодняшний день полнотой. Задача эта решена нами не до конца. Вероятно, многие из текстологических (и биографических) проблем в исследовании Ходасевича удовлетворительно решатся не прежде, чем библиотеки и архивы в России вновь сделаются народным достоянием.

Комментарий носит, в основном, биографический и историографический характер. Стихи Ходасевича корнями уходят в его человеческую судьбу и эпоху, поистине беспримерную. Как ни много написано об этой последней, она предстает в новом и неожиданном ракурсе, оказавшись фоном жизни большого поэта — к тому же, в нашем случае, столь мало известной. Знакомство возможно более широкого круга читателей с жизнью и творчеством Ходасевича должно, как нам кажется, способствовать объединению трех изолированных ареалов, на которые сегодня распадается некогда единая русская литература.

Все собранные нами стихи имеют источником печатные тексты — за исключением следующих четырех пьес:

- (1) *Стансы* («Во дни народных потрясений...»)
- (2) «Не люблю стихи, которые...»
- (3) [Отрывок] («Доволен я своей судьбой...»)
- (4) «В последний раз зову тебя: явись...»

Из них первые три взяты из списка ИФ [15], представляющего собой единственную в Самиздате попытку систематизации поэзии Ходасевича, а четвертое сообщено нам ленинградцем Г.Ковалевым без указания источника. На списки опираются также и три фрагмента 1920-1922 гг. Ни одно из стихотворений Собрания нам не удалось сверить с автографом — это дает представление об уровне текстологической работы, а также о характере наших трудностей. Настоящее собрание подготовлено в условиях, почти исключающих возможность планомерного и систематического исследования.

Ю.К.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

К РАЗДЕЛАМ «ПРИЛОЖЕНИЯ», «ПРИМЕЧАНИЯ», «ЛИТЕРАТУРА»
(том I, с.203-311; т. II, с.271-453)

- Абкина М. II: 353, 416-417
Авербах Л.А. I: 269, II: 307
Авксентьев Н.Д. II: 332
Адамович Г.В. I: 243, 253, 255, 264, 309;
II: 309, 311, 331, 333, 448
Азов В.А. II: 444
Айхенвальд Ю.И. II: 282, 284, 331
Алданов (Ландау) М.А. II: 321, 331-332
Александр II, имп. II: 279
Александра, имя из «донжуанского
списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
Александровский II: 304
Алехин А.А. II: 335
Алина, имя из «донжуанского списка»
В.Ф.Ходасевича I: 301
Алкей II: 447
Амари см. Цетлин М.О.
Амфитеатров В.А. II: 331
Анакреон II: 431
Андреади II: 391
Андреев I: 204
Андреев В.Л. I: 265, 299, 310; II: 289,
317, 332, 335, 337-339, 346, 370, 373,
375, 377, 379, 381-382, 385, 403-404
Анна Иоанновна, имп. II: 410
Анненков Ю.П. I: 224, 281; II: 297, 320
Анненский И.Ф. I: 212, 222, 226, 308; II:
284, 296, 318, 446
Антик В.М. I: 306; II: 301, 352, 443-444
Апсесдэльс (Апситис А.) II: 358, 424
Арбатова Е. (псевдоним В.Ф.Ходасе-
вича) II: 449
Ариэль А. II: 445
Арский П.А. II: 305
Архилох II: 361
Архимед I: 286; II: 317
Асеев Н.Н. I: 228, 268-269, 275-278, 284,
287, 309-310; II: 273, 317, 452
Аспазия (Плиекшан Э.) II: 358, 364, 423-
424
Ауслендер С.А. I: 220
Ахматова (Горенко) А.А. I: 207, 249,
284; II: 271, 273, 312, 316, 325, 377,
446
Ашукин Н.С. II: 448
Б. I: 204
Б.В.В. II: 452
Б.Г. II: 450
Багриновские I: 204
Багрицкий Э.Г. II: 453
Байрон Дж.Г. II: 292
Балиев Н.Ф. I: 204, 248; II: 363, 390
Балтрушайтис Ю.К. I: 205; II: 304, 323,
427
Бальмонт К.Д. I: 204, 212, 216, 285;
II: 282-283, 304, 352, 356, 421, 427,
445, 448
Баратынский Е.А. см. Боратынский
Е.А.
Батюшков К.Н. I: 232, 235
Башкирцев И. I: 305
Безье Ж. де II: 448

- Бекетова С. см. Гренцион А.И.
Беклемишев I: 204
Беклемишев А. см. Муни (Киссин С.В.)
Белицкий Е.Я. II: 396
Белый А. (Бугаев Б.Н.) I: 204, 207, 212, 216, 222, 228, 237, 256, 267-268, 276, 280, 286-289, 298, 308-309; II: 271-272, 282-286, 305, 312, 316-317, 324, 338, 342, 373-374, 449, 451-452
Беранже Ж.-П. II: 329
Берберова Н.Н. I: 203, 216, 225, 240, 247, 265, 269, 271-272, 278, 281, 283, 285, 287, 290-291, 293-297, 299-301, 305, 310-311; II: 273, 281, 283, 285, 290, 307, 317-322, 329, 331-336, 338-339, 347-349, 373-374, 378-379, 381-383, 386, 398-401, 403-409, 452
Бердяев Н.А. I: 295; II: 282, 286, 356
Берент В. II: 446
Бернер Н. I: 225, 229-233, 238-239, 309; II: 447
Бернштейн С.И. I: 295-296
Бетаки В.П. I: 211, 244, 257, 275, 282, 311
Бик Э.П. II: 450
Биншток В. II: 445
Блок А.А. I: 207, 212, 218, 221-222, 256, 272, 284; II: 271, 273, 285, 302, 312, 315-316, 325, 338, 356, 452-453
Блох Я.Н. II: 408
Бобров С.П. II: 451
Богданович И.Ф. II: 302, 444
Богословская Е. I: 204
Бодлер Ш. II: 397
Божнев Б. II: 332
Большаков К. II: 448
Боратынский Е.А. I: 228, 236, 239, 249, 255, 266-267, 269, 273, 276-277, 279, 282, 290; II: 295, 346
Борисов Л.И. II: 452
Боррер Ф. II: 391
Брафман Я.А. I: 272; II: 279
Бродский Н.Л. II: 448
Бруни Ф.А. II: 279
Брюсов А.Я. I: 203, 224; II: 293-294, 353
Брюсов В.Я. I: 203, 212, 216-217, 220-221, 224, 230, 256, 259, 269, 278, 282, 285-288, 308, 310; II: 271, 282-285, 288, 290, 294, 304, 318, 338, 352, 356-357, 359-360, 387, 393, 421, 427, 443, 446-449
Брюсова И.М. II: 447
Брюсова Л.Я. I: 214
Будберг (Бенкендорф) М.И. II: 379
Будда II: 299
Булгарин Ф.В. II: 306
Бунаков П. II: 449
Бунин И.А. I: 256; II: 327, 331, 335, 355-356, 370, 413
Бухгейм Л.Э. II: 448
Бэлза С.К. II: 355, 412-413, 443
Бялик Х.Н. II: 361, 429-430, 435
В.Б. II: 450
Вагинов К.К. II: 404
Валентина I: 204
Ван-Гог В. I: 298
Варга М. II: 442
Введенский А.И. II: 343, 384
Вейдле В. II: 332, 349, 452
Велье II: 364
Венгеров С.А. II: 282
Вера, имя из «донжуанского списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
Верлен П. I: 216, 222
Вермель Ф. II: 375, 452
Верхарн Э. II: 362, 364
Верховский Ю.Н. I: 275, 296; II: 394, 446
Веселовский Ю.А. II: 351, 420
Виньи А. де II: 364
Виралайнен Л.А. II: 359
Висковатов К. II: 354, 419
Вишняк М.В. II: 332
Власов-Окский Н. II: 449

- Волин Б. I: 269
 Волошин М.А. II: 282, 385
 Вольпе Ц. II: 338
 Воронков С.И. II: 270
 Врочинский Я. I: 307
 Выгодский Д. II: 362, 428-430, 432, 435, 437
 Высоцкий В. II: 416, 446
 Вышеславцев Б.П. I: 242, 244-245, 250-251, 260-261, 263, 278-281, 286-287, 309-310
 Вяземский П.А. II: 338, 414
 Вяткин Г. II: 449

 Габер-Влынский А.М. II: 391
 Гавалевич М. II: 443
 Гальковский Н.М. II: 448
 Гейне Г. I: 220; II: 309, 422
 Герасимов М.П. II: 271, 304, 306, 449
 Герцен А.И. II: 395
 Гершензон М.О. I: 245-246, 249, 251, 259, 261; II: 285, 312, 378, 395
 Гете И.-В. I: 286; II: 310, 422, 430-431
 Гизетти А. II: 451
 Гиляровская Н. II: 450
 Гингер А. II: 332
 Гиппиус З.Н. II: 331
 Гоголь Н.В. I: 283; II: 338
 Голицын II: 286
 Голицын, кн. II: 414
 Голлербах Э.Ф. I: 282
 Голованов М.К. II: 334
 Головачевский С. II: 402
 Голсуорси Дж. II: 324
 Гомер II: 310, 431
 Гораций I: 219, 224, 246, 279; II: 294, 394
 Горбов Д.А. II: 451
 Горлин М. II: 408
 Горлина Р.Н. ур.Блох II: 408
 Горнфельд А.Г. I: 451
 Городецкий С.М. II: 271, 282
 Горький М. (Пешков А.М.) I: 207, 241, 247-248, 263, 289, 294, 308, 310; II: 271, 273, 276, 285, 291, 303, 312, 322-330, 333-334, 338, 341, 343, 356, 358-359, 373, 375-376, 379, 382, 400-401, 428-429, 443
 Гофман В.В. I: 204, 212-213, 215, 218, 221, 308; II: 282, 288, 302, 444
 Грацион (ошибочно в первом томе) А.И., Е., Э.Е. см. Гренцион А.И., Е., Э.Е.
 Гренцион А.И. ур.Чулкова I: 204, 206-207, 224-225, 228, 248, 252, 256, 263-264, 295, 301; II: 293-294, 307, 309, 312, 320, 360
 Гренцион Е. I: 224; II: 294
 Гренцион Э.Е. I: 224, 295; II: 294, 307, 312
 Гржебин З.И. I: 223, 226, 264-265, 305-306; II: 297, 360
 Григорьев А. II: 452
 Грифцов Б.А. I: 206 (с ошибкой в инициале); II: 450
 Губер П.К. I: 242, 244, 259, 309; II: 311
 Гуковский А.И. II: 332
 Гумилев Н.С. I: 207, 212, 226, 229, 232, 234, 249, 263, 272, 284, 308-309; II: 271, 285, 287-288, 291, 296, 302, 312, 315-316
 Гуро Е.Г. II: 447
 Гусман Б. I: 227, 237, 239, 310

 Далин Д.Ю. II: 324
 Даль В.И. I: 222, 286
 Данте Алигьери II: 380
 Дарий I: 261
 Дельвиг А.А. II: 338
 Державин Г.Р. I: 234, 272, 305; II: 315, 336-337, 339, 410, 448
 Десницкий В.А. II: 337, 452
 Джонсон И. II: 450
 Диатроптов Б. I: 290
 Лидерихс В.М. ур.Ходасевич I: 289, 294; II: 322, 364, 379, 397

- Дмитриев И.И. II: 338
 Дон Аминадо (Шполянский А.П.) II: 289, 334
 Достоевский Ф.М. I: 204, 308
 Достоевский Ф.Ф. I: 204
 Дымов (Перельман) О.И. II: 445, 449
 Евгения, имя из «донжуанского списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
 Ежов И. II: 442
 Екатерина, имя из «донжуанского списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
 Ершов П.П. I: 203
 Есенин С.А. I: 226, 235; II: 285, 333
 Жаботинский В. II: 351, 360, 429
 Живов М. II: 414
 Жиркова Е. II: 360
 Жуковский В.А. I: 246
 Журин А. I: 226, 233, 239, 309; II: 447
 Заболоцкий Н.А. I: 257
 Заволокин П.Я. II: 452
 Зайцевы I: 204
 Зальцман С.Д. I: 306
 Замирайло В.Д. I: 305
 Замоиский II: 418
 Замятин Е.И. I: 207, 291; II: 312
 Зланевич И. II: 332
 Зелинский К.Л. II: 407, 452
 Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. I: 295, 303; II: 323, 329
 Ибсен Г. II: 430, 436
 Иванов А.А. I: 299
 Иванов В.В. II: 380, 453
 Иванов В.И. I: 205, 245, 256, 285; II: 282, 304, 312, 356, 360, 447
 Иванов Г.В. I: 236, 285, 309; II: 331, 448
 Ивановский И. II: 427
 Иваск Ю. II: 442
 Измайлов А.А. II: 282
 Иструм К.Г. II: 375
 Иструм М.Г. II: 396
 Ишхак А. бен- II: 360, 437
 Каверин (Зильбер) В.А. II: 322
 Казин В.В. II: 271, 304
 Каменева О.Д. I: 285; II: 304
 Камю А. I: 245
 Кандицкий А. II: 446
 Каннегисер Л.А. II: 396
 Кант И. II: 327
 Каплун-Сумский С.Г. I: 247; II: 324, 374-375
 Карлинский С. I: 255; II: 340, 370
 Карпов А.С. I: 266-267, 279, 310
 Карху Э. II: 426
 Кашнельсон И.Я. II: 360, 428, 437
 Кашнельсон Я.Б. II: 437
 Керенский А.Ф. II: 332
 Киссин С.В. см. Муни (Киссин С.В.)
 Ключева В. I: 226, 231, 235, 238, 309
 Кнорринг И. II: 381
 Ковалев Г. II: 411
 Козлов И.И. II: 414
 Колчак А.В. I: 220
 Кольцов М.Е. II: 328
 Копельман I: 271
 Копылова Л. II: 359, 422
 Коскенниemi В. II: 359, 426
 Красинский С (З). I: 258, 306; II: 287, 353-354, 415, 442
 Краснов П. II: 449
 Кречетов С. см. Соколов (Кречетов) С.А.
 Крупская Н.К. II: 327
 Кузина Е.А. см. Степанова Е.А.
 Кузмин М.А. I: 207, 220, 310; II: 273, 312, 447
 Кулинич А. I: 310
 Кун Е. I: 204, 301
 Куприн А.И. I: 308; II: 331, 335, 383, 453
 Куприна К.А. II: 453
 Курочкин В.С. II: 329
 Кускова Е.Д. I: 206, 260
 Кушнер А.С. I: 254

- Ладинский А.П. II: 331
 Ламартин А.М.Л. де II: 364
 Ланговой I: 204
 Ласкова Ф.Г. II: 324
 Левик В.В. II: 355-356, 397, 413-414
 Левинсон А.А. I: 307
 Лежнев (Альтшулер) И.Г. II: 325
 Лейно Э. (Ленбаум А.Э.П.) II: 359, 425
 Лелевич Г. (Калмансон Л.Г.) I: 269, 293, 310; II: 307
 Ленин (Ульянов) В.И. I: 207; II: 306, 312, 429
 Леонидов О. II: 449
 Леонов Л.М. II: 324
 Лермонтов М.Ю. II: 422, 436
 Лесков Н.А. II: 327
 Либерман С. II: 332
 Лившиц Б.К. II: 397
 Лида, дочь кучера в Бельском Устье I: 290-291
 Линд М.В. I: 206
 Линдеман И.К. II: 447
 Липскеров К.А. II: 448
 Лоло (Мунштейн Л.Г.) I: 300, 334
 Ломоносов М.В. I: 306; II: 301, 336, 410
 Лонгфелло Г. II: 310, 422, 431
 Лосева I: 244
 Луначарский А.В. II: 313
 Лундберг Е.Г. II: 452
 Лутохин Д.А. II: 326, 428, 451
 Лучинин А. (псевдоним В.Ф.Ходасевича) II: 410
 Львова Н.Г. I: 204; II: 374-375
 Любек М. II: 359, 426
 Любимов Л.Д. I: 310; II: 321, 335, 339, 410, 412

 М. II: 450
 Мадлен, имя из «донжуанского списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
 Майков I: 203
 Майков А.Н. II: 402
 Макеев Н.В. II: 321, 411
 Макинциан П. II: 356, 358
 Маковский С.К. I: 212; II: 282, 290, 331
 Макушинский К. II: 302, 444
 Макшеева Е. (псевдоним В.Ф.Ходасевича) I: 234
 Малицкий Г.Л. I: 203-204; II: 387-388
 Мандельштам Н.Я. I: 225, 293; II: 273, 319-320, 352
 Мандельштам О.Э. I: 249, 279; II: 308, 316, 320, 370, 383, 404, 447, 451
 Мандельштам Ю.В. II: 332, 349
 Марголина О.Б. II: 321, 349, 411
 Мартынов I: 204
 Маршак С.Я. II: 357, 360, 421
 Маршева Е.А. I: 234, 248; II: 363, 390
 Масарик Т. II: 323
 Маслов Ф. (псевдоним В.Ф.Ходасевича) II: 360, 434-435, 437
 Масс I: 204
 Маттерн Э. II: 445
 Матюшкин Ф.Ф. II: 291
 Маяковский В.В. II: 271, 285, 321, 333, 338-339, 370
 Медведев П.Н. II: 372
 Мексин Я. II: 427
 Мережковский Д.С. II: 282, 331
 Мериме П. II: 444-445
 Метерлинк М. II: 436, 445
 Милуков П.Н. II: 332-333, 401
 Миндлин Э. II: 451
 Михайлов И. II: 385, 452
 Мицкевич А. I: 258; II: 279, 347, 354-356, 412-415, 443, 445
 Мнишек М. II: 447
 Мольер (Поклен) Ж.-Б. II: 310, 431
 Мопассан Г. де II: 444
 Моравская М. II: 354
 Муни (Киссин С.В.) I: 204-205, 214-215, 234, 241, 245-246, 249, 252, 258, 270-271; II: 285, 293, 299-301, 309, 353, 397, 419

- Муратов П.П. I: 206, 229; II: 286, 292, 304, 331, 401
- Муратова Е.В. I: 204, 229, 237, 301; II: 292
- Набоков В.В. II: 318, 330-331, 348, 406, 452
- Надежда, имя из «донжуанского списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
- Найденев (Алексеев) С.А. II: 448
- Наппельбаум И.М. I: 268, 287, 290, 294, 298-299; II: 317, 319
- Наппельбаум М. II: 319
- Насимович А. II: 443
- Наталья, имя из «донжуанского списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
- Невский В. II: 359, 422
- Некрасов К.Ф. II: 353, 415
- Некрасов Н.А. I: 267
- Нестеров П.Н. II: 390
- Нечаева С. II: 446
- Нидермиллер II: 349
- Нидермиллер Е.Ф. ур.Ходасевич II: 347, 376
- Ницше Ф. I: 280; II: 327, 430
- Новиков I: 205
- Ногин В.П. II: 303
- Овельт С., о. I: 203; II: 279
- Овидий II: 361
- Овсенские I: 203
- Огарев Н.А. II: 395
- Одарченко Ю. II: 332
- Одоевцева И.В. II: 331
- Оксенов И.А. I: 301, 309; II: 297
- Ольга, имя из «донжуанского списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
- Ольдин П. I: 227-228, 242, 253, 309
- Омир I: 276; II: 315
- Органов Ж. I: 203
- Орлов В.Н. I: 211, 228, 235-237, 241, 273, 310-311; II: 297, 305, 335, 338-339, 348-349, 369-370, 376, 381-382, 394, 412
- Осоргин (Ильин) М.А. I: 206, 244, 260; II: 331
- Оцуп Н.А. II: 331
- Павлова К.К. I: 267, 308
- Павлова М.К. II: 357, 421
- Павлович Н.А. II: 395, 452
- Парнок С.Я. I: 227, 233, 237, 242, 244, 251, 259-261, 285, 308-309; II: 273
- Пастернак Б.Л. I: 285; II: 304, 326, 341, 370, 403
- Пастернак Л.О. II: 432
- Пашуканис В.В. II: 444
- Переводчиков А.В. II: 445
- Петр I, имп. II: 350, 409
- Петр Иванович, столяр I: 203, 259
- Петровская Н.И. I: 216-217, 219-220; II: 283, 285, 290, 297-298, 387
- Петровский П.Н. II: 448
- Пешикташлян М. см.Пэшикташлян М.
- Пешков М.А. II: 379
- Пешкова Н.А. («Тимоша») II: 379
- Пильняк (Воган) Б.А. II: 333
- Платон II: 327
- Плексиан Э. см. Аспазия
- Плудон (Лейниекс) В. II: 358-359, 422
- Погодин А. II: 392
- Полетаев Н.Г. II: 304
- Полянин А. см. Парнок С.
- Поплавская Н. II: 449
- Поплавский Б. II: 273, 331, 338, 381
- Попов Н.А. II: 363
- Португалов В. II: 447
- Потемкин П.П. I: 212
- Прасолов I: 204
- Присманова А. II: 331
- Прокпе Я. II: 359, 426
- Пушкин А.С. I: 205, 218, 221, 223-227, 230-234, 236, 247, 249, 255, 257,

- 266-267, 269, 273, 279, 288, 299, 305-306, 308; II: 276-277, 279, 285, 291, 294, 302, 304-305, 323, 326, 336-337, 341-342, 350, 381, 386, 398, 401-402, 430, 436, 447, 449-450, 452
- Пшибышевский С. I: 306; II: 416, 444
- Пэшикташлян М. II: 357, 419-420
- Пяст (Пестовский) В.А. II: 369, 451
- Райнис (Плиекшан) Я. II: 423
- Райский А. II: 445
- Ракицкий И.Н. I: 294; II: 322, 379
- Ратгауз Д.М. I: 307
- Рафалович С.Л. II: 331
- Реймонт В. II: 444-445
- Рейнбот А.А. II: 363
- Рембрандт Х. ван Рейн I: 269, 276, 288, 309; II: 271
- Ремизов А.М. I: 295; II: 331, 448
- Ренье А. II: 449
- Рескин Дж. II: 327
- Ричардсон С. I: 231
- Родов С.А. I: 269-271, 277-278, 283, 285, 288, 292, 294, 302, 308, 310; II: 306-307, 317, 452
- Рождественский В.А. II: 357, 422
- Роллан Р. II: 324
- Ростопчина Е.П. II: 302, 444, 448
- Рублев А. II: 300
- Руднев В.В. II: 332
- Румер О. II: 360, 427
- Рыковский Н. II: 448
- Рындин Э.И. II: 289, 387
- Рындина Л. I: 219
- Рындина М.Э. I: 204, 211-212, 215, 217-219, 224, 227, 229-230, 232-233, 301; II: 289-291, 387, 405
- Сабашниковы М. и С. II: 447-448
- Саблин В.М. II: 416
- Саввинская Т. I: 301
- Садовской (Садовский) Б.А. I: 226-227, 232, 235-236, 240; II: 446-447
- Садофьев И.И. II: 305
- Самобытник (Маширов А.И.) II: 305
- Сандомирский М. II: 447
- Сафо II: 447
- Свентоховский А. II: 392
- Северюхин Д. II: 351, 413
- Северянин И. (Логарев И.В.) I: 204; II: 377, 446-447
- Сенкевич Г. II: 444
- Сигизмунд I Старый II: 417
- Сигурд (псевдоним В.Ф.Ходасевича) II: 287, 445-446, 448-449
- Сирин В. см. Набоков В.В.
- Скальбе К. II: 358, 423
- Скворцов Б. I: 242, 244, 246, 249, 251, 259, 261, 309
- Словацкий Ю. I: 258; II: 415, 448
- Слоним М.Л. II: 451
- Слонимский М.Л. I: 248, 291; II: 326
- Слонский Э. II: 354, 364, 419, 442
- Смоленский В. II: 331, 348-349
- Соболев Ю. I: 309
- Соколов (псевд.Кречетов) С.А. I: 211, 216, 219, 306-307; II: 283, 287, 290, 331, 387, 450
- Соллогуб В.А. I: 220
- Соловьев В.С. I: 204; II: 327
- Соловьев С.М. II: 446
- Сологуб (Тетерников) Ф.К. I: 207, 275, 279, 307; II: 271, 285, 312, 316, 356, 360, 394, 397, 404, 446-448
- Сосинский В. II: 332
- Сперанский М.Н. II: 327
- Сталин (Джугашвили) И.В. II: 422
- Старицкий М.П. II: 362, 364
- Стахович П. II: 443
- Степанова Е.А. ур.Кузина I: 214, 271-272; II: 348
- Степун Ф.А. I: 259, 307; II: 331
- Стивенсон Р.Л. II: 427, 443
- Столица Л.Н. I: 204, 252; II: 303
- Стражев В.И. II: 284, 292
- Струве Г.П. II: 451
- Струве П.Б. II: 332, 411
- Султанова-Леткова Е.П. I: 280

- Тан (Богораз) В.Г. II: 445
 Тарасов Н.Л. I: 248
 Таркиайнен В. II: 425
 Тарле Е.В. II: 400
 Тарновская А. I: 204, 301
 Тассо Т. I: 276; II: 315
 Терапиано Ю. II: 332, 452
 Териан В. см. Терьян В.
 Терлецкий И.А. II: 363
 Терьян В. II: 357, 421-422
 Тетмайер К. I: 204; II: 302, 353, 416, 418, 443-444
 Тилъе К. II: 302, 444
 Тимирязев I: 204
 Тимофеев А. II: 289, 450
 Тиняков А.И. (псевд. Одинокый) II: 283, 287, 393, 446
 Титов В.П. I: 308; II: 444
 Тихонов А.Н. II: 443
 Толстая-Крандиевская Н.В. I: 205
 Толстой А.Н. I: 205; II: 325
 Толстой Л.Н. II: 322
 Томашевский Б.В. II: 337, 451
 Туманян (Туманиан) О. II: 420-421, 443
 Тургенев И.С. I: 261; II: 448
 Тучкова-Огарева Н.А. II: 395
 Тынянов Ю.Н. I: 243, 255, 268, 273, 288, 299, 310; II: 311, 315
 Тъялсма Х.В. II: 442
 Тэн И.-А. II: 327
 Тэффи (Бучинская Н.А. ур.Лохвицкая) II: 331, 334, 448
 Тютчев Ф.И. I: 226, 245, 249, 258; II: 296, 385
 Уманский А. II: 353
 Урицкий М.С. II: 375, 396
 Св.Урсула II: 378
 Устоев С. II: 451
 Ф. II: 451
 Фальеро М. II: 402
 Федин К.А. II: 326, 334
 Федина В.С. II: 448
 Федоров А.М. II: 331, 446
 Фельзен Ю. II: 332, 408
 Феррари II: 452
 Феррари Е.К. II: 325-326
 Фет (Шеншин) А.А. II: 282, 448
 Фихман Я. II: 360, 434
 Флориан (?) II: 378
 Фондаминский И.И. II: 332
 Форш О.Д. I: 225, 294-295
 Фридман Н.В. II: 453
 Фришман Д.С. II: 360, 393, 430, 435
 Фроман (Фракман) М.А. I: 264-265, 278, 290; II: 364, 379, 399, 401
 Фромгольд I: 203
 Хармс (Ювачев) Д.И. II: 343, 384
 Хемингуэй Э. II: 334
 Ходасевич А.И. см. Гренцион А.И.
 Ходасевич В.М. см. Дидерихс В.М.
 Ходасевич Мария Фелициановна I: 203
 Ходасевич Михаил Фелицианович I: 203-204, 284-285; II: 280-281, 289, 293, 405
 Ходасевич С.Я. ур.Брафман I: 203-204, 216, 228-229, 252, 272; II: 278-280, 293
 Ходасевич Ф.И. I: 203-204, 214, 252, 272; II: 278-281, 293, 405-406
 Ходасевич Х. I: 284
 Ходасевич Я(И). II: 279
 Холчев И.Н. I: 306
 Хэпберн К. II: 408
 Цвейг С. II: 324
 Цветаева А.И. II: 453
 Цветаева М.И. I: 254-255; II: 318, 331-332, 339-340, 370, 381
 Цетлин М.О. I: 205, 256; II: 379-380
 Цетлина М.С. I: 205, 256; II: 379-380
 Цицерон I: 245

- Чабров II: 374
 Чаплин Ч. II: 343, 384
 Чапыгин А.П. II: 329
 Черниковский С. II: 310, 360-361, 393, 428, 431-433, 435, 443
 Чертков Л.Н. II: 356
 Чуковский К.И. (Корнейчуков Н.В.) I: 298; II: 282
 Чулков Г.И. I: 204, 224-225, 227-231, 245, 274, 309 (с опечаткой в инициале); II: 282, 294, 296, 314, 320
 Чулкова А.И. см. Гренцион А.И.
 Чулкова Н.Г. I: 274
- Шагинян М.С. I: 212-213, 233, 237, 239, 242, 250, 256, 262, 310; II: 290, 296-297, 300, 311, 387, 446, 450, 452
 Шалкон (Дириксис К.) II: 358, 424
 Шаляпин Ф.И. II: 335
 Шамурин Е. II: 442
 Шарло см. Чаплин Ч.
 Шах-Азиз (Шахазиз) С. II: 357, 420
 Шаховская З.А. I: 212, 255, 301, 311; II: 280, 289, 292, 298, 331-332, 339, 369, 407, 433
 Шекспир В. II: 374
 Шенрок I: 204
 Шершеневич В.Г. II: 446-448
 Шиманович Д. II: 360, 436
 Шкловский В.Б. II: 286, 289, 324, 373, 381, 450-451
 Шмелев И.С. II: 331
 Шнеур З.И. II: 360, 362, 364, 435, 437
 Шопенгауэр А. II: 327
- Штыбель И. II: 430-431
 Шульговский Н.И. II: 446
- Щеголев П.Е. I: 298-299
 Щеголева В.А. I: 298-299
 Щенковы I: 203
- Эллис (Кобылинский Л.Л.) II: 447
 Эренбург И.Г. I: 264; II: 333, 377, 448-449, 452
- Юркун Ю. II: 447
 Юрочка (?) II: 204
- Ягелло Э. II: 392
 Языков Н.М. I: 266-267
 Якобсон Р.О. II: 339
 Яковлев А.С. I: 206
 Яносик Е. II: 353, 416, 418
 Янсон-Браун (Янсон) И.Э. II: 358, 422-423
 Янтареv Е.Л. I: 206
 Янушевич Е. I: 255; II: 340
 Ясинский И.И. II: 327
 Яффе Л.Б. I: 306; II: 302, 351, 360, 443
- Alexander см. Брюсов А.Я.
 Mariechen II: 374
 NN, криптоним из «донжуанского списка» В.Ф.Ходасевича I: 301
 Sessa P. II: 447
 W. (криптоним В.Ф.Ходасевича) II: 449

Н.Н.Берберова

ЗАМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ

Стр.214. В Туле у отца ВФХ была фотография. Семья жила там много лет. Все пять старших детей родились в Туле. Только младший — ВФХ, родился в Москве.

Стр.224. Брак с А.И.Чулковой был оформлен в 1917 г., когда было отменено обязательное церковное венчание.

Стр.225. Слово «катастрофа» было здесь поставлено иронически; принимая во внимание, что это было сделано для Н.Б., по ее просьбе, иначе это не может быть понято.

Стр.263. Вероятно, это так и было. Но ВФХ любил говорить, что Анюта была маленькой дочкой соседей, и пояснял, что «Нюру» никогда не называли «Анюткой», как Блока не называли Шурой, и как мать Н.Б. (Наталия, Таля) никогда не звали Наташей.

Стр.272. Мать ВФХ была еврейкой, и в ВФХ было 50% «еврейской крови».

Стр.285. ВФХ переехал в Сааров в ноябре-декабре 1922 г.

Стр.293. Н.Б. писала Н.Я.Мандельштам, что она спутала ВФХ с кем-то. Когда ВФХ и Н.Б. были в Москве, ни Н.Я., ни Осипа в Москве не было: об этом можно прочесть в биографиях Мандельштама.

Стр.294. Насколько известно, Валентина Дидерихс-Ходасевич никогда не была женой Ракицкого.